

ГОВОРИТ

МОСКВА

ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ



ДИВЕРСАНТЫ

екие диверсанты

ЛЮДИ

С  
АВОЙНЫМ  
ДНОМ

молодши с герман советск  
и шалков

ЛИЦЕМЕРИ

сивтмеса

ОТЦЕ

ГОВОРИТ МОСКВА

**Ю Л И Й Д А Н И Э Л Ъ**

**Г О В О Р И Т  
М О С К В А**



---

**Московский рабочий  
1991**

ББК 84Р7—4

Д18

Подготовка текста  
И. УВАРОВОЙ, Т. ШЕБАЛИНОЙ, А. ДАНИЭЛЯ

**Даниэль Ю. М.**  
Д18 Говорит Москва: Проза, поэзия, переводы.— М.: Моск.  
рабочий, 1991.— 318 с.

В феврале 1966 года в Москве, несмотря на протесты мировой общественности и выдающихся деятелей нашей культуры, судили писателей Андрея Синявского и Юлиа Даниэля. Судили за художественные произведения — повести и рассказы, которые только сейчас становятся достоянием легальной советской литературы. Так закончилась «оттепель» в нашей стране.

Юлий Даниэль (1925—1988) — прозаик, поэт, переводчик — начал печататься еще в 50-е годы. С 1956 года на Западе стали выходить его повести и рассказы, подписанные псевдонимом Николай Аржак. Именно за эти произведения автор получил пять лет мордовских лагерей строгого режима в Владимирской тюрьме, где он продолжал писать, создал цикл стихотворений и поэму. После освобождения Ю. Даниэль возобновил переводческую деятельность, начал писать книгу мемуарно-эссеистического характера, закончить которую ему не довелось. Проза Юлиа Даниэля, с которой, наконец, в полном объеме познакомится читатель, поражает внутренней свободой, свежестью и остроумием фразы — качеством, столь высоко ценным в подлинной литературе и так дорого обошедшимся писателю.

Д  $\frac{4702010201-135}{M172(03) - 91}$  84—91

ББК 84Р7—4

ISBN 5—239—01121—4

© Ю. М. Даниэль, 1991

*Юлий Маркович Даниэль, сын еврейского писателя Марка Даниэля, родился в Москве 15 ноября 1925 года. В 1943—1944 годах — на фронте. В августе 1944 г. был тяжело ранен. После окончания педагогического института в 1950 г. несколько лет работал учителем в Калужской области, потом в московских школах. В середине 50-х годов начал переводить поэзию и публиковать переводы. В те же годы написана историческая повесть «Бегство». К этому времени относится знакомство Ю. Даниэля с молодым литературоведом Андреем Синявским — знакомство, сказавшееся и на последующем творчестве Ю. Даниэля, и на его судьбе. Он начал писать новую прозу — свободную, раскованную, без оглядки на печатный станок. Впрочем, писатель не может писать без надежды на публикацию, пусть не у себя дома и способом необычным и опасным.*

*Так родился Николай Аржак. На Западе под этим псевдонимом вышли повести «Говорит Москва» (1962) и «Искушение» (1964), а также рассказы «Руки» и «Человек из МИНАПа» (1963). В сентябре 1965 года Юлий Даниэль и его друг Андрей Синявский были арестованы за публикацию за границей своих произведений. В феврале 1966 года состоялся судебный процесс над ними, сопровождавшийся шельмованием обвиняемых в прессе и вызвавший шторм протестов как за рубежом, так и среди советской интеллигенции.*

*Юлий Даниэль был осужден на пять лет лагерей строгого режима, Андрей Синявский — на семь. Это первый политический процесс, когда писателей судили за их литературные произведения. Это был также первый за несколько десятилетий политический процесс в СССР, где обвиняемые не признали своей вины.*

*После ареста Юлия Даниэля пустили под нож уже отпечатанный тираж его книги «Бегство».*

*Свой срок Юлий Даниэль отбывал в мордовских лагерях и Владимирской тюрьме. За этот период им был написан цикл стихов и поэма «А в это время...». В заключении он также продолжал заниматься переводами.*

*После освобождения Даниэлю было позволено вернуться к переводческой работе под псевдонимом Ю. Петров. Это были шотландские баллады, Байрон, Гюго, Водсворт, Бодлер, Рембо, грузинская поэзия и многое другое.*

*Статьи о Юлии Даниэле и о судебном процессе, его собственные стихи и проза появились в советской печати, но все это произошло практически уже за пределами его жизни.*

*Он умер 30 декабря 1988 года.*

---

# Наброски к портрету Юлия Даниэля

Еще не пришло время давать оценку художественному труду Юлия Даниэля. Этим еще не занимались критики и литературоведы. Пока можно сказать, что Юлий Даниэль принадлежал к независимой литературе. В те времена, когда независимость была делом подсудным.

Когда-нибудь будет написана история независимого творчества в России, и Даниэль займет в ней почетное место. Ибо процесс Синявского и Даниэля был печальной точкой, откуда отсчитывается становление нового правосознания в нашем обществе. Это был первый процесс — не против правозащитников и диссидентов — тогда таких слов мы еще не слышали — это был первый процесс над писателями, создавшими свои произведения по велению совести, первый процесс над «тамиздатом», понятием, пришедшим на смену «самиздату».

За несколько лет до этого процесса произошло единодушное осуждение Пастернака за издание романа «Доктор Живаго» за границей. Тогда среди литературной интеллигенции не нашлось ни одного человека, который громко заявил бы протест против самосуда над великим поэтом.

В годы оттепели происходило быстрое созревание общества. То, о чем трудно было помыслить и на что трудно было решиться в 1958 году, ярко проявилось через семь лет. Несколько десятков писателей публично и коллективно протестовали против судебной расправы над двумя независимыми литераторами. Публикация неразрешенных произведений на Западе не казалась уже политическим преступлением в глазах общественных слоев, обретающих свободу мысли. Рядом с официальными поношениями прозвучали голоса защитников. И это было небывалым явлением в общественной жизни страны, явлением, положившим начало правозащитному движению.

Впрочем, сам Юлий Даниэль, находясь на скамье подсудимых, не подозревал об историческом значении судебных заседаний. Он защищал

ся мужественно и достойно. Ему, конечно, легче было бы защищаться, если бы он знал о моральной поддержке, которую оказала ему весомая группа интеллигенции. Он мог надеяться только на своего друга Андрея Синявского, на мужество и принципиальность адвокатуры.

...Ничего из сказанного еще не произошло, когда весной 1962 года Андрей Синявский привел ко мне своего друга послушать стихи.

Друга звали Юлий Даниэль. Это был молодой человек, немного меня помоложе, узколицый, с темными волосами на косой пробор, узкоплечий, чуть сутуловатый, с застенчивой улыбкой, негромким смешком. Типичный московский интеллигент и по манере держаться, и по одежде, и по словам. И по занятию. Он был переводчиком стихов.

Я мало о нем слышал до первой встречи. Оказалось, что всю зиму мы прожили в одном поселке под Москвой, на дачах «Литгазеты», да так и не встретились.

На сей раз я читал стихи, Андрей произносил о них суждения, а Юлий изредка вставлял слово. Он не любил и не умел выступать в роли критика. Выслушав стихи, говорил обычно что-то одобрительное, если нравилось. Или молчал.

Мы расстались в этот день, чтобы не скоро встретиться.

Но имя моего нового знакомого громко зазвучало в Москве, да и во всех мировых средствах массовой информации. Андрей Синявский и Юлий Даниэль были арестованы за переправку за границу сочинений, порочащих и т. д.

Я вспомнил, что название произведения, вменявшегося в вину Юлию, было мне известно — повесть «Говорит Москва», да и содержание этой повести я откуда-то знал. Не стану его пересказывать (поскольку читатели этой книги сами могут с этой повестью познакомиться). По нашим временам, как говорится, в ней нет «ничего особенного». Но по тем временам особенного было много. Парадоксальная ситуация, в ней изображенная, только на первый взгляд казалась парадоксальной для нашего ежедневного быта. Это была аллегория, метафора, иносказание, весьма прозрачные, узнаваемые.

Даниэль был осужден на пять лет лагерей. О нем доходили редкие слухи, что он жив, что ведет себя достойно, держится мужественно.

Для нас в те бурно-застойные времена пять лет прошли довольно быстро. Не уверен, что термин «застой» выбран очень точно. Под внешней благостью и относительной нежестокостью государства, отданного на разграбление системе, происходили бурные процессы формирования нового сознания, возникновение и утверждение идей, появление новых лиц, формирование новых политических и нравственных догм. Когда теперь говорят, что мы дети застоя, я принял бы это определение без всякой иронии.

Я увидел Юлиа Даниэля вскоре после его освобождения у себя за столом в поселке Опалиха. Он был усталым, еще больше похудевшим,

ничуть не громче обычного, но совершенно не сломленный, не прибитый. Естественный, такой, как всегда.

Естественность — одна из главных черт его характера. Я добавил бы — естественность благородства. Даниэль не красовался, не рассуждал, не буйствовал в спорах. Он совершал поступки, как бы без всякого насилия над собой, по какому-то ему присущему определению.

В нем была абсолютная убедительность человека моральной нравственности. Но, конечно, в обществе ненормальном его манера поведения, его нравственные решения были намного выше тогдашней нормы.

Для меня Даниэль был своеобразным барометром. В затруднительных или щекотливых ситуациях я обращался к нему и всегда получал точный и краткий ответ: «я бы так не сделал» или «пожалуй, я сделал бы так». Этого для меня было достаточно.

Важнейшей чертой его нравственных установок была их человечность. Он никогда не требовал от человека поступка сверх сил, жертвенного или эффектного. Мне кажется, что в нем жила уверенность, что если человек ведет себя естественно, то это и есть нравственное поведение, потому, что естественны честность, справедливость, милосердие, верность.

Он был не из тех, кто в атаках кричит «ура!» сзади строя, а среди тех, кто молча бросается на пулемет. Он отнюдь не считал назначением человека бросаться на пулемет. Это был последний выход, если других не было.

Жизнь «на воле» не была легка для Даниэля. Он был наказан, но не прощен. Многие годы он подвергался всяческим утеснениям, к примеру, с пропиской, с разрешением жить в Москве, но, пожалуй, самым тяжелым для него были различные препоны в его профессиональной работе.

Он был профессиональным переводчиком высокого класса. Он мог бы иметь работу, если бы пообещал вести себя тихо. Он вел себя не громко. Но давать каких-либо обещаний не желал. Не желал и отказаться от того круга общения, круга правозащитников, который сложился вблизи него, в его доме. Он был «подозрительный» и никак не желал снимать с себя подозрение.

Работу ему давали изредка. Приходилось заниматься «негритянской» работой, которую доставали друзья. Он грустил. Но редко жаловался.

Знаю, ему очень хотелось, чтобы стали известны читателю его стихи. Был доволен, когда на Западе вышла небольшая поэтическая книжка.

Только в самое последнее время он успел увидеть несколько своих стихотворных подборок в широко читаемых журналах у себя на родине.

Была опубликована у нас и его проза.

Кажется, все наконец стало складываться благополучно в его судьбе и литературной жизни. Но времени ему было отведено мало. Тяжелое ранение на войне, пережитое после войны подорвали его здоровье. Он умер в 1988 году.

Я мог бы еще много сказать о Даниэле и его окружении, о его первой жене Ларисе Богораз, одной из семи, вышедших на Красную площадь с протестом против ввода войск в Чехословакию. О его второй жене, Ирине Уваровой, верной и мужественной его подруге. Но для этого потребовалось бы больше места и времени.

Думаю, что мой короткий очерк добавит несколько черт к тому, что написано Даниэлем о себе и о своем времени.

Давид САМОЙЛОВ



## Часть первая



## ВЫБОР

*После лагеря Юлий Даниэль начал писать книгу, в которой детство, война, заключение, друзья и недруги, размышления и многое другое должны были составить единое целое — просто жизнь.*

*Рукопись так и осталась незавершенной. Хотя, наверное, все главное он успел сказать.*

*Поскольку это издание — попытка наиболее полного портрета Юлия Даниэля, писателя, поэта, человека, мы начинаем книгу с самого начала — с детства и юности.*

# Из неоконченной книги

Громада двинулась и рассекает волны.  
Плывет. Куда ж нам плыть?

*А. С. Пушкин*

Об импульсах и механизме литературного творчества написаны, вероятно, сотни тысяч страниц на всевозможных языках. Я прочел об этом сорок — пятьдесят книжек и только на русском. Все они — и радовавшие меня, и раздражавшие — сохраняются в моей памяти грузом почти бесполезным: нельзя же всерьез оценивать возможность кивнуть в ответ на знаковый термин или процитировать афоризм, превратившийся в расхожую монету литературных базаров.

Эти сведения адресованы не книгам и не авторам — это просто грустные размышления на тему «не в коня корм».

А ведь так хотелось бы понять в себе самом эту потребность, эту страсть искать единственно нужные слова, переводить в звуки и буквы все сущее во мне и вне меня.

Сколько загадок в собственной работе! Почему это вот ощущение или впечатление просится в стихотворную строку, а другое властно требует прозы? Где истоки и законы ритма прозы? Ритм прозы прихотливей, капризней стихотворного, он менее уступчив, он не мирится со слабинками, не терпит «наполнителей». Почему проза независима от меня? Она сама выбирает жанр, сама себя предлагает, отбрасывая мои попытки, мой замысел. Она заставляет меня писать в жанре, именно ей угодном.

Я могу заранее определить: это стихотворение будет балладой, сонетом, чертом-дьяволом. Конечно, это не значит, что я всегда пишу стихи так. Но я так могу. А с прозой — дудки! Проза мне неподвластна, я не в силах идти против ее всегда неожиданного для меня течения.

Все это невольно приходит в голову, когда я пытаюсь осмыслить свою сегодняшнюю, доводящую меня до иступления, до бешенства и до депрессии — жажду работы. Только ли оттого она, эта жажда, что уже несколько раз проваливались мои попытки писать и сохранить написанное? Не думаю. Не такой уж я «мальчик наоборот». Графомания, разумеется. Кто из пишущих не графоман — в изначальном, корневом смысле этого слова?

Для меня исключены некоторые темы, герои, ситуации. И я не очень горюю об этом. Оно даже к лучшему: отстоится, обдумается, уйдет азарт сиюминутности. Меня надежно застраховали от скоропалительных суждений — и слава Богу! Я очень часто попадал впросак из-за торопливости в оценках людей! (Правда, я утешаюсь тем, что всегда завышал эти оценки.)

Да, так вот, зная, что существует — по крайней мере сейчас — некая неприкасаемая область, я все-таки упорно хочу писать о другом. Именно хочу — не то чтобы «за неимением лучшего».

О людях, которых я любил и не любил. О себе самом — может быть, я все же сумею не гримироваться и не кокетничать. Мне это очень трудно. Всю жизнь одной из самых сильных страстей моих было нравиться, вызывать симпатию, доброжелательность, если можно — влюблять в себя. И я-то уж отлично знаю, что в себе я смазывал, на чем ставил акценты. Но о себе я попробую писать меньше.

Воспоминания? Портреты? Эссе? «Ни дня без строчки»? А какая разница, как это назвать?

У военных летчиков это называлось, кажется, «свободная охота»...



Мне было четыре года, когда мы с матерью поселились у Кировских — тогда еще Мясницких — ворот. А между Никитскими воротами и Арбатом жила мамина подруга, самая близкая, еще с довоенных, с полтавских времен. Вот мы и ездили к ней в гости. Дорога была одна: по Бульварному кольцу, на трамвае «А», на «Аннушке». Поездки эти приходились большей частью на зиму — летом и мы и они разъезжались из Москвы. И вот каждый раз, когда трамвай, кряхтя и притормаживая, сползал к Трубной площади, я прилипал к окошку, к продышанному глазку, и смотрел, как катаются по нескончаемой — от Сретенских до Трубной! — ледяной дорожке. Я был совершенно убежден, что это самая длинная ледяная дорожка в мире. Впрочем, может, так оно и было. Мне уже тогда был свойствен некий фатализм, я понимал, что счастье случайно, что удачливость не зависит от меня; я только вздыхал про себя: «Вот если бы мы жили у Рождественского бульвара...» — и это было то же самое, что и «вот если бы я был невидимкой...» или «вот если бы у меня был ручной лев...»

Иногда я робко просил:

— Mam, давай сойдем у Сретенских?

— Зачем?

— Я прокачусь разок.

— Что ты, мы и так опаздываем...

Да, мы и так опаздывали, и в набитые трамваи сесть было трудно, и самое главное, в лице и в голосе мамы начисто отсутствовали те понимание и внимание, которые были у нее, когда я, к примеру, декламировал стихи или рассказывал о детском утреннике — это мое трамвайное желание лежало за пределами «интеллигентного»...

Я подрос и стал ездить по Москве самостоятельно. Это значило, что я уже сам торопился, сам куда-то опаздывал; а когда не спешил и не опаздывал, меня останавливало другое: «Ну, как же это я, такой взрослый, такой рослый, вылезу из трамвая и буду скользить вниз среди малы-

шей мне по колено? Ведь мне уже 10 (11, 12), а все считают, что не меньше 13-ти (14-ти, 15-ти). Нет, невозможно». И я вздыхал и солидно смотрел в свой глазок на разноцветную малышню, которая с угадывающимся визгом скользила, сталкивалась, падала и, разбежавшись короткими шажками, снова впрыгивала на лед.

Я вернулся в Москву в самом начале марта 1945 года. На мне были сапоги и шинель. Рука у меня была на перевязи. В вагонах мне уступали место «взрослые» люди, и я довольно быстро выучился с достоинством принимать эти знаки внимания.

Позади было то же самое, что у большинства моих сверстников; впереди — нечто совершенно ослепительное и бесконечное. Надо было только потрясти мир своими стихами и объяснить с девушкой, в которую я был влюблен, причем первое было, на мой взгляд, много проще.

Я ехал в трамвае «А» по Бульварному кольцу. Я нервничал, потому что опаздывал: предстоял важный разговор о прописке, о жилье, о продовольственных карточках. Трамвай медленно, с трудом поднимался от Трубной к Сретенским. И вдруг я увидел ледяную дорожку. По ней, растопырив руки, торопясь и толкаясь, катились ребятишки в укороченных ватниках, в курточках из шинельного сукна, в растоптанных валенках — счастливы, живущие около Рождественского бульвара.

Я слез на остановке, перешел на другую сторону, дождался, когда впереди не будет детишек, разбежался и поехал. Несколько раз мне приходилось выпрыгивать в сторону, чтобы не сбить едушки впереди малышей; но уже во второй раз я пролетел весь спуск от начала до конца без перерывов, потому что впереди мчались добровольцы-мальчишки и пронзительно вопили, чтобы мне дали дорогу. Бабки и няньки, опасливо и снисходительно поглядывая на меня, предупреждали своих подопечных: «Погоди, погоди, вон солдатик едет, ну, выпил, ну, ничего, не ругается, не хулиганит»...

Я съехал в третий раз, сел в трамвай и поехал дальше, по своим делам.

Я не чувствовал ни смущения, ни иронической гордости за этот свой подвиг. Это не было и «исполнением желаний». Это был провал в детство, в 6—7 лет от роду, один из немногих естественных поступков в моей взрослой жизни.

«Ледяные дорожки» — это звучит скучно, определительно. В Харькове их называют чудесным словом «скользенки».



Когда мне было лет десять-одиннадцать, я вычитал у Чехова слово «селянка» и как-то произнес его в разговоре с приятелями. «Чего, чего?» — «Селянка, кушанье такое», — объяснил я. Меня жестоко высмеяли: «Селянка — это женщина, которая в селе живет».

Как на грех во все лето книжка Чехова мне не попадалась, словарей

не было. «Селянку» мне еще несколько раз припомнили и всякий раз хохотали. А потом все разъехались.

За тридцать с лишним лет это слово встречалось мне сотни раз, и не только в книгах, но и в меню, и в разговорах, и каждый раз обида накатывала снова. Двое из моих тогдашних собеседников убиты на войне; об одном я ничего не знаю; но с двоими я изредка встречался.

Ну и что? Начать объяснять им, что я был прав? Они скажут: «Ты спятил». Или: «Ты пьян». Или — в лучшем случае: «В самом деле мы тебе не поверили? Забавно! И как ты все это помнишь?»

«Забавно!» Тогда я даже всплакнул тайком.

Меня довольно часто и больно обижали; на многое я плюнул и не вспоминал, за кое-что расквитался; но эта обида саднит до сих пор. И я совершенно бессилён сделать что-нибудь. Ах, как скверно, когда большой не может защитить маленького!



Недавно я прочитал в старом журнале отрывок из романа К. Федина «Костер». Там герой в начале войны идет в Ясную Поляну, и его принимают за шпиона: на нем элегантное пальто, а кроме того, он зачем-то соврал, что отстал от экскурсии.

Меня тоже однажды приняли за шпиона. Только одет я был вполне хреново и никому ничего не врал и шел не на поклонение Толстому, а в районный центр Ершово Саратовской области.

Дело в том, что мне только что исполнилось 17 лет и я счел себя вполне созревшим для воинских подвигов. Вот я и отправился в Ершово, в райвоенкомат, чтобы добровольно вступить в армию. Идти мне надо было километров сорок, на полдороге было село, где я собирался переночевать. И я действительно заночевал там. Произошло это так. Я уже подходил к селу, когда мне повстречался мальчишка лет 10—12. Он остановился, вытаращил на меня глаза и вдруг повернулся и побежал обратно. Я шагнул дальше в село, и вот, когда я миновал первые избы, вдруг из-за угла выскочили два солдата с винтовками (тогда мы еще говорили «красноармейцы» или «бойцы»).

— А ну, стой!

Я остановился.

— А ну, поворачивай! Шагай!

Я повернулся и пошел. Меня привели в какой-то дом, я сел на лавку, и один из бойцов остался стеречь меня. Минут через пятнадцать в комнату влетел старший лейтенант (три «кубаря» в петлицах), подскочил ко мне и сбил у меня с головы шапку.

— А-а, успел уже волосы отрастить!

Что это значило, я сразу не понял. Позже я сообразил, что он считал меня бежавшим заключенным.

Потом он скомандовал:

— Встать!

Я встал.

— Ты зачем интересовался расположением аэродрома?

Я тупо молчал.

— Отвечай!

— Никаким аэродромом я не интересовался.

— А вот мы сейчас проверим.

Он распахнул дверь и крикнул:

— Иди сюда!

Вошел давешний мальчишка.

— Этот?

— Этот,— сказал мальчишка.

— Что он тебе говорил?

— Спрашивал, где аэродром.

— Не ври,— сказал я,— я тебе ни слова не сказал.

— Спрашивал,— упрямо повторил паренек.

— Ладно, иди,— сказал офицер.— А этого закройте.

Меня заперли в каком-то чулане, где на полу, слава Богу, была солома.

Я лег на пол и стал думать. «Дурак какой,— думал я, содрогаясь от собственной дерзости: ведь я так обзывал командира Красной Армии! — какой дурак. Ведь если он принял меня за бежавшего арестанта, то мог бы сообразить, что бежавший арестант не станет расспрашивать об аэродроме. А если он действительно считает меня шпионом, то почему он не спросил, кто я такой, где живу, есть ли документы».

Часа через три дверь отворилась и мне велели выйти. Я отряхнул солому и вышел в комнату. Там сидел пожилой командир со «шпалой». «Капитан»,— сообразил я.

— Кто такой? — спросил он.— Как звать?

Я ответил.

— Где живешь?

— В Борисоглебске.

— Куда шел?

— В Ершово.

— Зачем?

— В военкомат.

— Повестка есть?

— Нет.

— С какого года?

— С двадцать пятого.

— 25-й еще не призывают.

— Я добровольно хочу.

— Не возьмут. Документ какой-нибудь есть?

Я дал ему ветхую, протершуюся на сгибах метрику.

— Москвич?  
— Да.  
— В какой школе учился? Где она?  
— В 613-й. Большой Харитоньевский переулок.  
— Кто директор? Завуч кто?  
— Шестопалов Павел Петрович. Новобытова Анна Александровна.  
— Не возьмут.— Я не понял.— В армию, говорю, не возьмут. Ну, ступай. Погоди. Куда же ты ночью? Спи здесь. Есть хочешь?  
— У меня есть хлеб.  
— Ладно. Спи до утра. И с дураками больше не разговаривай.  
Я так и не понял, кого он имел в виду: мальчишку или старшего лейтенанта.

В военкомате мне, разумеется, дали от ворот поворот.

«Надо будет — вызовем. Герой тоже!» И вызвали. Через три месяца. Когда мы, призывники, проезжали через то село, где я был задержан, у меня впервые с тех пор возникла действительно шпионская мысль: «Черт, а где же в самом деле аэродром?» Сейчас я думаю, что никакого аэродрома там и в помине не было. На кой ляд его располагать в голой, как плешь, степи?

А мальчишка тот, что наврал про меня, должно быть, до сих пор, если жив, рассказывает, как он в конце 42-го года задержал шпиона. И сам верит. Что-то все-таки в моем облике было, наверное, не деревенское, чужое.

Я в своей жизни встретил четырех настоящих шпионов. Один из них был замечательный человек, бывший эсер-боевик, после гражданской работавший за границей, в довольно крупных чинах; одно время непосредственно ему подчинялся знаменитый Рихард Зорге. Пострелял он на своем веку немало. В свое время он вернулся, загремел, естественно, в лагерь, потом был освобожден, реабилитирован и мирно доживал пенсионером. Я его как-то в хорошую минуту спросил:

— А. П., а вам «мальчишки кровавые в глазах» не снятся по ночам?

— Нет, что вы.

— Никаких сожалений?

— Нет, почему же, сожаления есть. Двух человек не убил, хотя мог это сделать свободно.

— Это кого же?

— А я в ссылке в Туруханском крае вместе со Сталиным был. Он часто на охоту ходил, в тайгу; если бы его там прикончить, через сутки и костей бы не осталось — зверье бы растаскало.

— А второй?

— А второй в начале двадцатых через два-три столика от меня в мюнхенской пивной сидел. Гитлер.

— Н-да.

— Вот вам и «н-да». Впрочем, когда я говорю о своих сожалениях,

то сам чувствую, что это мое личное, эмоциональное, что ли. В целом ничего бы не изменилось. Были бы другой Сталин и другой Гитлер...

Еще шпионов я видел уже в лагере. Один был полное ничтожество: инженер, продавший чертежи американцам только ради денег и тряпок для жены, какой-то видной спортсменки; он жаловался, что она его втравлила в это дело, она же и отреклась от него сразу после ареста.

Второй был латыш, уже пожилой, запущенный на территорию Латвии после войны, прошедший обучение в Штатах, в школе разведчиков. Я его увидел после его трехлетнего пребывания во Владимире, в «крытке», куда он был отправлен из лагеря за то, что обучал латышскую молодежь разным боевым приемам. Был он приморенный, замкнутый и общался, да и то мало, только с компатриотами.

Третий был туркмен, круглолицый, веселый, производивший впечатление деревенского дурачка. Мы с ним играли на самодельном бильярде, он комиковал, гримасничал и, казалось, радовался тому, что был мишенью для шуток. Все к нему относились свысока, но снисходительно: что взять с убогого?

Кто он был на самом деле, я узнал много позже, случайно. Я был уже в другом лагере, у нас была небольшая дружная компания, и около нас всегда околачивался турок Исса, пожилой, маленький, сгорбленный. Порусски он знал слов 10—15, не больше. Кое-как, через тюркоязычных зеков, он объяснил, что он честный контрабандист и таскал туда-сюда немножко барахла, а его посчитали шпионом и дали 15 лет.

По вечерам, когда мы собирались в курилке и толковали об утопических учениях, об экзистенциализме, об абстрактной живописи и конкретной музыке, Исса сидел с нами, курил и время от времени гладил кого-нибудь из нас по плечу и бормотал: «Брат, хорошо». Однажды после таких посиделок мы с приятелем вышли, и я сказал ему: «Как жалко Иссу! Сидит без языка, не с кем словом перемолвиться. Бедняга!» — «А вы уверены, что ему не придется сдерживаться, чтобы не вмешаться со своей точкой зрения на Платона или, скажем, Кампанеллу?» — «Да будет вам чушь пороть!» — «Может, и чушь. Я ведь не утверждаю, а только предполагаю. Вы помните О., туркмена на 11-м, вашего партнера по бильярду? Какого вы мнения о нем? Какое у него, к примеру, образование?» — «Я думаю, два-три класса сельской школы максимум». — «Угу, максимум. А сельскохозяйственный институт в Ашхабаде — не хотите ли?» — «Не может быть!» — «А до этого десятилетка в кишлаке. А до кишлака, — мой собеседник сделал паузу, — Оксфорд». — «Что-о?» — «Оксфорд, Оксфорд — слышали про такой вуз? У этого самого О. был дядя, который в начале тридцатых годов сбежал в Афганистан. Там он разбогател и стал весьма влиятельной персоной. Он выписал себе племянника, нелегальным, конечно, манером, дал ему тамошнее образование, а потом отправил в Англию. О. учился в Оксфорде, а заодно еще кое-где. Потом вернулся в Афганистан, снова перешел границу, затесался в какой-то кишлак, пастушил,



кончил школу — на тройки, естественно,— и как сельский кадр был принят в ашхабадский институт. Он агроном или ветеринар, не помню точно». — «Ну и дела! Так вы думаете, что Исса тоже...» — «Ничего я не думаю, я только делаю допущение».

На другой день в столовой произошел скандал. У раздаточного окна столкнулись два зека: маленький инвалид Исса и здоровенный лоб, мужик из строительной бригады. Строителям обычно уступали очередь, уступил бы и Исса, но тот грубо оттер его от окна и обматерил вдобавок. Что-что, а русский мат Исса понимал. Он гневно закричал что-то по-турецки и снова придвинулся к окну. Его противник, нависнув над ним, замахнулся. И тогда... Я не успел рассмотреть, как это произошло, я только увидел, как крохотный старый Исса стоит и вопит на своем языке, а обидевший его Голиаф корчится на полу, обливаясь кровью. Кровь хлестала изо рта, из носа, чуть ли не из ушей. Ему было, очевидно, очень больно, но даже гримаса боли не могла скрыть величайшего изумления.

«Вы помните наш вчерашний разговор?» — «Да»,— сказал я. «Так вот, наш турок применил спецприем...» — «Откуда вы знаете?» — «А о таком приеме нам на 11-м наш земляк рассказывал. Помните, латыш, разведчик?»

Слово «шпион» я употребляю только в одном смысле — разведчик. Обычно шпионами именуют еще осведомителей, доносчиков, сексотов, стукачей. Таких-то я видел великое множество.

Меня самого однажды вербовали в осведомители. Это было в армии, в училище. В теплый весенний денек мы шли по лесу на тактические занятия, тропка была узкая, мы шли цепочкой, я замыкал строй, на повороте я вильнул в сторону, нашел полянку поуютней и улегся спать. Проснувшись, я с ужасом увидел, что у моей СНТ нет затвора. Я обшарил все вокруг, но затвора не нашел. Ожидая всех бед и напастей, я поплелся назад, в расположение нашей роты. Моего отсутствия никто из взвода не заметил, но я понимал, что передышка до первой проверки оружия. Но получилось все иначе.

К вечеру мне скомандовали:

— К командиру роты!

Я пошел на расправу. Откинув дверь командирской палатки, рывкнул:

— Разрешите войти?

— Войдите.

— По вашему приказанию курсант Даниэль прибыл.

— Вот, Даниэль, с вами хочет побеседовать товарищ капитан.

Тут только я заметил сидевшего сбоку незнакомого капитана. Командир роты вышел.

— Садитесь,— сказал капитан.— Давайте знакомиться.

Он очень подробно выспросил у меня все мои данные, предложил папироску. Потом.... потом он предложил мне стать стукачом. Сделал он это вполне элегантно.

— Вы, Даниэль, человек интеллигентный, образованный. Вы сами понимаете, как много значат боевой дух и моральный облик будущих командиров. Наверняка понимаете также, как важно командованию знать, чем дышат курсанты, чего можно от них ожидать. Вот мы и хотим, чтобы вы нам помогли. Ну, там разговоры разные, пересуды, кривотолки. Анекдоты. Все это надо брать на карандаш. Понятно?

— Так точно, товарищ капитан, понятно. А как мне вам сообщать?

— А я вас вызову, недельки этак через полторы. Точнее, не я, а командир роты. Только мы трое и будем знать. Никому ни слова, понятно?

— Так точно, товарищ капитан, понятно.

— Ну, вот и хорошо. Может, просьбы какие-нибудь есть, пожелания?

— Нет, товарищ капитан, у меня все в порядке.

— Значит, договорились. До свиданья, идите.

Я повернулся налево кругом и вышел. Командир роты курсировал взад и вперед на некотором расстоянии от палатки. Когда я поравнялся с ним, он жестом остановил меня, запустил руку в карман шинели и вытащил мой затвор.

— Вот, возьми. И больше не сачкуй. Скажи спасибо, что это я на тебя, спящего, натолкнулся, да и вот теперь такие обстоятельства получились...

Через некоторое время меня вызвали. Давешний капитан встретил меня приветливо, поздоровался за руку, усадил. Я, очень сконфуженный и огорченный, сообщил ему, что неподобающие разговоры действительно среди курсантов бывают.

— Какие?

— Анекдоты. Такие, знаете, с нехорошим душком.

— Рассказывайте.

Я, стесняясь, рассказал ему два анекдота. Это были солдатские, сортирные анекдоты, где слово «жоп» было самым изысканным, а содержание крутилось вокруг мужской мощи и женской ненасытности.

После первого анекдота капитан положил приготовленный карандаш, после второго захолопнул блокнот. Я замолчал. Мне было очень стыдно, что я при офицере произношу такие слова.

— Все? — спросил он.

— Нет, — ответил я, — еще есть.

— Такие же?

— Да, примерно такие.

— Антисоветские анекдоты есть? — спросил он напрямик.

— Так вот же я вам рассказываю. Будущий командир, вы сами сказали, должен быть... ну, как это... моральный облик должен быть на высоте, а они...

— Хватит, — сказал капитан и уставился на меня.

Он долго, внимательно приглядывался, стараясь определить, иднот ли я или только прикидываюсь, а я смотрел на него честным, добродетельным взглядом и благословлял память Гашека, изобретателя лучшей солдатской брони, лучшего укрытия, дота, дзота — Йозефа Швейка.

— Идите,— сказал капитан.

Тот недолгий остаток времени, что я еще пробыл в училище, командир роты, старший лейтенант, был ко мне очень благосклонен.



Вошло несколько офицеров. Один из них — младший по званию — сказал:

— А ну, славяне, давай отсюда в первую комнату. Здесь будут пленных допрашивать.

Мы вышли в первую комнату. Там уже толпились пленные — десять человек. Это была странная компания: пятеро русских, четверо французов и один немец. Немец держался особняком, молчал, смотрел поверх голов.

— Ты кто такой? — спросил его приبلудившийся к нам старшина в тельняшке под распахнутой гимнастеркой. — Танкист? Автоматчик?

Немец молчал. Я повторил вопрос по-немецки.

— Я шофер,— сказал немец.

— Шофер?! Ах ты, сука! Все вы шофера да санитары, когда в плен попадаете. А кто же в нас стреляет, гад? — и морячок замахнулся. Немец вздернул подбородок. Больше он не отвечал, сколько я его ни спрашивал. Морячка унял, и он уставился в окно, что-то бормоча.

Русские сами пытались заговорить с нами, но мы не хотели с ними говорить. Молодые, безжалостные, еще не остывшие от боя, мы не знали тогда (да и знать не хотели), какие пути приводили русских солдат в немецкую армию. Сколько лет понадобилось мне, чтобы усомниться в том, что именно они виноваты? Двадцать с лишним. Да, лишь через двадцать с лишним лет я понял, что, может быть, эти пятеро заслуживали не ненависти, а жалости. Теперь я уже не узнаю, кто они были: предатели или жертвы предательства?

А французы переговаривались вполголоса. Им очень хотелось радоваться, что они, наконец, в плену; но в плену ли? Может, это не плен, а полчаса перед смертью и эта грязная комнатуха — трамплин на тот свет?

— А эти кто? — спросил меня один из наших. Они свято верили в мою образованность, и мой варварский немецкий вызывал у них восхищение.

— А черт их знает,— сказал я,— не то итальянцы, не то французы.

— Parlez vous francaises? — обрадовались французы и зачистили по-французски. Я развел руками и выдавил:

— Нэ парле франсез.

И тут вдруг мой дружок Петька, с которым меня вместе выгнали из двух офицерских училищ и спровадили из запасного полка, Петька Смирнов, пропивший новёхонькую курсантскую форму в Привольске, Петька, с которым мы, поругавшись, долго били друг другу морду под минометным

обстрелом, этот Петька вдруг вспомнил, что он когда-то все-таки учился в пятом классе.

— Un, deux, trois, quatre,— заявил он нахально,— cinq, six,— и, загибая пальцы, досчитал до десяти.

Боже, что стало с французами! Они зашумели, закричали, окружили Петьку, стали хватать за руки, хлопать по плечам. По-моему, они решили, что эти дурацкие цифры — формула отпущения грехов, индульгенция, пропуск в жизнь.

Петька иссяк. Но французам было этого достаточно... Они расслабились, закурили, стали угощать нас сигаретами...

Мрачный морячок повернулся к нам и сказал, указывая на окна:

— Братва, там какая-то хреновина.

И тут на окраине деревни рвануло. Мы бросились к окнам. На улице началась суматоха, заторопились повозки, грузовики, полевые кухни, шли солдаты, оглядываясь назад. Мы выскочили из дома.

— Эй, ребята, что там?

— Говорят, танки прорвались!

Если бы немцы ударили по центру, по самой деревне, они бы наломали дров. Но они обрабатывали линию обороны — то есть то место, где она должна была быть: в эту огромную деревню вошли с боем сразу несколько частей, и каждый из командиров понадеялся на других.

— Отступаем!

Мы бросились в дом за пожитками. Вместе с нами в дом вскочили конвоиры. Один из них распахнул дверь в дальнюю комнату:

— Товарищ капитан, отступаем!

Офицеры вышли на улицу и сели в виллис.

— Товарищ капитан, как с пленными?

Что меня потом, когда я вспоминал этот случай, поражало, что тот офицер не раздумывал ни мгновенья. Он отчеканил так, как если бы эта ситуация была предусмотрена уставом или инструкцией:

— Русских, немца — к стенке, французов с собой!

И виллис уехал.

Шесть человек были поставлены к стене дома и расстреляны автоматными очередями. Потом автоматчики сказали «айда!», и мы все побежали — конвоиры, мы и французы.

Бежали мы недолго — метров триста. На дороге встал какой-то полковник с пистолетом. Он остановил нас, отmaterил и послал в цепь. Один из автоматчиков доложил ему о пленных.

— А, французы,— сказал полковник с каким-то непонятым доброжелательством и благодушно махнул рукой.— Драпайте.

Французы с конвоирами драпанули дальше.

Почему, собственно, к французам такое отношение? Если попытаться рассуждать, то именно эти четверо были хуже немцев — врага, солдата воюющей с нами Германии: это были, вероятно, добровольцы, какая-ни-

будь уголовная сволочь или, хуже того, французские фашисты — явление, как мне кажется, противоестественное. Ну, хорошо, мы, горожане, так называемая интеллигенция, осколки русской культуры XIX века, мы знаем имена Рабле и Вольтера, Сары Бернар и Бизе, Шампольона и Пастера; наши Татьяны, Печорины и Рудины изъяснялись по-французски; наши герои бежали в Париж — спасаясь от тюрьмы, в чайники славы или просто — завить горе веревочкой, пыль в глаза пустить — для нас есть некое изначальное, априорное обаяние в этом звании — «француз». Но ведь у всех, у всех без исключения россиян исчезает напряжение, когда они сталкиваются с французами. Как будто не было ни 1812 года, ни Крымской войны, ни оккупации Одессы. Ну, я еще понимаю тех дур, которые насмотрелись французских кинокомедий да от бабушек краем уха слышали о Поль де-Коке. В их представлении француз — это рьяный кавалер, чья главная идея — немедленно затащить их в постель. Пришел как-то знакомый француз в гости к моему другу. Дамочки — дальние родственницы — сбежались посмотреть. После одна из них выразила общее разочарование: «Не очень-то он вежлив, этот ваш француз!» Еще бы! Он был рыжий, а не знойный брюнет, физиономию украшали не обольстительные усы, а золотые профессорские очки, и он говорил о поэзии Маяковского, вместо того чтобы хватать их за коленки. А у них-то, у бедняжек, была модель французской «вежливости», и вдруг такое... Бог с ними, но мы-то, наши-то, солдаты, мужики, раскаленный добела полковник, автоматчики, которым о своей шкуре влору думать, — что нам-то французы? И Москва из-за них горела; и Грибоедов ругался, и Достоевский захлебывался, и Щедрин язвил; и Пушкина не Шульц и не Смит, а Дантес ухлопал! А вот поди ж ты! Французы, Франция — на сердце теплеет, и губы сами распускаются в улыбку.

Я не знаю, в чем причина этой непреходящей любви к Франции, но она была и есть, и деться от нее некуда...

Казнь, которую я увидел, не произвела тогда на меня особого впечатления. Хотя, если вдуматься, за что немца-то расстреляли? Пленный как пленный.

А вторая (и слава Богу, последняя) казнь, виденная мною, была отвратительной; это я почувствовал сразу, тогда же. Его звали Адам Нольф, он был из дивизии «Викинг», и местные жители опознали его в колонне пленных как командира зондеркоманды, сжегшей деревню при отступлении. Другие пленные это немедленно подтвердили. Был устроен суд, его осудили на повешение и публично повесили с грузовика. В ватные штаны висельника кто-то ткнул сигарку, и труп потихонечку дымился.

Мне не жаль его ничуть; но убийство — это страшное дело, и его нельзя превращать в зрелище. Я не берусь судить, допустима ли вообще смертная казнь; наверное, прав Лев Копелев: нельзя казнить (но: «Расстрелять!» — сказал Алеша Карамазов).

Не знаю. Но публичная казнь — это наверняка преступление.

Я не смог бы найти это место на карте. Один за другим менялись литовские хутора, наши ночевки и привалы. Бомбежки и обстрелы были однообразны и отличались друг от друга лишь числом убитых и раненых. Это был август сорок четвертого, по слухам, мы выходили к границам Восточной Пруссии, и солдаты в открытую матерились, что, мол, командиры частей соревнуются, кто первый перейдет границу, и из-за своих будущих орденов гробят солдат. Ни тебе артподготовки, ни авиации. Это было похоже на правду. Несколько раз уже наши батальоны пытались взять какие-то рубежи, и каждый раз их отбрасывали. Дошел черед и до нас. С утра раздали гранаты, объяснили, что наступать будем по полю, ползком, к опушке, по свистку поднимемся и побегим в атаку. Я прицепил гранату к поясу, проверил диск и покрепче привязал к автомату цветной литовский поясok из шерсти. Мне выдали автомат без ремня («Сам найдешь!»), и я подобрал этот красивый поясok на брошенном хуторе. Все хутора были брошены. Вообще литовцев я видел только в Вильнюсе. Каунас, когда мы маршем проходили через него, был пуст, как вымер, а хутора выглядели так, будто их обитатели полчаса назад убежали в лес, бросив все хозяйство на ходу.

Так оно большей частью и было. Тридцать лет спустя мой знакомый рассказал, как они всей семьей ушли в лес, и только отец наведывался на хутор, посмотреть, цел ли. В один раз он застал там двух пацанов — советских солдат: они мыкались по дому в поисках еды. Он их накормил, они наелись, сказали «спасибо» и пошли, а он бежал вслед за ними, крича, что они забыли оружие...

На таком вот хуторе я и взял поясok для автомата. А еще я подобрал валявшееся во дворе ожерелье из зеленых камней — какие-то резные камни, довольно красивые; я его подарил первой встретившейся женщине — просто так, без всякой корысти. Это была не то санитарка, не то регулировщица, не помню. До сих пор не знаю, как назвать то, что я взял это ожерелье: кража? мародерство? грабеж? Я ведь все-таки ни у кого не отнимал, оно валялось, может, брошенное, может, потерялось. На всякий случай через тридцать лет моя жена подарила («вернула», как она сказала) знакомой литовке — та была с хутора родом — браслет с зелеными камушками.

Мы вылезли из леса и поползли через рожь, она была уже высокой, в полроста, и густой, метров через десять мы уже перестали видеть друг друга. Я лез, наклонив голову, стараясь уберечь лицо, без единой мысли в голове, на четвереньках, вперед, сквозь душистый запах ржи, и комыя земли с жесткой коркой, а внутри рассыпающиеся, мягкие, податливые, были надежными и дружественными. Я полз долго, а свистка все не было и не было, и я уже не слышал шороха ползущих где-то рядом. Я испугался, что ползу не туда, что заблудился, что не услышал свистка, прозевал, не готов

к атаке. Где граната? Я стал шарить у пояса, ничего не нащупал и, растерявшись, встал на колени. Я успел увидеть, что гранаты нет, я ее потерял, и еще я с великим изумлением увидел совсем близкую опушку — метров двадцать, не больше, и тут меня сильно толкнуло в правое плечо, а потом в левую кисть, и я сел на землю. Из основания большого пальца на левой руке текла кровь, и сначала я увидел ее, а уж потом темные пятна на правом рукаве. Я поднял правую руку, и она прогнулась, но не в локте, а выше, гораздо выше, там, где ей сгибаться совсем не полагалось. Я понял, что ранен, именно понял, потому что увидеть свое ранение — это не значит сразу понять, что, собственно, случилось.

Я был очень спокоен, и голова у меня была ясная. Первым делом я снял автомат и положил его на землю («бросил оружие»). Потом снял ремень и попробовал затянуть им руку выше раны. Из этого ничего не вышло — ремень был широкий и твердый, да и целого места для перевязки на плече почти не оставалось. Потом я лег на спину, левой рукой положил правую на грудь и пополз обратно. Я полз, отталкиваясь каблуками и левым локтем, опираясь на затылок.

Это продолжалось долго, очень долго. Дело шло к полдню, солнце припекало всюду, кровь текла, я очень устал. Хотя я пытался возвратиться по собственному следу, я, конечно, сбился с пути. Еще бы! Ползти на спине — не глядя! И вот я почти свалился в какую-то яму. Это был небольшой — метров десять — поперечнике — котлованчик, на дне его была лужа, а по ту сторону лужи — дерево. Я, согнувшись, прошлепал по луже, потом напился из нее и лег в тень, под дерево. Рука не болела, и это было странно, потому что она болталась, как у куклы, и я слышал, как трутся и похрустывают раздробленные кости. Ах, как славно было лежать в тени, обсыхая от пота, глядя в небо, ровноголубое, спокойное.

Не знаю, почему я не слышал ни стрельбы, ни криков; наверное, они были — просто я уже, должно быть, выключился из войны, и мои чувства отсекали все, что не относилось к моему телу, худому и пыльному телу с нелепо вывернутой, мертвой рукой.

Я стал задремывать. Наверное, я так люблю спать сейчас, потому что недоспал там, в этой яме, под тихим теплым небом Литвы или Пруссии — так я и не узнал, где это случилось. Но тогда я понял, что нельзя давать себе поблажку, что я истеку кровью, что надо идти. Я вылез на край ямы и выглянул: до нашей опушки оставалось метров тридцать. «Не доползу», — подумал я. Это был самообман — я бы добрался; но рука уже начала болеть, и вместе с болью ко мне вернулось что-то, что было сильнее инстинкта самосохранения — брезгливость, что ли? Мне стало невыносимо противно снова лечь на спину и ползти, как червяк, мать их... Я снова обрел способность ругаться.

Я встал, взял правую руку в левую и, пригибаясь, побежал.

Когда я вбежал в лес и, задыхаясь, побрел меж деревьев, первый, кто мне встретился, был санитар.

— Давай перевязывай!

Он — пожилой мешковатый белорус — трясущимися руками распустил бинт во всю длину, до земли, и топтался вокруг меня, не зная, как приступить к перевязке.

Я выругался.

— Да, братушка, да я же не знаю, да только мобилизовали...

— Собери бинт, не распускаяй! Сюда клади конец. Обматывай. Сильней!

Он кое-как обмотал руку поверх рукава, свернул мне сигарку, зажег, и я, держа ее в растопыренной левой руке, пошел в медсанбат. Примерно через километр мне встретился военфельдшер. Он был пьян, он ловко разрезал рукав, перевязал и повесил руку. Когда он разрезал гимнастерку, я увидел, что ранен не только в плечо: на предплечье была здоровенная рана. Там была перебита только одна кость, и поэтому здесь рука не вихлялась, как в плече.

Добравшись до медсанбата, я долго сидел у операционной палатки, тупо наблюдая, как из нее выносят ведра с руками и ногами. Потом меня положили на стол, хирург-капитан спросил, откуда я. «А-а, земляк», — ухмыльнулся он, услышав, что я москвич. «А раз земляк, то руку не отрезайте», — сказал я. «Ладно, посмотрим, ты засыпай знай. Считай!» Я стал считать, досчитал до тридцати и полетел в звездное звенящее небо.

Когда я очнулся, рука была на месте — уже в лангете, белая и неуклюжая. Больше я не помню, что за чем было и сколько длилось. Трясая подвода, налет, «мессера», идущие сверху, я лежу на спине, и единственное, что я могу сделать, — это закрыть глаза; вагон в пассажирском поезде, приспособленном под санэшелон, с верхней полки сквозь щель мне на грудь течет кровь; Вильнюс, я пытаюсь ходить; госпитальные сестры из того отделения, с которым я расстался месяца полтора-два назад; меня гипсуют, больно до умоисступления. «Ругайся, солдат», — говорит врач. «Не могу — женщины», — хорохорюсь я; запасные пути на каком-то московском вокзале, Куйбышев, Маруська-танкистка сует сотню пареньку, посылает по продиктованному мною адресу, мама, Бугуруслан, когда меня выносят из вагона, бабы крестятся — покойника несут, молоденького. Куйбышев, запах гноя, сотни, тысячи километров, миллиметровое движение мизинцем — первым ожившим пальцем...

Я подумал сейчас, почему из захлавленной памяти настойчиво, требовательно вылезает цифры расстояний: двадцать метров, тридцать, километр, миллиметр? Ответ может быть лишь один: мерами длины — не времени — измерялись жизнь и смерть. Сантиметров семьдесят — восемьдесят было между моими простреленными руками — посредине был я. И так во всем.

Интересно бы знать, кто из литовцев — моих товарищей по лагерю — подобрал автомат с цветным пояском?



В это первое послевоенное лето мне почему-то казалось очень важным и нужным найти моих довоенных друзей и знакомых. Наверно, во мне работала схема, литературный стереотип: после долгой военной разлуки друзья детства и юности заключают друг друга в объятия, делятся самым заветным и затем, рука об руку, шагают вместе к лучезарным далям.

Несколько раз меня приложили мордой об стол.

По странному совпадению я раз за разом встречался с людьми, не бывавшими на фронте. Что-то было неладно в их отношении ко мне. Тогда, в 19 лет, я не мог понять, что именно не так, почему какой-то неприятный осадок оставляет общение с этими людьми, с их родителями, с их новыми семьями. Они были очень участливы, они очень расспрашивали, ужасались и восхищались и провозглашали тосты в мою честь. Они принимали меня, как принимают вернувшегося из больницы, выздоровевшего после того, как был сшиблен машиной. Да, это прекрасно, как мужественно ты вел себя во время операции, да, это, наверное, невыносимо тяжело лежать в гипсе, ты это выдержал, тобою можно гордиться — ну, давай, еще раз, за твоё здоровье, за успехи! И за всем тем, за их благожелательностью, стояло то, что я понял много позже: они-то были здоровыми! Они-то не попадали под машину! Я не думаю, чтобы это вечное превосходство здорового над больным было так уж осознано ими, но оно было. И не могло не быть.

Они и их жены (или мужья) учились на вторых и третьих курсах институтов, на них были гражданские ботинки и пиджаки, они знали о жизни (так казалось им — и мне) то, чего не знал я, они понимали, с кем, как и о чем разговаривать. А главное — жизнь не была для них разделена надвое какой-либо датой: ну, скажем, 9 мая. Или, как у меня, выходом из госпиталя. Их взрослая жизнь началась раньше, и никакие мои медали не делали меня равным им, не вытаскивали из мальчиков.

...На подмосковной даче, принадлежавшей очень благополучному, очень академическому семейству, я сидел на веранде у накрытого стола. Я увидел напрочь забытые вещи. Нет, я не про еду, хотя она отличалась от нашей, как белоснежная рубашки и летние туфли хозяина от моих гимнастерки и кирзовых сапог. Там были предметы, потерянные где-то в детстве и ушедшие не только от меня, но, кажется, и от быта всей страны: салфетки в кольцах и металлические подставочки для вилок и ножей, похожие на распрямленные и отполированные стрелки колючей проволоки. А перед моим прибором сияла бутылка водки, купленная, как мне сообщили, специально для меня. И я выпил один эту бутылку, хотя мне очень хотелось светлого грузинского вина, но я постеснялся попросить, я не сумел выйти из навязанной мне роли солдата-победителя. Я выпил эту водку и опьянел, и рассказывал, и, разумеется, привирал. Они сидели, и слушали, и спрашивали, и с каким стыдом я вспоминал потом их доброжелательные, участли-

вые, терпеливые лица! Меня проводили на станцию, усадили в электричку, пожелали благополучия («Тебе нужно непременно поступать в вуз, и как можно скорее!») и больше не пригласили. Это был единственный срыв в превосходно проведенной церемонии Воздания Долга Защитнику Родины. А в остальном все было так безупречно, так благородно и интеллигентно, так со вкусом, что советать решительно не на что. Но почему же, когда я вспоминаю этот прием, мне приходит на память известное полотно Кончаловского, изображающее знаменитого советского писателя графа Алексея Николаевича Толстого, который всласть выпивает и закусьивает за столом, уставленным обильной жратвой? Год тысяча девятьсот сорок четвертый — дата на холсте. Милые, деликатные, сдержанные люди — и торжествующее, утробное хамство Толстого. Какая тут связь?

Боже, как затянулась моя детскость! Я теперь никогда не узнаю, только ли война была тому причиной: голод, холод, хутора в Сталинградской области, деревня в Саратовской, дурацкая муштра в офицерском училище<sup>1</sup>, фронт, полгода госпиталя... Казалось бы, все это должно было ускорить мое повзросление. Нет же! Годы понадобились для того, чтобы я научился смотреть не снизу вверх на любого встречного, чтобы научился верить не всему, что мне говорят, чтобы держаться с достоинством. Чтобы научился думать.

...Гимнастерка и галифе пришли в совершенную негодность. Но я был богат: у меня были две трети отцовского, когда-то очень хорошего костюма — коричневые штаны и жилетка. И появилась белая шелковая рубашка — подарок. Я заправил брюки в мои кирзовые, рубаху — в брюки, надел жилетку, скрыл все это убранство шинелью и отправился в гости. И только сняв шинель и увидев потрясенное лицо хозяйки дома, я оценил в полной мере свой наряд. То есть это она его оценила, а я оценку уразумел. В этом, на сей раз не очень интеллигентном, но очень ухоженном и богатом доме появился молодой конокрад. Мне не хватало лишь картуза и кнута за голенищем. Я был смугл в юности, и цыганки, прежде чем пристать с гаданьем, всегда спрашивали, не цыган ли я. Я очень гордился такими

---

<sup>1</sup> Бесконечная строевая подготовка, до сантиметра расчисленные движения рук и ног, на всю жизнь запомнившийся идиотский для этой войны прием под названием «От кавалерии — закройсь!»: по этой команде надо было присесть на корточки, а винтовку, держа ее снизу кончиками пальцев за ложе, поднять над головой. Предполагалось, что это спасет нас, когда немецкие всадники образца 43-го года начнут рубать нас саблями. А может, мечами или ятаганами. Я думаю, что за всю свою службу я все-таки совершил поступки, достойные похвалы: заставил выгнать себя из Саратовского училища и отказался учиться в Могилевском. У меня хватило ума и совести понять, что я не имею права командовать взводом, что это было бы подлостью — распоряжаться жизнью и смертью 40 человек, не умея читать карту, собрать пулемет, решить примитивную тактическую задачу... Там, на фронте, моим бойцам мало помогло бы, что я мог пробежать километр в противогазе или четко выполнить команду «Ряды взвод!» Я стал солдатом и, как сотни тысяч других, старался опровергать дешевый афоризм кадровых вояк «Плох тот солдат, который не хочет стать генералом».

вопросами. Мой школьный дружок, чьей женой была хозяйка дома, молодой журналист, деликатностью не отличался. Он попросту заржал, увидев меня: «Ну, ты и вырядился!» И после, за столом, когда мы пили и ели, он нет-нет да и ухмылялся, глядя на меня. Его жена, дочь каких-то важных родителей, сервировала нам стол и удалилась с обиженным лицом. Ей были не интересны ни наши школьные воспоминания, ни биография ее супруга, которую он излагал мне со вкусом, гордясь собой. В 41-м он работал в райкоме комсомола, в 42-м стал писать для газеты, в 43-м вступил в партию. «Это мне зачтется! — шумел он. — Понимаешь, немцы на Волге, вот-вот до Урала рванут, а я — в партию!» Он собирался делать большую карьеру. Лет через 12—13 он уже выпивал вместе с Хрущевым («Ну, и как он тебе?» — «Э-э, он коньяк селедкой закусывает»). Он не сделал карьеру, мой школьный дружок. Ему не помогли ни безупречная анкета, ни внешность былинного добра молодца, ни партийный стаж с 43-го года. Он спился. И высокопоставленность жен снижалась с каждым новым браком.

Почему я не ушел от стола? Почему я не плюнул и не выматерился? Почему я не сказал девушке, в которую мы оба со школьных лет были влюблены, что все его рассказы о высадках за линией фронта и партизанских рейдах — сплошное вранье? Что были только дешевая журналистика в глубоком тылу и прикрепление карточек к закрытым распределителям? Я не знаю. Наверное, все та же инфантильность души и ума, боязнь самостоятельности.

Легко и просто было с фронтовиками. Причем вовсе не обязательно, чтобы мы говорили о войне. У меня были и есть десятки знакомых, с которыми мы двух слов о фронте не сказали, а все-таки чувство равенства постоянно согревало все наши разговоры, все общения. А уж если за плечами было что-то, пережитое вместе...

...Я шел через анфиладу палат госпиталя в Смоленске. Я уже выздоровел и доживал в госпитале последние дни не в качестве пациента — я работал, помогал сестрам и санитаркам. И вдруг в одной из палат меня окликнули:

— Юлька!

Юлькой меня мог назвать только москвич, кто-то из прежней, довоенной жизни: в армии меня называли Юркой. Я стал озираться — ни одного знакомого лица.

— Юлька, сюда!

Я подошел к постели. Глаза казались огромными на исхудалом, сжавшемся лице. Он смотрел на меня, и его лицо то ли улыбалось, то ли кривилось.

— Не узнаешь? Мишка Б.

Я бросился к нему. Мы учились в одной школе. «У Харитонья в переулке», напротив домика, куда примчался возок Лариных, где матушка и тетушки взахлеб вспоминали «Грандисона... славного франта». Он — Мишка, а не Грандисон — учился классом старше меня, мы приятельство-

вали, бывали друг у друга, вместе занимались какими-то школьными делами, самодеятельностью, что ли.

— Что с тобой?

Он сделал режущий жест ребром ладони поперек ноги.

Осколок мины перебил ему кость, товарищи понесли его, нога, повисшая на мясе и сухожилиях, болталась, мешала. Он велел положить его на землю и отсек ногу ножом.

Я носил его на перевязки на руках — весу в нем было как в ребенке. Врачи и сестры зондировали рану, снимали присохшие бинты, отдирали тампоны. Он лежал на столе, улыбался, травил анекдоты, да так лихо, что все кругом хохотали и поражались — нет, не выдержке, а его мастерству краснобая-юмориста. Потом я уносил его в палату, он накрывался с головой одеялом, скрипел зубами и плакал.

Когда его отправляли с санэшелоном, я спёр в каптерке новехонькую офицерскую шинель и отдал ему, в дороге он сменял ее на выпивку. Их везли через Москву куда-то дальше, на Восток.

В Москве он на костылях выкарабкался из вагона и спрятался где-то на вокзале. Когда эшелон ушел, он явился в вокзальную комендатуру и добился, что его положили в московский госпиталь. Оттуда он позвонил матери. А накануне ей пришла «похоронка» на него — извещение о том, что он «пал смертью храбрых».

Два друга у меня остались со школьных времен: он и Борис З., который начал воевать в 16 лет, прошел всю войну и вернулся позже всех — такой же, как в ту пору, когда мы с ним учились в одном классе: мне всегда казалось, что душа его защищена грязеотталкивающей пленкой. Тогда, в школе, его долго не хотели принимать в комсомол — за дружбу со мной. Это удивительно, ведь моя политическая тупость стала исчезать лишь к 25—30 годам, но что-то, очевидно, было во мне, что дало повод для страшного определения: «Он скатился в болото оппортунизма». Что такое «оппортунизм», я тогда, в 14—15 лет, не знал, но огорчился чрезвычайно. Еще бы — «болото»! Впрочем, я и того не знал, что и болота не всегда надо осушать.

Так вот, мы трое понимали друг друга с ходу, о чем бы речь ни шла, хотя оба они «технари», а я «гуманитарий». Я никогда не спрашивал у них, ощущали ли они по возвращении этот невидимый барьер между вернувшимися с войны и на войне не бывавшими. Наверное, ощущали, но молчали так же, как и я.

Любопытно, что никакого барьера не было после моего второго возвращения — из заключения. Может быть, это потому, что тюрьма и лагерь ближе и привычнее не бывавшим в них, чем фронт — тыловикам?

---

# Бегство

Вы слышали про Ветошкина?  
Это удивительно, что никто его  
не знает.

*А. С. Пушкин*

Из главы

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХАЛИФ

1

— Ну, Иван Иванович, прямой вы Харун-аль-Рашид!

Шувалов промолчал. Он и сам не однажды мысленно уподоблял себя герою Шахразады, но отражавшееся в зеркале улыбающееся лицо секретаря было слишком подобострастным. Лысец. Лысец и, кажется, себе на уме. Приватные разговоры с просителями имеет. Но где достать другого, чтобы сведущ был в языках, расторопен и к делам ревностен? А этот бывший семинарист весьма боек, дела и переписку содержит в исправности; недаром университет с золотой медалью кончил. Но придется, пожалуй, отпустить его — просит в Смоленске место исходайствовать, в семинарии.

Шувалов вздохнул, поправил картуз, с комической серьезностью оглядел плащ, узковатый для дородной его фигуры, обернулся к секретарю:

— Сне, сударь, есть единственный способ узнать мысли простого народа, ни страхом, ни лестью не измененные.

Швейцар торопливо распахнул массивные двери, пропустил барина и, лишь закрыв за ним, ухмыльнулся. Опять барин пошел в немецком плаще пешком ходить! Бывшему хозяину плаща, немцу Иоганну Штрумпу, наконец-то повезло в России. Уже несколько месяцев жил он здесь, проеда последние деньги, а легких заработков, обещанных земляками, все не было. Шувалов нашел его по объявлению в «Московских ведомостях», где отчаявшийся Штрumpf публиковал себя учителем математики и пения,

---

Повесть «Бегство» была напечатана издательством «Детская литература» в 1965 году, однако до читателя не дошла. Во время следствия по делу А. Синявского и Ю. Даниэля тираж книги был уничтожен.

После освобождения Юлия Даниэля генерал КГБ Б. М. Когут подарил ему единственный уцелевший экземпляр «Бегства».

Главы из повести, помещенные здесь, печатаются по этому самому экземпляру.

ботаники и фортификации, французского, немецкого, латинского языков и дюжины других наук. Вельможа поручил Штрумпу готовить фейерверки и клеить разбитый фарфор (об этих искусствах также сообщалось в объявлении). Штрумп получил превосходную ливрею, а плащ его — о, diese Laupen eines grossen Hengels! <sup>1</sup> — Шувалов забрал себе.

И вот Шувалов в Штрумповом плаще, жмурясь на солнце, идет по Большой Садовой. На улице людно. Чиновники, крестьяне, солдаты, уличные торговцы — все торопятся в одном направлении: к лавкам, на Шукин двор. Навстречу челноками против течения движутся кончившие куплю-продажу — растопырив локти, оберегают карманы и животы. Проплывает бобровый картуз чиновника, вертится бесформенная крестьянская шапка, снуют высокие шляпы разносчиков. Иван Иванович загляделся на одного из них: ловко придерживая лоток у живота, статный парень пронзительным голосом расхваливал свой незамысловатый шепетильный товар:

— А вот, а вот — гребни для господ! Товар без износу — гривна без запосу! Зеркала для дам — за двугривенный отдам!

Шувалова сильно толкнули. Он резко обернулся. Офицер, толкнувший его, равнодушно смотрел куда-то поверх его головы.

— Сударь!

Офицер удивленно оглядел его плащ, картуз и, наконец, лицо, гневностью своей явно не соответствующее одежде. Многозначительно повертел в пальцах трость, не спеша повернулся к Шувалову широкой спиной. Шувалов машинально оглядел себя — понял. Ему стало весело. Значит, он и в самом деле хорошо переодет — любой офицер может безнаказанно оскорбить мелкую сошку: чиновника, учителя... Однако почему может? Грубость, грубость без меры. И поощрение свыше. Разумеется, не всех поощряют — избранных.

Шувалов вздохнул, двинулся дальше. У дверей лавок, распахнутых настежь, — водовороты. Прохожих упрашивают, уговаривают, силой за-таскивают в лавки. Какой-то приезжий (полы кафтана прямые, пуговицы слишком высоко, воротник большой — отстал, отстал от моды!) не удержался, дал себя увлечь, зашел в бельевую лавку, теперь уговарят: купит, непременно купит... Из дверей ювелирной лавки вынырнул шеголь в длинном, до икр, «польском» кафтане со шнурами, подбросил на ладони костяную коробочку с дырками — блохоловку. Что ж, для дамы сердца презент изящный и нужный...

Сукно, шелк, полотно, обувь — заходите, сделайте милость! Шум, ругань, божба, треск разрываемых тканей, грохот телег, шарканье ног... Шувалов свернул в проулок между лавками, прошел во внутренние ряды. Здесь было потише, поспокойнее. Торговали солидным товаром: огромные кровати, кресла, тяжелые, как монументы, стайки кокетливо изогнутых стульев, сдобные перины, прожорливые сундуки, звонкоголосые серви-

---

<sup>1</sup> О, эти причуды большого барина! (нем.)

зы — все это были вещи на десятки лет, и купцы здесь торговались не спеша, с достоинством. И уже совсем чинно было у лавки книготорговца. Два подростка, женщина из простых и какой-то ямщицкого вида парень стояли перед окном, разглядывая лубки. Не умея прочесть подписи, они вполголоса обменивались догадками. Впрочем, о содержании рисунков догадаться было нетрудно. Вот чудище, наполовину человек, наполовину лошадь, стоит, поднявши палицу, а на него конем наезжает витязь, копые держит, и у обоих лица к зрителю повернуты. Витязь изображен на фоне теремов, а позади чудища — лес дремучий: это Бова с Полканом. Вот сказка о Емеле-дураке, Красном колпаке,— всего девять рисунков: Емеля по воду идет, Емеля со щукой разговаривает, а посредине самый большой рисунок — Емеля едет на печке, печка дымит, горшки подпрыгивают... Вот дама в модной робе перед кавалером приседает, а у кавалера в руке цветок. Иван Иванович бегло оглядел окно, улыбнулся: портретов императрицы не было. Месяца два назад, так же вот *ipso facto* расхаживая по Петербургу, Шувалов увидел в книжной лавке портрет Екатерины. Собственно говоря, гравер ничего не выдумал сам, он только что довел до крайности идею придворных живописцев: Екатерина Вторая — ангел на троне. И вот с небольших, в пол-аршина, гравюр смотрела неестественно пухлая, сусальная самодержица всея Руси. В то же время, сам того не желая, художник уловил суть: в улыбке было что-то лицемерное и самодовольное. Получилась карикатура, неприличная и дерзкая. Иван Иванович купил две штуки, одну предусмотрительно себе оставил, другую преподнес императрице. Екатерина ужаснулась, и тотчас же было указано «оныя изображения от купцов изъять и впредь до высочайшего цензурования в торговлю не допускать».

Шувалов прошел в лавку. В тесной комнатке пахло свежeweделанной кожей; сквозняк шевелил эстампы. Книги стояли на полках, аккуратными стопками лежали на прилавке, кучами громоздились по углам. О чем-то говорил с хозяином покупатель-мужик, легонько поскрипывала притворенная дверь, со двора доносился приглушенный гул рынка. Шувалов грузно присел на корточки около груды книжной завали — иногда удается найти что-нибудь интересное. Выудил маленькую растрепанную книжонку, брезгливо сморщился, сдунул пыль и вдруг замер в неловкой и смешной позе.

— Стало быть, переводов не надо? А на латинском сейчас нет его, Тацита. А вот Ливия не угодно ли? Заодно с Юлием Цезарем, а?

Хозяин явно избегал обращения «ты» или «вы». Шувалов, кряхтя, выпрямился.

— Ливия и Цезаря я возьму. И Плутарха тоже. А вот Тацит, как будет, уж попрошу вас — берегите для меня: я еще две недели проживу здесь, всякий день к вам заходить буду.

Мужик?! Или, подобно ему, Шувалову, дворянин переодетый? Да, но с чего бы другим дворянам машкератом развлекаться? Нет, мужик!

Руки, бережно увязывающие книги,— темные, натруженные, ногти обрезаны коротко, одежонка старая, латаная — мужик мужиком! Шувалов даже затряс головой от волнения: ежели мужик, то откуда сие? Да ведь Ломоносов другой, как знать?!

Странный покупатель между тем расплатился с хозяином, захватил книги под мышку, поклонившись хозяину (по-мужицки кланяется!), прошел мимо оторопевшего Шувалова и скрылся за дверью. Иван Иванович только и сумел наконец вымолвить:

— Кто?

Хозяин недоуменно развел руками и хотел было что-то сказать, но Шувалов швырнул книгу, которую до сих пор держал в руках, и, спотыкаясь от торопливости, выскочил вон из лавки.

## 2

После сумрака темной лавчонки дневной свет ослепил Шувалова. Несколько мгновений он стоял у порога, растерянно моргая и стараясь сообразить, где же этот ученый мужик. Ага, вот он! Худощавый, среднего роста человек в стоптанных сапогах, с пачкой книг под мышкой, сворачивал за угол. Шувалов поспешил ему вслед. Мужик шагал скоро, и когда Иван Иванович, лавируя меж локтями, спинами и животами, добрался до Чернышева переулка, то мужик ушел вперед сажен на двадцать. Иван Иванович ускорил шаг. Запыхавшись и вспотев, догнал, пошел рядом, заглядывая в лицо. Мужик посмотрел удивленно, слегка посторонился, и тогда Шувалов, с трудом переводя дыхание, сказал первое, что в голову пришло:

— А что, любезный, не продашь ли книг?

Сказал и остановился, взявшись рукой за сердце. Мужик тоже остановился:

— Нет, барин, не продам! Самому нужно.

— Что ж это за книги — на французском, что ли?

— Это, сударь, на древних языках писано.

Мужик с недоумением приглядывался к Шувалову. Шувалов коснулся белой, выхоленной рукой переплета:

— О чем же здесь сказано?

Мужик ответил кротко, тихим голосом, хотя на щеках задвигались желваки (его начинал тревожить этот не в меру любопытствующий барин — кто он таков, а вдруг фискал?):

— Это, сударь, жизнеописания людей, в древности знаменитых, это — история государства латинского.

— Стало быть, ты читал эти книги? — с живостью подхватил Шувалов.

— Читал, сударь.

— Зачем же купил, ежели читал раньше?

— Затем, сударь, что те, что читал раньше, чужие были, а теперь свои приобрел и...



Крестьянин оборвал фразу и вопросительно поглядел на Шувалова, как бы говоря: «Ну, чего тебе еще надо?»

Шувалов увлеченно разглядывал собеседника. Ему было на вид лет двадцать пять. Окаймленное небольшой бородкой загорелое лицо с узкими серыми глазами было, пожалуй, красиво, но не мужицкой ядреной красотой и не томной красотью аристократа — его резковатые черты напомнили Шувалову облик Ефремова, офицера, захваченного в плен и проданного в рабы к бухарцам. Он бежал из плена, и считай, что полсвета объехал, добираясь до родины. Иван Иванович видел его полгода назад. В лице нового знакомца Шувалову почудилось то же хмурое выражение решимости и упрямства, те же настороженность и вызов. Он был широкоплеч, но не кряжист и не производил впечатления человека сильного; при разговоре голову наклонял и смотрел слегка исподлобья. Цепкие худощавые пальцы цветом своим почти сливались с переплетами.

Загораживая дорогу прохожим, они стояли друг против друга: крестьянин в поношенной одежде, сердито переминавшийся с ноги на ногу, и вельможа, в кургузом плаще, с виду похожий на мелкого чиновника, улыбающийся всем своим круглым, разгоряченным лицом. Их толкали, наступали им на ноги, бранились.

— Где ж ты выучился?.. — начал было Иван Иванович.

Какой-то подросток нахально заглянул ему в лицо, остановился и стал глазеть. Лакей в ливрее, проходивший мимо, мельком взглянул на него, замедлил шаг и замер, как бы припоминая, где он видел это густобровое лицо с ямочкой на подбородке. Шувалов покосился на него.

— Послушай, друг, — торопливо сказал он, взяв книгочея за локоть, — послушай. Я вижу, ты охотник до книг; я могу тебе прислужиться. От отца моего — он был учитель — осталось изрядно книг на латинском. Я тебе продам, пожалуй, дешево. Ты мне нравишься. — И, видя, что крестьянин колеблется, добавил: — А иные и задаром отдам — на что они мне? Я тут недалеко живу.

Сказал и, не отпуская локтя нового знакомца, повел его, сомневающегося, растерянного, слегка испуганного.

Дорогою книголюб отвечал скупой, настороженно, Иван Иванович только и узнал от него, что он государственный мужик из Тверской губернии, в город приехал с хлебными барками, а зовут его Свешников Иван.

— А по батюшке? — осведомился Шувалов.

— Иван Евстратъев, — выговорил мужик не сразу, с запинкой, и Шувалов понял, что человек этот, может быть, первый раз в жизни не мужику, своему брату, а барину называет имя свое с отчеством вместе.

Вышли на угол Невского и Садовой.

— Вот и пришли мы, — сказал Шувалов, указывая на свой дом, и взглянул искоса на Свешникова — какое впечатление произведет на него

красивый особняк со сдвоенными колоннами, с внушительным подъездом...

— Вы в этом доме живете, сударь? При ком? — спросил Свешников, с любопытством оглядывая фасад.

— А при барине одном... Не робей, входи,— проговорил Шувалов, подталкивая Свешникова на ступеньки.

Молодой крестьянин не робел. «Один раз уж было так»,— подумал он. И насторожился — устало и привычно. Дверь распахнулась. Дородный швейцар, с трудом сгибаясь в поклоне, пропустил вошедших. Подскочили слуги — сняли плащ с барина. Облегченно вздохнув, Шувалов высвободился из плаща и повернулся к гостю, любуясь произведенным эффектом. А эффект, по видимости, был велик. Свешников переводил глаза с богатого шуваловского кафтана на суетящихся слуг, с застывшей в величии физиономии швейцара на огромные, в резное дерево оправленные зеркала.

— Ну, ну, друг мой, не смущайся. Все хорошо. Книги твои будут. Пойдем поговорим да закусим — я изрядно проголодался.

И Иван Иванович повел его по лестнице. Комната, еще комната, и еще... Картины, гобелены, бюсты. В большой зале молча поднялись навстречу им два старика: маленький, шуплый, в большом парике, и высокий, костистый. Они играли в карты за угловым столиком. Шувалов кивнул им, и они оба сели, взяли карты и снова так же молча продолжали играть. В угловой комнате Шувалов остановился:

— Здесь друзей моих принимаю. Садись, Иван Евстратьевич.

Но Свешников не сел. Он жадно смотрел на полки с книгами. Подошел к ним и стал рассматривать. Он уже овладел собой совершенно. Он знал, что совершает невежливость, но чувствовал, что такая невежливость придется по вкусу хозяину, и нарочито затягивал паузу.

— Да садись, друг мой, успеешь, не уйдет от тебя. Садись!

Свешников повернулся к Шувалову:

— Осмелюсь спросить, сударь: кто вы? И чье все это?

Он движением головы указал на только что пройденные комнаты и снова покосился на книжные полки. Шувалов откинулся на спинку кресла:

— Я — Шувалов. А для друзей — Иван Иванович. Дом этот мой. И книги тоже. Расскажи мне о себе, я тебе удружу, чем смогу.

Шувалов! Свешников сел, вглядываясь в веселое лицо хозяина и сам неволью улыбаясь. Может быть, на этот раз ему по-настоящему повезло? Шувалов! Московского университета куратор, Ломоносова покровитель... Свешников глядел на него во все глаза.

А действительный тайный советник, обер-камергер, генерал-адъютант императрицы, председатель капитула ордена Святого Владимира, кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, куратор Московского университета, президент Академии художеств — Иван Иванович Шувалов — сидел перед молодым крестьянином и, поднимая густые брови, говорил:

— Так Расскажи, друг мой, как же ты выучился по-латыни и по-гречески?

— И по-французски и по-немецки,— дополнил Свешников.

— О-о! — восхитился Шувалов.— Ну-ну, рассказывай же! — И даже руги потер от нетерпения.

Слуге, внесшему на подносе закуску, он махнул платком уйти. Протянул рюмку Свешникову, чокнулся с ним, выпил. Торопливо бросил в рот кусочек бисквита, облокотился о стол, подпер ладонями пухлые щеки и, жадно подавшись вперед, приготовился слушать.

## Из главы

### НОЧЬ НАД ДЕРЕВНЕЙ

#### 1

Отец Николай был не столько стар, сколько дряхл. Ему было всего лет шестьдесят, но бодрость ушла. Церковная служба давалась ему с трудом, казалось, что облачение тяжело давит на плечи, а спертый воздух церкви вызывал у него сердцебиение и головную боль. Отец Николай служил торопливо, неблагодарно. «Частит батюшка»,— неодобрительно говорили о нем зажиточные мужики и, перебирая все недостатки отца Николая, сходились на том, что поп нехорош. А недостатков было много: службу правит плохо, беден, курит табак (подглядели однажды), старообрядцам мирволит и в услужение к себе взял Ваньку Свешникова. Правда, когда помер старик Свешников, вдова бедствовала, а Ванька — лишний рот, но все же не пристало пастырю духовному держать в доме старообрядца. Добро бы в истинное православие парня обратил,— так нет, смеется: «Вырастет — сам, дескать, сообразит что к чему». А отец Николай был в восторге от своего служителя. На старости лет — утешение, радость. Вскоре после того, как взял он к себе в дом Ваню, затеял от скуки деревенской обучить парня грамоте и был весьма удивлен, узнав, что мальчик читает и пишет очень хорошо. Оказывается, старый Евстратий выучил сына и приохотил к чтению старопечатных книг. Отец Николай учинил мальчику «экзаменацию» и остался доволен. С тех пор ежедневно, справившись с нехитрым хозяйством сельского батюшки, мальчик из служителя превращался в ученика. За полтора года Ваня выучился латыни и уже начал изрядно читать по-гречески. После каждого урока бывали долгие разговоры. Собственно, говорил только старик, мальчик слушал да изредка спрашивал. А отцу Николаю было что порассказать.

За окнами была зима. Сугробы шевелились под ветром — расплывчатые, туманные снежные змейки сползали с гребней сугробов, мягкими морщинками ложились на скаты. Казалось, что на улице светло: белизна

снега обманывала зрение. Темно на улице, темно в деревне. Ночь. До утра далеко, до настоящего света. Снежной гладкостью прикрыты корявые крыши домов; не видно ночью под снегом зияющих провалов на месте по-выдерганной соломы. Обманная красота...

— Ночь, сынок, ночь над Россией была. Мудрости Петровой не было, кроме нас, воспреемников. Я-то мал еще был, отрок, а вождь наш, Феофан,— истинный светильник божий на земле. Они — враги его — невежество свое да корысть под рясами прячут, а он их обличает безбоязненно. «Вы,— говорит,— Жериволы и Курояды, об утробе своей печетесь, а надобно о благе да пользе России думать. Все,— говорит,— и флот морской, и коллеги Петровы — божья благодать россиянам». И боялись его. И нас боялись. Легко ли — мужи каковы в дружине нашей ученой: Татищев Василий Никитич, Кантемир Антиох Дмитриевич!

Отец Николай выпрямлял согнутую спину, притоптывал грубым деревенским сапогом:

Нет правды в людях,— кричит безмозглый церковник,—  
Еще не епископ я, а знаю Часовник,  
Псалтырь и Послания бегло честь умею,  
В Златоусте не запнусь, хоть не разумею!

— Да, сынок, не разумели они ничегошеньки и от неразумения своего и от неразумия за «Камень веры» прятались. Это книга такая, Стефан Яворский, мракобес злобный, сочинил против Феофана нашего. А что он, «Камень»? Камень и есть, и проку от него — чуть. Помни, сынок, в проповеди единой Феофана да и в сатире Кантемировой смыслу и божьего духу более, нежели во всем словоблудии Стефана Яворского да Георгия Дашкова, тьфу на них, прости господи!

Отец Николай торопливо затягивался табачным дымом и продолжал рассказывать мальчику о делах «ученой дружины», о вожде ее — Феофане Прокоповиче, об историке Татищеве, о стихотворце Кантемире. Разгоняя дым широким рукавом рясы, он стучал сухоньким кулачком по краю стола:

— Лгали на нас, окаянные: Феофан-де с братией предается блуду... кх-м... пьянству, значит, предается,— и государю донесли. А государь, Великий Петр, царствие ему небесное, сам пожаловал к нам с архиереем — как, бишь, его звали,— запаматовал,— с доносчиком с этим. А Феофан, царя завидя, кубок с вином простер и глаголет: «Здравствуй, всемиловитвейший государь! Ты, яко жених во полунощи, блаженство несущий!» — Старик закатывался от смеха и еле выговаривал: — Петр-то кубок взял и выпил: «Остаюсь,— говорит,— здесь, с компанией. А ты,— это он доносчику-то,— езжай домой да молись о нашем здравии!» Вот он каков, Петр, был. И в великом велик, и в малом велик, и закон и веселие понимал.

За окнами подвывал ветер, слегка вздрагивало пламя сальной свечи от неощутимого телом сквозняка, и худенький мальчик жадно слушал рассказы возбужденного воспоминаниями старика...

#### 4

Григорий Хвылянский третий месяц жил в доме помещика Шестоперова. Конечно, Шестоперов предпочел бы нанять в учителя немца либо француза, но на безрыбье и рак рыба, а Хвылянский к тому же и дешевле. Что же до его прошлого, и чего он ради, не доучившись, из университета вышел — до того ему, Шестоперову, и дела нет. Учитель и учитель. Хвылянский учил барчука французскому языку, географий и математике. Митенька (так звали сына Шестоперова) оказался мальчикоммышленым и к учению охочим, много возиться с ним не приходилось. С утра отзанимавшись, Григорий Афанасьевич шел гулять. Забравшись в лес, он выбирал местечко поудобнее, ложился на спину и подолгу глядел на убегающие в небо рыжие прямые стволы сосен. Вспоминалась Москва, шумная толчея университетских коридоров, веселые и суматошные пирушки, где чаще пели песни и читали стихи, чем пили водку, где спорили, спорили...

Последняя такая встреча — «ассамблея», как шутя называли студенты свои веселые собрания, — особенно запомнилась Григорию Афанасьевичу: тесная комнатуха, клубы табачного дыма, пьяные выкрики кабацких завсегдатаев за хлипкой перегородкой, разгоряченные лица товарищей, и сам он, Григорий Хвылянский, говорит взволнованно и громко:

— Припомните мое слово, хлопцы! Будет время — и никто не попрекнет инородством ни меня, хохла, ни башкирина, ни кого иного. Скоро будет! И сейчас уже собралось для бою от всяких племен.

— Ты о чем?

— Да все о том же: жгут дворян, и сие жестоко, но справедливо. А кто поднялся? Разные племена. А впереди — русские. Тут что наиглавнейшее? Мужики они, и им все едино, кто ты есть по крови: башкирин или киргиз!

— Прочти вирши свои, Грицько!

Смутно вспоминается Хвылянскому чужое лицо у темной занавески. Был март месяц 1774 года.

На другое утро он стоял в кабинете директора университета. Поминутно оглядываясь на удобно усевшегося в кресле чиновника и обтирая пот шелковым платком, Херасков кричал на Григория:

— Да знаешь ли ты, что такое вино? Вино есть яд! В малом количестве — веселие и врачевание, в великом же — безумие и погибель! Что? — Он выкатил на Хвылянского свои и без того выпуклые глаза. — Ты более не студент! Я изгоняю тебя из университета! — Херасков покосился на чиновника. — Да, изгоняю!

— Сверх того,— ласково заговорил чиновник,— сверх того, сему вити надлежит предстать перед законом, на незаблемость коего он осмелился посягнутьь...

— Да, да,— заторопился Херасков,— истинно так — надлежит. Надлежит ущерб... э-э... возместить... Выйди, Хвылянский, подожди в приемной.

Минут через десять чиновник вышел в приемную и, остановясь перед Григорием, произнес нравоучительно:

— Возблагодарите Господа, юноша, и мягкосердечие начальника вашего. И мое. К милости вашей сострадаая...

Войдя в кабинет, Хвылянский тихо, но твердо сказал:

— Я не был пьян, Михаил Матвеевич.

— А я говорю тебе: ты был пьян и не помнишь ничего. Ступай. Да уезжай поскорее.

Оставшись один, Херасков с сожалением оглядел пухлый свой мизинец, на котором всего лишь четверть часа назад красовался дорогой перстень.

Несколько часов спустя один из студентов вручил Хвылянскому письмо Хераскова к знакомому помещику и десять рублей на дорогу. Только впоследствии, во время скитаний от помещика к помещику, от барчука к барчуку, Хвылянский уразумел, чем он обязан Хераскову. За эти три года много раз накалялись щипцы — рвать ноздри, багровой сеткой ложились следы батога на обнаженные спины, и, деловито подтянув халавы, пинком вышибал палач чурбак из-под ног осужденного...

Рядом затрещали сухие ветки. Григорий Афанасьевич повернул голову и увидел парня лет восемнадцати, среднего роста, стройного; светлый пушок на щеках и подбородке скрадывал сухощавость его лица, узкие серые глаза рассеянно глядели из-под стриженных в скобку русых волос. Паренек немного постоял, сел на хвою, привалился поудобней к широкому стволу и, оглянувшись, достал из-за пазухи книжку.

— Бог помочь!

Парень вскочил на ноги. Его задумчивое, даже несколько девичье лицо сразу изменилось: около рта легли резкие складки, брови упрямо сошлись, зло заблестели глаза.

— Читаешь? Грамотен? Что ж это у тебя?

— Не троньте!

Хвылянский опустил протянутую руку.

— Ишь ты, кочет! Я ж тебя по-хорошему спрашиваю. Я и сам до книг охотник. Вот, смотри.

Григорий Афанасьевич достал из кармана потрепанную книгу, откинул переплет:

— Прочти-ка.

Парень взял книгу, вслух прочел титул:

— «Смеющийся Демокрит; или Поле честных увеселений с поруганием.

меланхолии». Переведено с латинского языка чрез Василья Ададурова...»  
Переведено... Кабы по-латыне...

— Что? Ты уж не по-латыне ли читать собираешься?

Парень молча протянул Хвылянскому свою книгу.

— Ну-ну! — только и выговорил Хвылянский. Потом уселся под деревом и требовательно сказал: — Ну-ка, хлопче, рассказывай.

Парень молчал.

— Ты что, боишься меня? Я учитель у Шестоперова — слышал про такого? Тебя как звать?

— Свешников Иван.

## 5

— Григорий Афанасьевич, вы давеча говорили — из университета выгнали. За что?

Прошло уже месяца полтора, как Хвылянский и Ваня Свешников дружились. Беседы их, поначалу беспорядочные, вскоре превратились в уроки: Хвылянский обучал Ваню географии и французскому языку, истории — Ваня знал только древнюю. В это лето Ваня был мирским пастухом, и Митенька, сын Шестоперова, сдружившись с Ваниным помощником Фролкой, охотно оставлял своего наставника, слушал длинные Фролкины рассуждения о нравах деревенских коров и с упоением постигал искусство щелкать бичом. Ваня тем временем учился, а в минуты отдыха Григорий Афанасьевич рассказывал ему о Москве, о Петербурге, о детстве своем, об Украине...

— За что из университета выгнали? — раздумчиво повторил учитель. — Я тебе могу рассказать, дружок, только... — Хвылянский взял Ваню за щеки и пристально заглянул в глаза... — только, если кто проведает, мне будет худо. Сибирь либо еще что — разумеешь?

— Григорий Афанасьевич! Да разве я...

— Ладно, ладно. Ну, слушай. Вирши я написал — четыре года назад, в самую пугачевщину:

Как некогда легли раздраны  
В тени Батыева шатра  
Не токмо грады, но и страны,  
И глав отсеченных гора  
Привычный вид собой являла —  
Тому пример мы новый зрим:  
Собрав языки под начало,  
Санкт-Петербург — четвертый Рим —  
Точит потоки крови ныне;  
Занесшись в пагубной гордыне,  
Презрел Добро и честный Труд,  
Гнетет иноплемненных выи  
Крестом, кнутом — и грозовые  
На сей сберутся тучи блуд!

Ну и дальше там было — весьма сердито, — невесело рассмеялся Хвылянский. — За это вот и был изгнан. И то спасибо нашему Хераскову, от петли спас. Эх, что и говорить!

Он махнул рукой и отвернулся. Ваня помолчал немного, сказал осторожно:

— Я и не знал, что такие вирши бывают.

Хвылянский вопросительно посмотрел на него.

— Складные, — пояснил Ваня. — Я не про суть говорю, суть-то как в наших песнях, я про склад. Отец-то Николай такие не читал.

— А ты, я гляжу, нашу-то словесность и не знаешь. Стыдно, дружок!

— Ничего не стыдно! — вспыхнул Ваня. — Что читать-то? Борзописцы-сочинители! Воротит меня от писаний ихних. «Философия для простого мужика весьма бесполезна; и ему надобно делать больше, нежели рассуждать». Жалеют нас, а потом пишут, что мы, дескать, «к сохе родились» и нечего нам, «выпучивши глаза вверх», звезды стеречь. Читал я, запомнил даже — хватит с меня!

— Постой, постой, — оживился Хвылянский, — это ты Эмина отведал? Вот уж подлинно борзописец! Двоемыслие, да еще и торопливое. Для него же сочинительство — промысел. Э-э, братец, да ты истинного поэта почитай — Ломоносова. Тоже был мужик вроде тебя. Да Тредиаковского — дельный был работник в русской словесности. А Новиков неподкупный! А Сумароков, а Херасков — знать их надо! Стыдно не знать их грамотному. Вот уж на что Шувалов офранцузился, а и тот — спасибо ему! — русских сочинителей да художников пестует и сам у них учится — умнейший человек! Так тебе ли, мужику, отечественную словесность не знать? Кто ж тогда слово русское хранить будет? Петиметры-дворянчики? Они давно для машкерадов только и годятся. Петровы времена прошли — не опора они государству, им самим опора нужна. Погляди-ка, шпаги-то все на палки да на трости посменяли. Ходят, подпираются, одним — костыль, другим — забава. Нет, государство живо только народом, престолюдием! А сочинительство — сила, не удавишь ее, не четвертнешь.

— Я их непременно прочту, про которых вы говорите, — сказал Ваня задумчиво. — Российских сочинителей... Только вот...

— Что «только»? — устало спросил Хвылянский.

Юноша промолчал. Он слушал книжную, замысловатую речь своего наставника — и сомневался. Что толку? Ну, что толку, коли он в теперешнем своем состоянии одолеет всю эту премудрость российских сочинителей да и прочих? Пылкость бывшего студента его не заражала. Конечно, ему повезло, да еще как! Шутка ли, встретиться с таким человеком, как Григорий Афанасьевич. Но красноречие его — как далеко оно от всего деревенского! Через неделю подходит срок повинности. А ведь им, Свешниковым, да еще двум-трем семьям старой веры — платить вдвое против остальных. Словесность... В прошлом месяце мужика в соседней деревне зарубили, —



просто так, по пьянству. Шел с топором,— плотничал, должно быть,— догнали пьяные, отняли топор и — зарубили. Просто так... Нет, надо уходить из мужиков, выбиваться...

— Я прочту их, Григорий Афанасьевич,— сказал он Хвылянскому.  
<...>

## Из главы

### СМОТРИНЫ В ГОСТИНОЙ

<...>

#### 3

В зале пахло медом. Необъяснимый этот запах мешал Свешникову, он почувствовал его, как только остановился в дверях, распахнутых чинным слугою. Прямо от порога он поклонился, еще не различая лиц, и, когда выпрямился, увидел группу людей, сидевших и стоявших подле Шувалова. Все они с любопытством уставились на него; он, повинувся кивку Шувалова, медленно подошел и остановился; гости негромко, но и не понижая голоса, обменялись мнениями: «А он недурен, пожалуй», «Косолап», «Робеет»...

— Вот, друг мой, эти господа желают с тобой побеседовать,— сказал Шувалов.

Свешников молчал.

— Поклонись,— громко прошептал молодой человек с очень белым лицом и быстрыми глазами.

Свешников поклонился.

Заговорила, вздергивая коротенькие черные брови, смуглая дама:

— Я слыхала, дружок, что ты сумеешь латынь и французский?

— Разумею, сударыня.

— Ваше сиятельство,— подсказал белолицый.

— Ваше сиятельство,— послушно повторил Свешников (откуда же, однако, пахнет медом?).

— Так почитай нам, дружок, а мы послушаем, каковы познания твои,— благосклонно произнесла дама:— Иван Иванович, пусть он Руссо прочтет.— И по-французски добавила:— Это будет гармонично — крестьянин, читающий Руссо.

— Лев Федорович, вели принести сюда «De l'inegalite parmi les hommes»<sup>1</sup>,— сказал Шувалов белолицему. Да нет, что ж это я — они не найдут. Потрудись-ка, голубчик, ты ведь знаешь где.

<sup>1</sup> «О причинах неравенства людей» (фр.).

— Слушаю-с.— Молодой человек, поклонившись, вышел.

— Признаться, я с трудом верю, что он что-нибудь сможет,— продолжала дама, кивнув подбородком на Свешникова.— Наш Иван Иванович, как всем ведомо, патронирует мужикам.

— Но, Екатерина Романовна...— начал было Шувалов.

— Ах, Иван Иванович, я наперед знаю, что вы скажете: добродетели и таланты, Минин и Ломоносов.— Дашкова на мгновение поджала губы.— Я вот, как изволите знать, только что Круглово посетила, государынин подарок; так вот — они там и с людьми-то едва сходны: ленивы, пьянство открытое... свинство.

У Свешникова затекли ноги, новый кафтан жал под мышками и воротник тер шею. Странно: давеча, когда примерял и носил, все впору было. Он стоял подле кресел в неловкой позе, глядя на лоснящийся паркет. Ага, вот откуда запах: пол натерт воском. Он, Свешников, тоже здесь вдова воска, для блеску. Доброе чувство к Шувалову куда-то исчезло. Он поднял голову. Шувалов, улыбаясь полными губами, добродушно слушал излияния смуглой дамы — «ее сиятельства».

— Ах, вот и Руссо! Ну, любезный...— Дашкова наугад раскрыла книгу и пометила ногтем: — От сих...

— «Не по униженности народа, властями угнетенного, должно судить о том, к чему люди склоняются: за рабство или противу его; но по чудесным делам, какие делали свободные все народы, чтобы себя от притеснений защитить».

— Изрядно... Перекинь-ка, дружок, страницу, читай здесь...

— «...но подданные не могут таких родительских милостей от своего деспота ожидать, ибо и они ему принадлежат, и имущество их — так он сам твердит...» — Свешников переводил сразу, пробегая глазами французский текст про себя. Он читал медленно, но не останавливался и не поправлялся.— «Он творит суд, когда грабит их; он милосерден, ежели оставляет их живыми...»

— Остановись. Читай по-французски,— скомандовала Дашкова.

Свешников начал читать, и толстяк Перепечин, напряженно слушающий перевод, вздохнул чуть ли не с облегчением: в этом мужичком переводе возвышенный гнев и тяжеловесная ирония сумасбродного женева звучали как-то... как-то чересчур по-русски, вроде бы здесь, в России, родились. Между тем одно — дружески беседуя в своем кругу, толковать об остро словии далекого философа, и совсем иное — ежели в его, Перепечина, смоленском имени такой разговор пойдет. Несносный матерьялизм черни всем известен. Она философский камень в булыжник обратит, профессорскую указку — в дубину... Кстати, и выговор у этого молодца нечист.

— Ну, изрядно,— промолвил кто-то из гостей.

А Дашкова с живостью подхватила:

— Изрядно, изрядно. А что же ты, любезный, скажешь об этом? Как тебе слова Руссо вы показались? Правду он говорит?

Все поощрительно и с любопытством смотрели на Свешникова. «Они на меня, как ротозей на цыганского медведя, глядят, как он артикул палкой делает»,— вдруг отчетливо и гневно подумал он и сказал:

— Правду.— Он вдруг, себе на удивление, совершенно успокоился.— Правду, да не всю.

Он поднял глаза и неторопливо оглядел собравшихся. Пудренные лица, холеные руки, баре — что они о неравенстве знают?

— Я так полагаю, что Руссо мудр, когда неравное состояние людей ругает всячески. Прав он, и когда свободу почитает за самое драгоценное достояние человека. Но не прав, когда в просвещении, в науках и искусствах видит зло и от них производит усиление рабства.— Теперь он стоял в свободной и непринужденной позе, заложив руки за спину, разглядывая гостей.— К просвещению стремиться должно всякому. А что не часто простой народ грамотен и за штоф чаще, чем за книгу, берется,— Свешников в упор посмотрел на Дашкову,— то не его в том вина. Жизнь сельская, не в укор Руссо будь сказано, полна обид и тягот.

Наступило молчание. Слова Свешникова были дерзкими. Лицо Дашковой пошло красными пятнами. Мужик отнесся к ней! Еще несколько мгновений — и она не выдержала бы, сорвалась, но в это время раздался тенорок Каменецкого, домашнего лекаря:

— Где ты приобрел свои познания? — спросил он по-латински.

— Добрые люди и любознательность были моими наставниками,— подумав, по-латински же ответил Свешников.

Дашкова, переведя дух, откинулась на спинку кресел. Все прошло. Она вспомнила: она философка, переводчица Вольтера, мыслитель нелиприятный... А он и в самом деле недурен, этот «жен ом», «добрый молодец»: серые глаза глядят насмешливо, в плечах широк, стан прямой, ноги стройные... Таким бы и августейший дружок, Екатерина, не побрезговала. Может, обмолвиться ей невзначай? Улыбнувшись, Дашкова отогнала игривые мысли.

— Пусть он сядет,— сказала она милостиво.

Еще с полчаса гости беседовали со Свешниковым, вслух дивясь его учености. Шувалов благодушно посмеивался, а испытуемый, как бы не замечая оскорбительного изумления, вежливо отвечал, руки благонравно на коленях сложены, только сильные пальцы по временам добела стискивали друг друга. Когда его наконец отпустили и он очутился в своей комнате, то, легши на постель и закинув руки за голову, долго лежал недвижно, уставившись в потолок, следя глазами тонкие трещины побелки. Что, собственно, происходит? Кто он здесь? Ученый тверской мужик, диковина — перед гостями хвастать? Такого, как он, сейчас иной его давешний собеседник изволит учить по рожке барской ручкой! За незажженную трубку, за измятое жабо... да мало ли за что! Уехать... А книги? Да во всю жизнь ему тогда не увидать таких книг. Где и учиться, как не здесь... Тут он и разговаривать стал по-иному — так, как учили его Хвы-

лянский и книги. В деревне не с кем так говорить, и то уж над ним, как над дурачком, смеялись. Вот уж от ворон отстал и к павам не пристал! Да и павы-то эти хороши...

Свешников сел на постели. На столе бастионцами возвышались томики книг, взятых в шуваловской библиотеке, смутно белела бумага с выписками из римской истории. А для чего оно ему, ученье? Всякий раз, когда ему об этом думалось, он отгонял докучливые мысли, но сейчас нужно было как-то решать. Ненужною поклажею, непосеянным зерном лежит его ученость. Шувалов прав: крестьянствовать можно и без этого. Певец без слушающих, живописец без зрителей! Если уедет, — кому он песню свою поет, для кого труд свой исполнит? Его труд — вот он, здесь, в голове, наружу просится. Разве скажешь о нем Шувалову? А ведь сказать надобно. Значит, оставаться? Он исполнит свой труд, просвещенные умы поймут его, оценят; не может же быть, чтобы истина без последствий осталась?!

Зажмурил глаза, он отчетливо представил себе свою будущую книгу: небольшой тоненький томик в коричневой коже с цветными, нет, черными квадратиками на корешке и с четким титулом «О причинах разрушения Империи Римской». Да, так — коротко и строго. Пусть читающий сближает судьбу Римской державы с возможной судьбой другой империи. Пусть труд его будет угрозой, пророчеством: опомнитесь, оглянитесь в минувшее! Рабство, одно лишь рабство погубило Рим. Это я вам говорю, раб вчерашний и раб завтрашний, познавший пути народов в истории. Да ведь есть там, наверху, у трона, просвещенные умы? Кому, как не им, должно озаботиться грядущим...

На другой день Свешников сказал Шувалову, что хочет писать труд по древней истории, и попросил у него работы здесь, в доме. Шувалов был не в духе: один из вчерашних гостей сообщил ему секретно, что Григорий Орлов опять о нем говорил неделикатно, а государыня на это улыbnуться изволила. Он-то, Шувалов, знал, что бывает после таких улыбок... Он коротко буркнул в ответ Свешникову:

— Живи здесь, пиши, читай, а коли будешь надобен, скажу. — И, смягчая свою резкость, добавил: — Денег своим в деревню пошли, у Бернара возьмешь — я велел...

Бернар был старый француз-камердинер; отдавая деньги Свешникову, он долго втолковывал ему, чтобы не пропил. Бернар всех здешних считал пропойцами и, будучи навеселе, любил поговорить об этом.

Когда два дня спустя княгиня Дашкова вызвала к себе Свешникова и предложила ему место при академии («Ты будешь работать только для меня, дружок!»), то Свешников очень почтительно, но твердо отказался, сославшись, что не может с Иваном Ивановичем, «благодетелем», расстаться.

Лиза, Лизонька... Собственно, ее звали Лизеттой. Легкие, почти невесомые пряди ее светлых волос паутинкой ложились ему на щеку, на уголки губ. Он сдувал их. У нее было бы совсем детское лицо, если бы не улыбка: когда она улыбалась, лицо сразу становилось знающим, усталым. Лизетта. Отец ее был швейцарцем; заводные игрушки, которые он мастерил на родине, оказались довольно ходким товаром и в Петербурге. Он красил их в яркие цвета: синий, желтый, белый. Это были цвета швейцарского пейзажа, и это были цвета ее детства; а простенькая музыкальная фраза, которую вызванивала игрушечная карета, если ее провезти по столу, — о, эта фраза была как молитва! Как-то в одну из ночей она шепотом пропела ее Свешникову. «Нравится?» — «Мне нравишься ты». — «А песенка?» — «И песенка тоже». — «Надо наоборот: и я тоже». — «Почему?» — «Песенка лучше». — «Молчи». — «Молчу». О своем детстве, впрочем, она говорила мало и совсем неохотно рассказывала о юности. С пятнадцати лет она, по ее словам, кочует из одного барского дома в другой и шьет белье. Рукодельница-мать обучила ее, и теперь ей неплохо платят за труды. Вот и все. «Но что нам до того?»

Как это случилось? Он сидел у окна маленькой комнатки, отведенной ему в шуваловском доме, и делал картину из соломы — вид с перспективы и мельницей на переднем плане. Недавно с Шуваловым был разговор о ломоносовской мозаике; Иван сказал, что умеет делать виды из соломы, и хозяин загорелся, обрадовался, велел приступать. В этот день Лиза вошла, не дождавшись ответа на стук, когда он, чертя соломиной по оконному стеклу, что-то бормотал неразборчиво. Она подождала. Он не оборачивался. Тогда она снова постучала ногтем по двери — с этой стороны. Он обернулся. На нее растерянно смотрели узкие серые глаза, а смуглая кожа щек потемнела от нахлынувшего румянца: она слышала, как он бормотал!

— Вот рубашки, — проговорила она, улыбаясь, и вдруг, миновав его, легкими шажками подошла, даже подбежала к начатой картине, где уже крестом темнели крылья мельницы. — Что это?

— Это не окончено, — ответил он.

Она засмеялась, кинула рубашки ему на плечо. Потом, постукивая каблучками, прошла по комнате. Он завороченно следил за нею.

— Меня зовут Лизетта, — четко, как будто читая написанное, сказала она. — Заканчивайте свою работу скорей: я смотреть приду.

Он смотрел на дверь, за которой она скрылась. Погладил щекой рубашки, все еще лежавшие на плече, бережно сложил их на стол. Потом хмыкнул коротко, сел к окну, взялся за работу. Поработав минут десять, обернулся и долго, с великим удивлением, как чудо какое, разглядывал дверь.

Она пришла к нему еще раз и еще, а когда он наконец-то закончил картину, Лизетта не стала ее смотреть...

Чудно! Думая о ней, Иван не мог подобрать привычных слов и сравнений. Богиня эллинская? Дриада? Но стремительный стук каблучков по узкой лестнице, свистящий шелест шелковой косынки и быстрое, теплое дыхание Лизетты на его лице — все это никак не лезло в рамки величавого бесстыдства древних. А уподобить кому-нибудь хотелось, надо было. Пышные, велеречивые сравнения авторов разноголосым, но стройным хором звучали, неслись к нему изо всех книг. Мудрость книг! Она обрушилась на него, как летний ливень, стремительной и неотвратимой благодатью. Иной мир, смутно угадывающийся раньше, ныне распахнулся перед ним во всем разнообразном великолепии. Ядовитая пронзительность Вольтера чередовалась с торжественной простотой Ломоносова, и античным сатирам вторили небрежно-щеголеватые басни Хемницера. Щекочущие «ахи» любовных песен томили до головокружения...

Он уже третий месяц исправлял должность шуваловского секретаря: Лев Федорович Людоговский, белолицый молодой человек, уехал куда-то на некоторое время да задержался. Шувалов диктовал Ивану бумаги, велел разбирать старые письма, которых за десятилетия скопилось множество. Однажды листок без начала и конца попался ему в руки — письмо, писанное по-французски, мелким почерком; небрежные перекладины «t», «g», как крючок рыболовный, ныряют вниз; отдельно стоящие буквы складываются в четкие слова: «Мы послали Вам свое благословение...»

— Чье это? — спросил он Шувалова.

Тот взял в руки и, пробежав глазами несколько строк, бережно запер в особую шкатулку, где хранил дорогие ему сувениры. Потом с расстановкой произнес, значительно подняв палец:

— Это Вольтер, мой друг, — ответил Шувалов и, подчиняясь какому-то своему ходу мыслей, заговорил о Ломоносове, уже в который раз. Он сказал, что Ломоносов есть пример для подражания.

— Не всякому дано такие разнообразные таланты в себе соединить, — возразил Свешников.

— А я и не говорю, что ему подражать следует в разнообразии. Но ежели одним каким талантом одарен, то употребить его должно по-ломоносовски. — И, подумав, прибавил: — А за всем тем и другие таланты объявятся. — Он встал, опершись на плечо Свешникова, придавил его к стулу. — Скажи-ка, друг мой, ты стихи не пробовал ли сочинять?

— Пробовал. — Свешников сконфуженно усмехнулся.

— Ну и что ж?

— Хвалиться нечем, Иван Иванович, Полигимния<sup>1</sup> не любит меня, а только терпит.

— А прочти-ка мне...

---

<sup>1</sup> Муза лирической поэзии.

Иван прочел. Шувалов очень внимательно поглядел на него и сказал: — Что же ты клепешь на себя? Можешь... Только предмет неудачный выбрал. Любовь нужно легко изображать, avec enjouement, как это порусски: игриво. А у тебя слог важный, штиль высокий. Вот что: возьми-ка ты из Библии что-либо переложи; этим и Михайло Васильевич не гнушался. Подай-ка мне Библию... Так. Ну-ка, наудачу! Вот... Нет, не годится... Еще раз. Ага, вот это, пожалуй, подойдет. Смотри: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила; Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным; Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним». Это из Книги пророка Даниила.

— Я знаю,— задумчиво проговорил Свешников.— Трудно...— и, опережая нетерпеливое движение Шувалова, dokonчил: — Но я попробую.

За сочинением этих самых стихов и застала его, бормочущего, Лизетта в первый день их знакомства.

И вот стихи готовы. Свешников переписал их набело, стал читать вполголоса. Хороши они или нет? Получилось совсем не то, о чем говорил Шувалов. Да и он, Свешников, не думал, что так получится.

Молить вместилище ярится...

Гм, «молить вместилище»... Ну что ж, правильно — церкви есть вместилища молить. Все-таки, «вместилище» — сомнительно: храм — «вместилище» молить, суд — «вместилище» законов; Свешников усмехнулся: «Кошелек — вместилище денег»...

Молить вместилище ярится  
Дерзаньям воздвигать предел.  
Ты есть поваплена гробница  
Для истинно Господних дел.

А чего он, собственно, усомнился? Ну, «вместилище», ну, дерзко — и что из того? А дальше разве лучше? Все равно стихи напечатаны быть не могут. Свешников засмеялся и с удовольствием прочел вслух, полным голосом:

Молить вместилище ярится  
Дерзаньям воздвигать предел.  
Ты есть поваплена гробница  
Для истинно Господних дел.  
Душе не надобно устава;  
Ты Богу тягость, но не слава,  
Мертва ты на путях твоих.  
Себя тщеславно украшаешь,  
Беседы с Богом обращаешь  
В звук репетиций часовых.  
Не токмо храмным песнопеньем —  
Дыханьем Бога славит всяк,

А наипаче сотворенья  
Безгласные: долинный знак,  
И озеро — небес зеркало,  
Хребтов туманны покрывала,  
И очага живой костер;  
На все стихии без изъятья —  
«И твердь, и хлябь, и огонь — братья»,—  
Он рек и длань свою простер.  
В потоке бурном Богу внемлем,  
Когда ревет, неутомим,  
И к благоденствующим землям  
Взор обратя, его мы зрим;  
Разумный статус государства  
И просвещенное державство —  
Натуре свойственный закон —  
Сие религии основа,  
Что восхваляет всеблагого  
Превыше храмов и икон!

Да, навряд Шувалов похвалит, хоть и крестится вольнодумно: мелким крестом у груди. Библейское-то прославление Бога сохранилось, но и прицание церкви прибавилось...

В дверь поцарапались. Лизетта! Свешников метнулся к двери, распахнул ее, Лизетта стояла у порога и скребла ноготком притолоку. Он подхватил ее на руки, закружил по комнате.

— Дверь,— сказала Лизетта, трепеща его за волосы.

Он посадил ее на стол (какая-то книга упала на пол, у стенки), закрыл дверь и нагнулся за книгой. Когда он выпрямился, Лизетта держала кончиками пальцев листок со стихами. Он обнял ее сзади и, положив подбородок на ее плечо, вместе с нею еще раз прочитал стихи.

— Что это, чье? — спросила Лизетта.

— Это мои стихи,— гордо объявил Свешников. Он сам немножко конфузился своей гордостью.— Хорошо?

Лизетта молчала.

— Хорошо ли? — уже тревожно спросил он.

— Не знаю,— медленно выговорила она.— Здесь против церкви... Платиться можно...

— Но ведь я не собираюсь их нигде помещать.

— Так зачем ты написал их? — возразила она рассудительно.

Свешников рассказал, как было дело. Лизетта, выслушав его, задумчиво покачала головой.

— Тебе стихи не нравятся,— уныло произнес он.

— Я их, милый, не очень понимаю: они слишком умны для меня. Только я боюсь: они могут тебе повредить.

Она подняла с колен листок со стихами и четко сказала:

— «Превыше храмов и икон»... Боюсь...

— Знаешь что? Возьми этот листок себе. Когда-нибудь,— он усмех-



нулся застенчиво и гордо,— когда-нибудь я подарю тебе книгу, настоящую, напечатанную.

— Не надо, что ты! Я не должна их брать!

Если бы Свешников посмотрел ей в лицо в этот момент, он непременно спросил бы ее, чего она так испугалась: она побледнела, губы сжались, но он глядел на свою рукопись, лежавшую на краю стола. В ответ на ее восклицание он засмеялся и сказал:

— У меня вчерне записано. Да я и так их помню — бери.— Он, сложив листок, сунул ей за край корсажа, задержал пальцы в тепле ее тела.

Она, наклонив голову, поцеловала его руку...

<...>

## Из главы

### ВЕТОШКИН

#### 1

— Э, дражайший мой господин Ромм, я не имею ни малейшей охоты знакомиться с мужичьем — с русским ли, с немецким ли,— де Латюр поправил манжету,— или с любезной вашему сердцу французской сволочью. Мне нужен Потемкин, а не его швивые друзья.

— Но ведь вы не станете отрицать, что это человек необыкновенно одаренный. Я беседовал с ним — это настоящий ученый.

— Кто это ученый? О ком вы говорите, господа?

К беседующим подходил Перепечин. Он раскланялся с обоими и неторопливо опустил в кресло.

— О ком мы говорим? Да об этом новом приятеле Потемкина. Как там его зовут: Светошкин, Ветошкин?

— Браво, князь! — Перепечин расплылся в улыбке и несколько раз соединил кончики пальцев, изображая аплодисменты.— Бесподобно! Ветошкин! Вы, сами того не думая, попали в точку: Ветошкин — от слова ветошь — тряпье, грязная рвань. Очень хорошо! Я непременно пушу это словцо!

— Вы несправедливы к Свешникову.— Ромм старательно выговорил фамилию.— Он заслуживает с нашей стороны всяческого уважения и поощрения... если только он в этом нуждается.

— В чем, в поощрении?

— И в том, и в другом.— Ромм встал, поправил галстук и, слегка поклонившись, отошел.

Оставшиеся переглянулись, и Перепечин ворчливо сказал:

— Ваш соотечественник, князь, не очень-то вежлив.

— Дело не в этом: он может быть вежлив, если захочет. Он, видите ли,

симпатизирует простолюдинам и, на мой взгляд, чересчур. Он плохо кончит.

Словцо делатюровское, однако же, пошло в ход. «Ветошкин»,— передегивали плечами завсегдатаи потемкинской гостиной, где Свешников за последние недели стал частым гостем. «Ветошкин»,— посмеивался Лев Федорович Людоговский. «О, Ветошкин,— недоумевающе тянули дамы,— да, да, он очень ученый».

Вот и сейчас, сидя за столом в диванной у Потемкина, Свешников спиной да и нутром чувствовал иронические, а то и враждебные взгляды. В глаза смеяться не смели: известно стало, что светлейший предложил ему место при себе, а он — экой дурак дерзкой! — отказался. А там, бог весть, и согласится, и нужным человеком станет, и на поклон к нему, чего доброго, пойдешь — вот ведь как!

Народу собралось предостаточно. А сегодня, как нарочно, многолюдство это было разноплеменным, по-русски говорили со всяким выговором. Доктор-француз сидел рядом с офицером из греков, польский шляхтич вежливо улыбался красавцу армянину, и, накручивая на длинный, костлявый палец негустую бороду, внимательно прислушивался к разноголосому шуму медлительный и важный раввин. Он еще днем приехал к Потемкину по какому-то делу и был оставлен для общей беседы. Сам хозяин полулежал поодаль на диване и поигрывал кистью халата, изредка покусывая ногти. Вдруг он заговорил:

— Смотрю я на вас, господа любезные, и думаю: не то совет от разных держав собрался, не то столпотворение вавилонское,— он обвел взглядом притихших гостей,— не то Ноев ковчег.

Большинство засмеялось грубоватой шутке хозяина. Что ж! Тут надобно стерпеть и уподобление скотам из Ноева ковчега. Ежели недовольство покажешь — а ну, как глупым обычаем своим рассвирепееет, да закричит, да в шею!

— Разноязычию есть средство помочь,— заговорил после паузы армянин,— если бы все народы согласились один язык узнать и употреблять только его.

— Ну, батюшка, это ты плохо придумал,— фыркнул Потемкин,— иной и в двадцать лет чужого языка не осилит; вот я, к примеру, ох и тяжел на чужую-то грамоту.

— А чью же речь достойный пан предложил бы к изучению? — спросил армянина шляхтич.— Я полагаю, латынь?

— Почему же латынь? Французский язык более других достоин быть общим языком просвещенных людей.— Француз задорно поглядел на окружающих.— Но он и более других к изучению труден. Не так ли, господа?

— Не так. Древний наш греческий язык труднее прочих; но он и лучше их,— отозвался грек.

Заговорил раввин, и все обернулись к нему, молчавшему до сих пор:

— Сокровище среди наречий — еврейский язык, язык древних книг, язык библии и пророков. Но он в его глубинах недоступен для скорого изучения, и годы пройдут, пока иноверец прочтет великие книги на языке Бога.

— Годы? Ну, это многовато!

Гости переглянулись: сдается, что эти двое молчаливых сейчас поспорят. Раввин неторопливо повернул голову к Свешникову.

Под уверенным взглядом раввина Свешников потупился и сказал негромко:

— А ежели бы кто взялся древний еврейский язык в короткое время изучить?

— В короткое время? А что такое короткое время? За короткое время жизнь человека протекает,— был назидательный ответ.

— Ох, коротенька жизнь,— подтвердил Потемкин.— Хронос-то не ждет, а дел неоконченных, а мыслей-то недодуманных — тьма! Да и баб нетроганных...

Все снова засмеялись, только еврей строго промолчал да Свешников вроде не услышал. Глянув на безулыбчивые их лица, Потемкин добавил:

— Тебя спрашивают, сударь, изволь отвечать: какое же ты время считаешь коротким?

Тихо и не враз Свешников ответил:

— Полгода. Невелик ведь срок? — Он вопросительно посмотрел на раввина.

— Полгода? — Раввин вздернул плечи.— Кто же за полгода изучит?

— Я.— Свешников в упор посмотрел на раввина.— Только мне бы алфавит кто показал, а далее я бы сам... Ведь язык евреев истреблен временем для теперешнего обхождения, а в книгах, я чаю, не более четырех тысяч слов сыщется...

— Вот это крепко! — Потемкин шумно захохотал.— Вот это пропозиция отменная! Ну, теперь, сударь, держись: при всех вызвался! — И деловым тоном к раввину: — Так ты ему алфавит-то покажи, да поскорей, а мы ему через полгода учиним экзаменацию, Гавриила преосвященного в судьи позовем: он у нас любитель всякой древности, ему и языки ведомы. Угодил, Свешников, хвалю, это вот по-моему: в полгода. Да вот сейчас и обучись алфавиту. Василий Степаныч,— повернулся он к Попову, своему секретарю,— проводи-ка их в кабинет, пусть займутся.

Когда Свешников и раввин вышли, один из гостей сказал:

— Изрядная, ваша светлость, экзаменация получится: преосвященный спор разрешит между жидом и раскольником!

Потемкин круто обернулся к нему и некоторое время, наклонив голову вперед и вбок, молча рассматривал его.

— Да ты, брат, забавник, я и не знал,— сказал он наконец так медленно, что неугодивший остроумец, обомлевши, что-то залопотал невнятно...

<...>

<...>

Они еще с полчаса сидели в саду, вежливо беседуя о стихотворстве. Потом поднялись. Набережная была пустынной, они шли, прислушиваясь к безмолвию. Но вот в тишине раздался невнятный говор, из-за поворота вышли двое и пошли наперерез им. Людоговский тревожно глянул на Свешникова и, храбрясь, сказал:

— Ничего... Их только двое...

И тотчас же, как бы в ответ, кто-то негромко кашлянул им в затылок. Они обернулись. Позади поспешал кряжистый пожилой человек в солдатской шинели. Он остановился и, переведя дух, сказал укоризненно:

— Что ж это вы бегете и бегете? Насилу догнал.

— Чего тебе надо? — Людоговский шагнул к нему и с перепугу, должно быть, зачастил: — Чего тебе надо, чего тебе...

— А вот сейчас... растолкуем. — Человек успокоительно кивнул подбородком на подошедших двоих.

Свешников повернулся к ним. Один был длинный, жилистый, с болтающимися руками, нескладный на вид, другой — кругленький, с плутоватым веселым лицом. «Дон Кишот и Санхо», — мелькнуло у Свешникова в голове. Санхо заговорщицки подмигнул ему, а Дон Кишот сказал равнодушно:

— Ну, раздевайтесь...

И так как жертвы стояли не двигаясь, он взял Людоговского за ворот и за рукав плаща; Санхо аккуратно расстегнул пуговицы. В ленивой слаженности их действий была видна сноровка к привычной и поэтому слегка надоевшей работе. Людоговский вскрикнул и ударил маленького толстяка в грудь. Тотчас же Дон Кишот перехватил его руку и завел ее за спину, затем поймал другую, левую, и то же самое проделал с ней, а толстяк, сокрушенно покачав головой и потеряв ушибленное место, секунду постоял, примерился и вдруг со страшной быстротой начал расстегивать у Людоговского пуговицы на камзоле, жилете, штанах. Между тем пожилой приглашающе похлопал Свешникова по локтю и, когда тот рванулся в сторону, ухватил его за кисть и сжал. Несколько секунд они стояли, держа друг друга за руки. Потом грабитель разжал пальцы и обхватил Свешникова обеими руками. Свешников ударил плечом — удар пришелся в подбородок, и в ту же секунду он почувствовал, что оторван от земли. Подержав несколько мгновений Свешникова в воздухе, грабитель крикнул и с силой ударил его подошвами оземь.

— Я, сударь, бывалоча, телегу за колесо удерживал, — назидательно проговорил он. — Раздевайтесь, не привередничайте.

Свешников подумал и, плюнув, стал раздеваться. За спиной, фыркая и захлебываясь от гнева, тонким голосом выкрикивал Людоговский.

— Ты хам... Ты знаешь ли... В Сибирь... Руку поднял...

И фоном к его выкрикам стелился увещающий бас Дон Кишота:

— Не шумите, господин, услышать могут...

Помогая Свешникову снять кафтан, пожилой благожелательно спрашивал:

— Вы из каких же будете, из чиновников?

— Нет, я секретарь у одного лица, — ответил Свешников, справляясь с неподатливой пуговицей.

— А-а, хорошее дело. — Грабитель откинул голову назад, внимательно оглядел Свешникова. — Сапожки не разувайте, пусть уж... И жалованье у вас хорошее?

— Ничего, хватает. — Свешников усмехнулся: грабитель его приятным разговором занимает, учтивость по ремеслу, как у цирюльников, купцов. Ах, сукины сыны! Как маленького, раздели. И не сделаешь ничего... Ишь ты, телегу за колесо... А чего ж он разбойничать пошел? А сам-то ты не сбежал ли от крестьянского житья?

— Мерзавцы, кнута не пробовали? — снова закричал Людоговский. — Караул!

Он осекся, лязгнув зубами, потому что сзади его больно мазнули по шее твердой и шершавой ладонью.

— Ну, скажи ты, какой беспокоящий, — осудил Людоговского пожилой силач, перекинул через руку добытое со Свешникова и сказал ему: — Стой так, не крутись.

Жаль было одежды, особенно нового кафтана. И рубашка, Лизонькина работа, тоже пропала.

Кончив раздевать Людоговского (после подзатыльника он замолчал, сообразив, что этак и побить, пожалуй, могут), грабители велели им стоять на месте и не шуметь, а потом идти к будочнику — «во-он там, за углом». Затем вразной раздался стук каблуков по мостовой. Свешников посмотрел им вслед. Длинный не бежал, а шел скорым шагом, за ним, как шарик, катился коротенький, ставший еще круглее от узла, который он держал под мышкой, и последним, оттопыривая локти, солидной и тяжелой рысдой бежал пожилой в солдатской шинели; ее замызганные полы гулко хлопали по голенищам тяжелых сапог.

Ограбленные поглядели друг на друга. Людоговский был разут. Свешников с неприличным интересом смотрел на яркие, не хуже той кареты, полосатые чулки Людоговского, суетливо перебиравшего ногами, будто от нужды. Лев Федорович, прижав руки к животу, шевелил пальцами, застегивая незримую пряжку плаща.

— Ах, мерзавцы, ах, хамы! — бормотал он и вдруг всхлипнул.

— Ну, Лев Федорович, успокойтесь, не надо, — заговорил торопливо Свешников, не глядя Людоговскому в глаза.

Людоговский тоже отворачивался и шептал что-то неразборчиво. Стыдно было в одном исподнем стоять друг перед другом — это после высоких-то разговоров!

— Ну, пожалуйста, успокойтесь,— повторил Свешников, взял Людоговского за руку и, овладев собой, добавил: — А совет они нам хороший дали. Идемте-ка к будочнику.

И только дома, куда их доставил вызванный будочником извозчик, Свешников перебрал в уме все подробности происшествия и сел в постели, чувствуя, как страх черстой ладонью сжал его сердце: он вспомнил, что в кармане кафтана лежали переписанные набело противуцерковные стихи его.

## Из главы

### ПЕС ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА

<...>

#### 2

«Сей портрет Величества есть вклад верного ея пса Степана Шешковского».

Эти слова под портретом Екатерины Свешников перечитывал, наверно, десятый раз. Он уже около часа сидел один в большой, скудно обставленной комнате, стараясь угадать, зачем он понадобился Шешковскому. И каков он окажется, этот «верный пес»? Как и всякий поживший в Петербурге, он, конечно, слышал о Шешковском. Его имя произносили со страхом, с отвращением, реже — с насмешкой. Недавно неизвестный остроумец пустил по рукам карикатуру с изображением медали. На одной стороне — величавый, с двойным подбородком, профиль Екатерины, и надпись: «Общее благо»; на другой — профиль Шешковского с надписью: «Всех запорю». Портреты сочинительницы «Наказа» и главы Тайной канцелярии были увенчаны стихами:

Сих двух История не зря соединила лики:  
И та, и тот НАКАЗЫВАТЬ велики.

Неведомый карикатурщик поделом пенял на историю. Двухличие Екатерины было известно всем: и в России, где поощренное царицей вольномыслие не раз оборачивалось Сибирью для дерзкого, и в Европе, где толки о благодетельном правлении «философа на троне» за последние годы встречались кривыми ухмылками, а то и откровенной издевкой. Шешковский под диктовку Екатерины кнутом записывал тайные принципы просвещенной монархии. Тайная канцелярия! Называли ее так по привычке. Тайную канцелярию упразднил еще Петр Третий, а Екатерина, приступив к правлению, решила громогласно: «Быть по сему!» — и втихомолку возродила это пугало под именем «Тайной экспедиции при Сенате».

Дверь отворилась. Давешний провожатый велел Свешникову идти с ним, и через минуту Свешников очутился в просторном кабинете, убранном очень просто: стол, три-четыре кресла, большой шкаф, как видно с бумагами, и бюро. Кроме двери, в которую вошел Свешников, была еще одна; ее Свешников сначала не заметил: она была за портьерой. Одновременно со скрипом двери портьера колыхнулась, раздвинулась, и в комнату вошел шупленький человечек. Даже не глянув на Свешникова, он прошел к столу и уселся. Бережно отодвинул на край стола небольшое блюдо с тремя просфорами и углубился в бумаги. Свешников глядел на него во все глаза, но Шешковский (это был он) писал не отрываясь. Так прошло минут пятнадцать, а Свешников все стоял. Было гадко и униительно стоять так, дожидаясь, пока к нему обратятся, гадко и униительно от чувства своей беспомощности и беззащитности. И вдруг Шешковский спросил:

— Тебе Петр Свешников кем доводится?

— Брат, сударь,— с запинкой ответил Свешников. Он не ожидал такого вопроса: с чего бы это Шешковскому Петрунькой интересоваться?

— Брат? Я по годам полагаю, что дядя. Ты, любезный, ври да не завирайся. Ему, я чаю, годов пятьдесят будет аль поболее?

— Да что вы, сударь! Он брат мне, ему пятнадцатый год пошел,— обрадованно заговорил Свешников. Видно, что-то напутали, какого-то другого Петра Свешникова приплели.

— Значит, он тебе брат,— протянул Шешковский.— Так, так.

Он-то знал, что путаницы нет никакой.

Петр Свешников был матрос, грабивший с Ванькой Каином. Цепкая память Шешковского выдернула его фамилию из дела тридцатилетней давности (тогда он был еще только протоколистом Тайной канцелярии). И когда он натолкнулся на однофамильца, то сразу решил это совпадение использовать.

— Стало быть, брат,— повторил он и в упор взглянул на Свешникова.

Тот улыбнулся от облегчения. Тогда Шешковский заговорил казенным голосом:

— Так вот. Января семнадцатого дня сего года сей Петр Свешников, брат твой, как ты сам показал,— заметил он в скобках,— сосланный вечно на каторжную работу, из Рогервика бежал, а как из допроса его со товарищей видно, что похвалялся он, будто в Тверской губернии кровных своих имеет, и как до сей поры сыскать его не удалось, то надлежит всех родичей его взять под стражу и допрашивать строго, доколь не признаются, где оного вора и каторжника спрятали. А посему, во исполнение этого, беру тебя, Свешников Иван, под стражу.

Он хлопнул в ладоши:

— Эй, Мушник!

Вошел солдат.

— Пришли солдат сюда, вот этого в крепость отвести. Чтобы тотчас здесь были.

Солдат вышел.

Ошеломленный Свешников молчал. Потом вдруг рванулся к столу и вскрикнул:

— Да что ж это, сударь? Я же вам толкую, что брат мой малолеток, а вы сами говорите, что тому пятьдесят годов! Я ни в чем не виноват!

— Отойди от стола,— негромко скомандовал Шешковский.— Стань вон там. Вот посидишь под караулом неделю-другую, допросим тебя, другому запоешь. Ни в чем не виноват, говоришь? Ладно. Разберем. Укрывательство государственного преступника — то твоя вина большая. А малые вины за тобой есть? Говори. В малых проступках повинисься — о больших подумаем. Отвечай открыто, покажи свое доброжелание, и участь твоя смягчится.— Он повернулся к бюро, достал оттуда лист бумаги.— Твое сочинительство? Подойди.

На край стола перед Свешниковым лег потертый на сгибах лист. «Молитв вместилище явится...» «Отопрусь»,— подумал он.

— Писано мной, а кто сочинял — не знаю.

Шешковский встал, обогнул стол и подошел вплотную к Свешникову.

— Не знаешь? Ах ты, тварь богомерзкая! А что, если я сейчас велю послать к тебе в комнату и обыскать? Не найдется ли там черновых листочков? Ну? А что, если я сейчас велю — смотри на меня! — Лизку, любовницу твою, сюда привести и она на тебя покажет? Я ей начальник! Она у меня служит! — Шешковский пристально глядел в помертвевшее лицо Свешникова.

— Она у вас служит,— повторил он почти беззвучно.

— Да, у меня! Нам все про тебя ведомо. Ну, звать ее?

Свешников молчал. Шешковский круто повернулся, подошел к запертой двери и, распахнув ее, крикнул:

— Привести ее сюда!

В комнату вошли Мушник и Лизетта в сопровождении солдата. Свешников поднял голову и посмотрел на нее, у нее дрожал подбородок.

— Каковы твои обязанности? Говори. Говори при нем,— сказал Шешковский.

Медленно, будто читая неразборчивое, Лиза заговорила:

— Моя обязанность есть доносить о всяких разговорах и беседах, какие случаются в домах, где я живу.

Она смотрела прямо в лицо Свешникову как зачарованная.

— Дальше.

— А ежели случится узнать, что было какое поношение, или урон, или бунтовской умысел против державы или православной церкви, то должна я донести без промедления.

— Слышал? — оборотился Шешковский к Свешникову.— А ты запираешься. Бери перо, пиши: «Сне мною, Иваном Свешниковым, написано для ущерба православной церкви и...»



— Ваня! — вдруг отчаянно крикнула Лизетта. — Ваня, не пиши! Я ничего о тебе не доносила!

— Увести! — сказал Шешковский. — Держать под караулом!

Солдат схватил Лизетту за плечо и толкнул к двери, Лизетта попыталась вырваться, и некоторое время ее рука беспомощно белела на темно-зеленом сукне солдатского мундира.

— Стой на месте, в кандалы забью! — крикнул Шешковский Свешникову, который рванулся к борющимся.

Мушник схватил Свешникова за воротник, и, когда Свешников, яростно крутанувшись, высвободился, Лизы в комнате уже не было. Мушник, поглядев на начальника, тоже вышел.

— Бунтуешь? — Шешковский закружился около Свешникова. — Бунтуешь, голубчик! — все еще тяжело дыша, повторил он и уселся за стол. — Лизку твою велю бить плетьюми до беспамятства, — с расстановкой сказал он. — За умолчание. А тебя на покаяние в монастырь сошлем — за богохульство. Ты ведь теперь у нас православный.

Не так давно Свешников, исполняя желание Шувалова, отказался от старообрядчества и принял «истинное православие». Ему было все равно. А вот теперь.

Шешковский ухмылялся, глядя на него. Он был доволен. Как только он получил стихи Свешникова, то почувал интересное дело. А когда он допросил пойманного со свешниковским кафтаном вора и увидел те же стихи, писанные свешниковскою рукою (о почерке Ивана он позаботился узнать заранее), то решил, что пришла пора побеседовать со стихотворцем. Даже если бы он не знал точно, то все равно по лицу Свешникова было понятно, что он и есть автор. Сцена с Лизой дала допросчику лишний козырь в руки. Если бы Свешников не был так взволнован (этого волнения и добивался Шешковский во время допроса, начиная с истории о якобы бежавшем матросе), то он бы заметил, что вызванных для него солдат все еще нет. Шешковский и не собирался сажать Свешникова под арест. Хотя Шувалов и не в чести, а ссориться с ним не стоило, да и светлейший, слышно, этому «ученому мужику» патронирует. У Шешковского были другие планы...

— Видишь теперь, какова твоя участь? — произнес он сурово. — Уж и не придумаю, как тебя спасти. Разве вот...

Он, как бы оценивая, оглядел допрашиваемого.

— Ты во многие дома вхож, со многими людьми знаком. Слышал, что твоя краля о должности своей говорила? Запомни: ежели будешь то же делать, все вины прощу, вирши твои богопротивные порву. А по усердию и награжу. Ну?

Свешников, не отрываясь, смотрел на массивный медный подсвечник. Ударить этого мозглявого кровопийцу сверху по голове — и конец! Конец ему! Но тогда и всему конец: и учению, и книге, всему-всему. Всякой надежде. И Лизе... Ее тоже захлестнула, запутала поганая паутина. «Я ни-

чего о тебе не доносила!» А о других? Свешников вздрогнул. Шешковский перехватил его взгляд, устремленный на подсвечник, понял, но не отодвинулся, не подал виду.

— А коли не захочешь, знай: тебе крепость или монастырь, полюбовнице твоей — плети и ссылка. Решай, господин Ветошкин!

Свешников поднял на него глаза. Краем уха он уже слышал свое прозвище, но никто еще не называл его Ветошкиным в лицо. Он глухо произнес:

— Я подумаю. И через Лизетту ответ передам.

«Крепок орешек,— удивился мысленно Шешковский,— еще не обещал ничего, а уже свободы для себя и для нее требует». Впрочем, он ничем не рискует: арестантом Свешников ему не нужен («На нем дела не сделаешь: велика важность — стишки!»), а ежели согласится, то из него получится отменный работник — умный, ученый, к вельможам доступ имеет и среди простых людишек свой. И Шешковский разжал когти. Он сказал неторопливо:

— Ладно, будь по-твоему, погожу до субботы. Обмануть, сбежать — лучше и не мысли. Найду.

Он подошел к дверям, распахнул их и крикнул:

— Выпустить его!..

<...>

## Из главы

### НЕБЛАГОДАРНЫЙ РАБ

#### 1

Они были ровесниками, эти два человека — молодой дворянин Василий Щетинин и крепостной его отца Иван Свешников. Молодой Щетинин был умен и отменно вежлив. Он сразу пригласил Свешникова сесть — именно пригласил, а не приказал — и разговор завел не о свешниковской учености, а об общих петербургских знакомых, о концертах шведского певца и скрипача Заха, о фальконетовом Петре, к которому вот уж скоро год никак не привыкнут петербуржцы.

Полковник Алексей Михайлович Щетинин отбыл в полк продолжать службу, а в новых владениях оставил своего сына. Решено было начать строить господский дом как только сойдет снег, и молодой помещик должен был подготовить все для строительства, войти в нужные отношения с губернскими властями и познакомиться по-добрососедски с ближними помещиками. Покамест он присматривался, соображая, какую уместно учредить барщину, какого старосту над мужиками поставить. Остановился он в доме священника, тут же поместились камердинер и повар, а отец Ад-

риан с семейством перебрался к тестю, в соседнюю деревню. Он-то и рассказал молодому барину о Свешникове, рассказал бесстрастно, не хваля и не осуждая, дескать, есть вот такой мужик необычайный, что жил в Петербурге и горожанином вернулся, а как его далее употребить — на то господская воля. Молодой Щетинин, живя в Петербурге, стороной слышал о «шуваловском протезе» и никак не располагал увидеть его своим крепостным.

Иван сидел против него за столом и украдкой оглядывался по сторонам. Он не был в этом доме со времени смерти отца Николая, первого своего наставника, и теперь с печальным любопытством приглядывался к убранству комнаты. Годы жизни новых хозяев покрыли чуждым налетом лицо жилья, и то немногое, что сохранилось: старая лампадка перед новой, сверкающей позолотой божницей, покрытый незнакомым дорогим пестрым коврикочком деревянный ларь, деревянная же чернильница, похожая на гроб, с важным, задумчивым дятлом на крышке — все эти вещи выглядели здесь трогательно, странно и немножко смешно, как будто самого ожившего отца Николая обрядили в дорогое и новое, и его сухонькие руки и простое, умное, грустное лицо никак не вяжутся с шелком новой рясы, с жирным самодовольным золотом наперсного креста...

— Мы с батюшкой решили дом здесь выстроить,— сказал Щетинин, переводя разговор на другую тему.— Батюшка, отъезжая, разрешил мне самому прожектировать; я, однако же, запасаюсь рисунком. Вот, взгляни, каково твое суждение?

Он развернул на столе лист плотной голубоватой бумаги.

— Я в архитектурном искусстве ничего не смыслю... сударь,— произнес Иван, разглядывая четкие линии чертежа: закрашенное желтым меланхолическое изящество балкончиков и террасы, розовую толпу стен первого этажа, поясняющую надпись вверху, на полуслове разорванную треугольником мезонина. Он смотрел на все это и с каким-то усталым спокойствием соображал, как ему поступить, если Щетинин вдруг сбросит личину вежливости и крикнет: «Я тебе не сударь!» Иван намеренно не назвал молодого хозяина баринком. Это слово было бы равно поцелую господской руки, земному поклону, предупредительному отказу от видимости равенства. Обращение же «сударь» было неопределенным. Так мог обратиться подчиненный к начальнику, так старший по чину и званию называл младшего, так и равные меж собой именовали друг друга. Но Щетинин принял это как должное. Он сам допустил эту короткость. Он сам пригласил Свешникова сесть, первый завел речь о Петербурге, указав, впрочем, обращением на «ты» надлежащую дистанцию.

— Мне предпочтительнее был этот прожект,— постучал он полусогнутым пальцем по листу.

Иван глянул и вдруг заинтересовался.

— Родовой герб, сударь? — спросил он.

Из-под чертежа высовывался маленький квадратик шероховатой бу-

маги. Свешников взял его в руки. На нем, обведенный рамочкой, красовался цветной рисунок: на красном поле помещен был стульчик на изогнутых ножках, золоченые кисти свисали от зеленой подушки, а на ней возлежала украшенная цветами золотая корона.

Щетинин улыбнулся.

— Нет, это герб губернский. Архитектор узнал, что в Тверскую губернию едем, и изобразил от усердия.

— Прискорбно,— сказал Свешников медленно. Он почувствовал, что сейчас вот скажет дерзость, и от неотвратимости этого ему стало лихорадочно весело; он сунул задрожавшие руки меж колен.— Прискорбно, сударь, сей знак был бы весьма уместен на лакейских ливреях и на каретах.— И, глядя в лицо удивленному помещику, он добавил с расстановкой: — А ргоро <sup>1</sup>, сударь, странная аллегория: корона на стуле? Что же это: короне дворянской и афедрону одно место и честь одна?

К лицу Щетинина прихлынула краска. Он поднялся со стула и, прикусив нижнюю губу, пристально поглядел на Свешникова. Тот тоже встал, и Щетинина поразило выражение его лица: дерзкое, вызывающее и в то же время какое-то очень напряженное, очень ждущее. Алексей Щетинин был умен, но не настолько проникателен, чтобы вторгнуться сейчас в душу Свешникова, уразуметь его чувства, его страстное желание поставить все на свои места, покончить с неопределенностью, услышать, что он раб, смерд, холоп, *servus* <sup>2</sup>, черт бы вас всех побрал с вашим обхождением! Сам он себя рабом не объявит, врте! Он ненавидел сейчас этого очень вежливого, очень сдержанного молодого дворянина. Несколько секунд они стояли молча друг против друга — и вдруг Щетинин опустил вздернутые плечи и усмехнулся.

— Геральдика — наука темная,— сказал он и, садясь сам, округлым, плавным жестом пригласил Свешникова последовать его примеру. Ученый крестьянин ищет неприятностей? Прет на рожон, как говорят мужики? Вот скотина преупрямая! Ну что же, это прелюбопытно. Молодой господин приветливо улыбался, глядя на Свешникова. Он, Алексей Щетинин, не будет кричать — его мягкий баритон в крике срывается на фальцет, он знает это,— не будет брезгливо бить дерзкого по лицу. Он не намерен лишаться занятого собеседника из-за глупой дерзости этого собеседника. Щетинин с трудом подавил в себе желание пропеть «преупрямая скотина» на голос модного романса «Престестокая судьбина разлучает мя с тобой». — Так вот, архитектора этого присоветовал мне Федор Карлович Зе-еман, чиновник магистратский. Знал в Петербурге такого? Шельма оказался архитектор, у него, должно быть, таких рисуночков впрок заготовлено про всякий вкус. И все, бестия, именами подкупает: сие, говорит, на манер потемкинського дворца, сие сходно с усадьбой Куракина. А вот этот

---

<sup>1</sup> Кстати (*фр.*).

<sup>2</sup> Раб (*лат.*).

прожект — подобие сельского дома Струйского, так он говорит.— Щетинин пожал плечами.— Однако же...

В дверь постучали. Вошел камердинер, доложил, что староста, как велено, явился с бумагами.

— Пусть войдет,— распорядился Щетинин и, оборотясь к Свешникову, сказал: — Там вон, на столике, последний номер «Собеседника» лежит. Костров забавные вирши к Державину напечатал: славословит его без меры. Почитай пока, я со старостой займусь.

Нехотя перелистывая странички «Собеседника любителей русского слова», Иван сначала прислушивался к почтительному бормотанию Ермаля Ковшова, но вскоре отвлекся действительно смешными стихами:

Москва жилище мне, ты Невский пьешь поток.

Иван представил себе господина Державина стоящим на берегу Невы. Стихотворец, отведя в сторону руку с табакеркой, зажатой меж большим и безымянным пальцами, другой рукой то и дело подносит ко рту ковшик с мутной невской водой; унылая брезгливость начертана на его лице. Творец «Фелицы»! Да вот вроде бы и она, на титульном листе, на двуглавом орле восседает, парит в облаке. Двуглавый орел византийский, щит и копье славянские, шлем и весы Минервины, древние,— что за варварское смешение! Эта вот... Минерва российская! О ней раньше думалось, как о символе самодержавной власти, которой не хватает мудрых советников, как о некоем привычном обозначении государственным, она — живой человек, мой враг, пухлой рукой подписала меня, Ивана Свешникова, закрепить в рабство!

— Да ты, любезный, смеешься надо мной?! — Щетинин резко отодвинул в сторону бумаги, один лист упал на пол, он поддал его носком.— Здесь не только что с моими бумагами не сходится, здесь и у тебя концы с концами не сведены. Ничто не сходится: ни людей число, ни земля... Избы и те толком не сосчитаны!

— Ваше благородие, барин! — засуетился староста.— Грамоте я худо знаю... Как перед богом... Дозвольте...

И Ковшов начал длинно рассказывать, как усердно исправлял он свою должность, и как всякое начальство им премного довольно было, и что «когда ваша барская милость будет», то он и теперь готов как перед Богом...

Щетинин молча выслушал его и сказал:

— Пошел вон.— Потом, когда за старостой закрылась дверь, оборотился к Свешникову: — Поди-ка сюда.

Свешников подошел. Помещик взял перо и разграфил чистый лист бумаги.

— Придется потрудиться тебе. Завтрашний день пойдешь по домам и на таких вот листах обозначишь, у какого хозяина сколько чего: жилье,

служба, скотина...— Он говорил и надписывал вверху листа круглым, уверенным почерком.— Мужского полу, баб, земли... Понятно?

— Осмелюсь ли спросить, сударь, для чего это надобно?

Щетинин мгновение недоуменно глядел на него, потом улыбнулся и пояснил уже другим тоном, ласково:

— У разумного эконома всегда должен быть твердый реестр всему. А на первый раз мне это надобно вот для чего: чтобы знать, кого куда лучше употребить в постройке дома, кого с лошадьми послать, кого здесь к делу приставить... Я на тебя крепко надеюсь. Ты человек образованный — это первое, мужикам свой — это другое. Трудиться же всякий обязан. Но ты не волнуйся, с мужиками не поравняю. У нас и для приятных бесед время останется...

## 2

Иван долго не раздумывал. Он только представил себе, как он завтра пойдет по домам, начнет переписывать крестьянское добро, как его — его, Ивана Свешникова, — встретят растерянные взгляды односельчан и проводит — за спиной, конечно, — угрюмое ругательство, черное мужицкое слово. Нет, бежать! Холюя из него не сделаете. Ухватки-то ласковые, а суть — шешковская. Тот деньгами, этот приятной беседой покупает. Потрудитесь, мол, а там и к барскому столу пустим, об архитектуре по-толкуем. А может, ему и в голову не стукнет, что это предательство? Нет, знает! Старая погудка, латинских корней: «Разделяй и властвуй». Не выйдет, со мной не выйдет. Бежать, бежать. Куда? Ничего, на ходу решить можно.

Ночью Иван вышел из дому. Миновал крайние дома, оглянулся на смутно темневшую церковь, погрозил кулаком, горько усмехнулся своему жесту, поправил сумку и зашагал. На юг! Там сейчас много разного народу, много иностранцев, можно что-нибудь придумать. Под ногами мягко пружинила прихваченная ночным морозцем комковатая весенняя грязь. Можно наняться к какому-нибудь иностранцу купцу секретарем. А держат ли они секретарей? Ну, слугой, на худой конец. Иван вошел в знакомый лес. Еще сажен семьдесят — и будет то место, где они с Григорием Афанасьевичем встретились. Нет, нужно принять левее, к большаку. А там, если удастся, за границу. Накопить денег, выкупить своих; через кого-нибудь это можно, наверное. Отыскать Лизетту, она в Италии — Шувалов говорил, забрать ее от господ, поехать на родину ее отца, она же родина великого Руссо. Мокрая ветка хлестнула его по лицу. Не придется бродить ночью по лесу. Ночью по лесу. Никогда не придется побродить ночью по лесу. Ах, господи, ну что загодя терзаться! Может, и не надо будет...

## Из главы ПУТЬ НА ЮГ

4

— ...Отвечай, что ты за человек, богомолец?

— Разрешите, ваше сиятельство, вам одному рассказать,— сказал Иван.

— Что такое? — удивился Потемкин.— Постой, постой,— забормотал он, поворачивая Ивана за плечи лицом к свету.— Василий Степаныч, взгляни-ка...

Всегда бесстрастный, невозмутимый Попов взгляделся в лицо Свешникова и ахнул.

— Всем уйти,— сказал Потемкин негромко.

Комната опустела.

— Сядь.

Иван сел.

— Рассказывай.

— Я сбежал, ваше сиятельство.

— Что-о?

— Сбежал. Наше село отдали во владение господину Щетинину, и я сбежал.

— Ну-у... — Потемкин изумленно уставился на Ивана.— Он притеснял тебя, этот, как его?

— Щетинин. Нет, ваше сиятельство, он обласкал меня.— Свешников покривился.

Потемкин поднял бровь.

— Так что же ты?

— Не сумел быть рабом.

Оба замолчали. Вот он каков, ученый мужик! Не хочет быть рабом! Не хочет быть рабом...

— Ты знаешь, что тебя ждет?

— Знаю.

«Что же он не просит о заступничестве?» — Потемкин в упор разглядывал Свешникова.

«Что же я не прошу заступиться? Самое время», — мелькнуло в голове у Ивана.

— Раньше думать надо было! Раньше! — вдруг вскрикнул Потемкин. Иван молчал, потупившись.

— Сечь батогами будут! Ноздри рвать! Навечно в солдаты!

— Если вы не заступитесь... ваше сиятельство,— с трудом выдавил наконец Иван.

— «Если я», — сердито повторил Потемкин. Он встал, почти коснувшись головой низкого потолка, и прошелся по комнате. Потом отворил

дверь: — Эй, кто там! Позвать сюда офицера. Слушай, любезный, богомольца этого я при себе оставляю. Можешь отправляться. Хвалю, исправен. Напомнишь о нем, Василий Степаныч. Иди.

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Теперь вот что, Василий Степаныч: богомольца нашего одеть прилично, накормить, пусть едет в заднем возке. На первой стоянке явишься ко мне, Свешников.

— Благодарю вас, ваше сиятельство.

— Ступай.

И когда Свешников, поклонившись, вышел из комнаты, Потемкин, наклонив голову и глядя ему вслед, выговорил ворчливо:

— Дерзок.— Посмотрел на Попова и уже с удовольствием повторил: — Дерзок! Приручить надобно. Будет пригоден к работе.

А в той же комнате, что недавно была для него местом заключения, Свешников, соскабливая бритвой темно-рыжую щетину со щек, думал сосредоточенно и зло: «Поучать вельмож готовился, советовать придворным — ох дурак! Сам у вельможи защиты просил, только что руку не поцеловал...»

<...>

## Из главы

### ВОЛЬНАЯ

<...>

## 2

Нельзя сказать, чтобы чума пришла неожиданно.

Еще был на памяти Чумной бунт 1771 года, когда воинской силой усмиряли москвичей, обезумевших от ужаса смерти и разъяренных своеволием начальства. Бравые гвардейцы пришли тогда в старую столицу и стали там лекарями, а народу-то все равно было от чего помирать: от чумы ли, от штыка или пули.

А прошлым летом вспыхнула она на Тамани, год поцарствовала там, и вот теперь пришла в Таганрог и в Херсон.

Никто из херсонцев не знал, откуда она взялась. Иные считали, что турецкие корабли принесли заразу; иные говорили, что доползла она до Херсона с полуострова; а большая часть твердила только, что это кара божия, да молилась усердно.

И чума пошла гулять по городу, обдавая смрадным своим дыханием дома купцов и солдатские казармы, балаганы арестантов и кабаки, церкви и пристанские склады.

Бесчисленные костры вспыхнули во дворах: врачи толковали, что хворь



(«язва», как ее называли) передается с дурным воздухом и поэтому надобно воздух очищать огнем. Резко и угрожающе запахло уксусом: им обтирались, обливали себя, пили его неумеренно, портя желудки; пили и заедали чесноком, который, как толковали, тоже сохранял от беды.

Только все это мало помогло. Смерть поселилась в городе прочно и приходила в гости без спросу. Она ударила в крепость, метнулась на восток от нее — в воинский форштадт, на запад — в Греческое предместье и заметалась, вслепую кося людей.

Свешников закружился в водовороте дел, встреч, распоряжений. Помимо своей воли, он вынужден был отказаться от позиции наблюдателя: вице-адмирал Клокачев, принявший начальствование над строительством, по письму Потемкина призвал Ивана к себе и велел не только смотреть, но и распоряжаться.

<...>

Вся жизнь была впереди.

### 3

Черные дыры в бородах — разинутые пасти раскольников. Старинное столбовое пение. Они поют все громче и громче. Скоро не выдержат уши. Рев чинно стоящих бородачей тисками давит голову.

«Что это?» — спрашивает у Ивана какая-то женщина.

«Раскольничий хор светлейшего!» — кричит Иван.

Но женщина его не слышит. Слишком громко поют староверы. А ему нужно, непременно нужно перекричать их, объяснить этой госпоже, что она в своей шубе похожа на церковный колокол. Это очень нужно, потому что тогда придет Лизетта. Очень громко поет, кричит хор. Быстрым шагом приближается Потемкин. Он хватает Ивана за плечи и, дыша огуречным рассолом, орет ему в самое ухо:

«Каков хор, а? А соотчичи мои любезные косоротятся. Эй, громче!»

Иван рвется из рук Потемкина.

«Ты не хочешь слушать, холоп? Взять его!»

Не спеша женщина вынимает из «маньки» веревку и вяжет Ивана. Она долго обматывает веревку вокруг его тела, прикручивая локти к бокам. Потом она ведет его по бесконечным коридорам. А за спиной, не смолкая ни на минуту, гремит грозное пение. Женщина — она уже не женщина, а староста Ермолай Ковшов — говорит, вталкивая его в тюремную камеру: «Здесь келья — гроб, дверью хлоп», — и гнусаво смеется.

Иван падает на пол, стучит ногами в дверь, и вот наконец-то входит Лизетта.

«Лизонька, ты пришла! — говорит Иван. — Развяжи меня, Лиза».

«Погоди, — отвечает Лизетта и, расправив пышные юбки, садится на пол рядом с ним. Из-под юбок торчат носки туфелек. — Погоди, Ваня. Ты

должен запомнить это. Слушай: мушка звездочкой на лбу — величественная, у правого глаза — тиран...»

«Лиза, что ты говоришь! — кричит Иван. — Освободи меня!»

«На подбородке — люблю, да не вижу, а на щеке — согласне, на виске — страстная. Все дамы носят зеркала и коробочку с мушками — для любовной беседы».

Она поднимается и, сделав реверанс, уходит, исчезает, растворяется в темном углу камеры.

— Лиза! — зовет Иван. — Ли-и-за...

Он мечется по постели. Он просит пить и, когда Любаша подносит ему питье, выбивает у нее чашку из рук. Они вдвоем в доме, и Любаша не знает, чем ему помочь. Она пришла сюда неделю назад, обеспокоившись долгим отсутствием Ивана. Она пришла и нашла его одного, в брошенном доме, больного, бредящего, умирающего от неведомой болезни. Это не чума. Любаша знает. Ведь теперь у них, в Давыдовом броде, — карантин. Нагнали матросов с ружьями, им велено стрелять в каждого, кто попытается уйти из города или в город войти. Лекарь при команде рассказывал: «Сперва нарывы, вроде чириев, во рту, под руками, в срамных местах, потом горит человек три-четыре дня — и конец». А он хворает уже много дней, и рвоты нет, только живот вздулся. Господи, кто поможет? Любаша становится на колени перед черными, страшными иконами и молча кладет поклонь. С кем поплакать, кому слово сказать? Сзади вдруг прекращается движение. Свешников затихает. Она бросается к постели. Спит, дышит ровно. Значит, можно передохнуть, покушать. Любаша пошла в сени, из подпола достала мясо и сыр. Это все чужое, хозяйское, но где же он, хозяин? Ушел, убежал, может, помер уже? Любаша ест мясо и сыр, примостившись на крылечке.

— Пить! — донеслось из комнаты.

Она побежала к больному. Очнулся.

— Люба, — внятно выговорил Иван, — как ты здесь?

Она поит его из чашки и торопливо, сбивчиво рассказывает.

— Люба, — сказал Иван, — когда я помру...

Любаша смотрит на его сами собой опускающиеся веки, на провалившиеся щеки, обросшие темно-рыжей щетиной, натягивает на него простыню, чтобы не видеть выгнутые, как прутья, ключицы, и молчит, не перечит: не помрете, мол, Иван Евстратыч...

— Когда я помру, — повторил Иван, — бумаги мои схорони, спрячь, перешлешь в Петербург, Шувалову Ивану Иванычу... Запомни. Деньги в изголовье себе возьми... Сейчас заberi... Слышишь. Ну...

Он сделал попытку приподняться, и Любаша поспешила исполнить его желание. Она достала из-под подушки кошелек и смятые в комок асигнации, спрятала за пазуху.

— Вот, — сказал Иван, — теперь все... Голова очень болит. И живот.

Он полежал некоторое время молча. Потом вскрикнул:

— Уберите руки, сударь! Я по избам не пойду. Я должен писать мою историю... Руки, белые руки...

Он заговорил не по-русски, и Любаша со страхом слушала непонятную речь. Потом вдруг схватилась, накинула платок и побежала за ворота. Куда идти, кого звать? Люди на улицах шарахаются друг от друга. Медленно проехала повозка, прикрытая мешками; из-под них высунулась, трясется рука, задевая скрюченными пальцами за колесо. Вдруг Любаша увидела двух людей. Они поравнялись с калиткой, сейчас пройдут, один из них по виду чиновник, другой воинский лекарь. Любаша его знает.

— Ваше благородие,— закричала Любаша,— помогите!

Они остановились.

— Чего тебе? — Лекарь посмотрел на нее.— А-а, это ты.

— Помирает он, помогите, сделайте милость.

— Кто он? Муж? — спросил чиновник.

— Нет, не муж, а так... Чиновник он, приезжий. Свешников Иван Евстратыч.

— Свешников? — Чиновник вдруг насторожился.— Давно заболел?

— Вот уж вторую неделю лежит без памяти.

— Вторую неделю. Если не врешь, значит, не чума. Зайдем? — спросил лекарь.

— Идемте,— неожиданно для лекаря быстро согласился чиновник.— Я его знаю, Свешникова.

Они вошли в комнату. Свешников был без памяти, дышал тяжело и стонал.

— Откинь простынь,— скомандовал лекарь.— Так. А теперь поверни его.

Он осторожно наклонился к постели, разглядывая больного. Потом выпрямился.

— Нет, это не чума,— сказал он.— Горячка мозговая. Или — задержка рубаху — или тифус. Клади тряпку холодную на лоб. Я ему сейчас кровь пущу.

Он быстро вынул из сумки блестящий ножик и обтер его об рукав.

— Дай сюда тарелку. Руку держи.

Кровь побежала вялой струйкой.

— Ну, вот и все. Завязывай. А ты, красавица, что же к этакому дохлону прислонилась, а?

Он ушипнул Любашу за плечо. Любаша вывернулась, подхватила полотенце и побежала во двор, к колодцу,— намочить в воде.

— Идемте, Николай Сергеич, пора.

Чиновник обернулся. Все это время он стоял у распахнутой в кабинет двери.

— Что он?

— Долго не протянет,— пожал плечами лекарь.— Ну, пошли.

— Вы идите, я догоню.  
— Что, хозяйка приглянулась?  
— Нет, просмотрю его бумаги. Может статься, нужные для магистрата есть.

Лекарь ушел. Магистратский вошел в кабинет и остановился у стола. Стол был аккуратно убран. Любаша сложила бумаги по размеру. Чиновник начал лихорадочно рыться в бумагах, иные комкал и бросал на пол, иные складывал и прятал в карман.

— Удача,— бормотал он,— вот удача привалила... А это что?

В это время в соседней комнате очнулся Свешников. Он застонал протяжно, открыл глаза, услышал возню в кабинете.

— Кто там? — прошептал он.— Кто там, Люба?

Из кабинета отчетливо донесся шелест листов.

— Бумаги? Не смеете... Кто там? — Он, сделав усилие, сел на постели, потом встал, страшный, качающийся.— Кто там? — прохрипел он.

В дверях появился чиновник с какой-то бумагой в руке. Увидя вставшего Ивана, он сперва вроде как бы смутился, но тут же оправился.

— Как вы смеете, сударь, в чужих бумагах...— начал Иван, но ноги подогнулись, он неловко повалился в постель.

— Вот так и смею! Не тебе, мужику, мне указывать,— вполголоса сказал магистратский и оглянулся на дверь.— Мужик, а? Ведь барином ходил, скотина. Ложись вон да помирай.

Он швырнул бумагу на пол, плюнул вслед и, хлопнув дверьми, вышел. Прогрели каблук на крыльце.

Избежавшая с мокрым полотенцем Любаша подняла бумагу и, расправив, бережно положила на стол. Если бы она умела читать, то узнала бы, что это — вольная, которую старший Щетинин дал Ивану по желанию Потемкина и за которую он был отличен по службе: это была вольная — документ, противуестественная человечность которого почиталась в обществе за истинную; это была вольная, уже ненужная Ивану Свешникову, потому что вечером он умер.

#### 4

Шувалов приказал Людоговскому перебрать бумаги у себя на столе и в бюро, а сам отошел к книжным шкапам. В кабинете было сумрачно, погода на дворе стояла промозглая, слякотная, осенняя. Под стать погоде было и настроение — Шувалов был раздражен, хмур и неприветлив. Он стоял, поглаживая кончиками пальцев красный сафьян, в который недавно были переплетены копии с писем Вольтера. Но и воспоминания о комплиментах острейшего мужа века, против обыкновения, не успокоили его. Хандра, хандра. Дождь. Вон Людоговский — этот знай себе работает безо всяких настроений.

Людоговский и впрямь работал ровно, без оглядок на погоду. Он не разрешал себе настроений. Не в том чине. Присев на корточки перед выдвинутым нижним ящиком бюро, он аккуратнo выкладывал на стоявшие рядом стулья связки бумаг.

— Иван Иванович,— обратился он вдруг к патрону,— как прикажете со старыми прошениями?

— Знаешь что, голубчик,— обернулся Шувалов,— возьми-ка все это к себе да там и разбери. Что-то мне сегодня не до того.

— Слушаюсь.

Людоговский собрал вынутые бумаги, сложил их в одну стопу и пошел к себе.

Очутившись в своей комнате, он опустил свою ношу на стол и стал разоблачаться. Он снял фрак, развязал галстук, подвернул рукава рубашки.

«Его Превосходительству...», «Милостивый господин Шувалов...», «Благодетелю просвещенных человеков...», «Ваше Превосходительство». Стой, а это что? «О причинах разрушения Империи Римской. Сочинение Ивана Свешникова». Любопытно. Людоговский повертел рукопись в руках, заглянул в конец. Рукопись обрывалась на полуслове. Очень любопытно. Не так давно пришло из Херсона известие о гибели ученого мужика. Пришли какие-то бумаги, которые покойный велел переслать патрону. Шувалов, когда узнал, что Свешников помер в чуму, бумаги не только читать не стал, а и не дотронулся, велел сжечь. А эти вот бумаги, думается, с той зимы остались. Ну-ка, почитаем.

Через полтора часа Людоговский, зевнув, отодвинул от себя рукопись. И к чему писать было, когда все равно не напечатали бы? Нам своих Руссо и Монтескье не надобно. Эх, ты, Ветошкин.

Он чуточку поколебался, потом встал, взял рукопись и осторожно, чтобы не взметнуть золу, положил сочинение на тлеющие угли камина.

## Из главы

### ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

Нет, ты не будешь забвенно,  
столетье безумно и мудро.

*А. Н. Радищев*

Вернувшись от Кочубеев, Александр Сергеевич долго не ложился. Сегодня он опять беседовал со старухой Загряжской. Он любил ее слушать, да и она его жаловала, а нынешний анекдот был презанятный. Право, хотя бы ради всех этих историй стоило прожить чуть не девяносто лет. И полжизни в прошлом веке! Жаль только, что память Натальи Кирилловны ограни-

чена двором. Но и на том спасибо, все же не в Лету канет. Сегодня, однако, она говорила не про двор. Мужик-полиглот, скромник, приверженный Богу,— да таков ли он был, этот человек? Загряжская могла не упомнить, перевернуть. Так ли, нет, а записать надо. Старуха — клад живой. И говорит-то как! Нынче такой разговор не часто услышишь.

Пушкин сел к столу, выбрал перо и пометил дату. Как она начинала, Наталья Кирилловна? Ах, да:

«Вы слышали про Ветошкина? Это удивительно, что никто его не знает...»



# ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ УБИЙСТВ

*Над повестью «Бегство» Юлий Даниэль работал с 1952 по 1958 год. Изнурительная работа под приглядом издательства неприметно, но последовательно лишала авторскую фразу свободы дыхания, вольного полета.*

*В литературе сломленная фраза — сигнал сломленной, покорившейся души. Ю. Даниэль предпочел свободную фразу свободной души. Обвинение, рыская по тексту в поисках криминала, не докопалось до главного источника своей бессильной ярости: внутренней свободы гражданина тоталитарного государства, жизни по законам, самим над собою признанным. Свобода таится в стилистике, в вольном течении слова и мысли. А это особенно наказуемо, четыре небольших произведения изящной словесности оплачены гонораром в пять лет лагерей строгого режима.*

# Говорит Москва

— Миу! — это плачет маленький котенок.

— Миу! — он еще мяукать не умеет.

Одинокством безмерно угнетенный,

Он тоскливо бродит меж скамеек.

Рядом грубые, всеильные, большие

На скамейках восседают люди.

Словно псы, кругом рычат машины.

Он боится. Как же дальше будет?

На его на жалкий интеллект кошачий

Независимость нечаянно свалилась.

— Миу! — кот раскрепощенный плачет.

— Объясните! Окажите милость!..

Что ж, он возмущает в странствиях суровых,

Он украсится когтями и клыками,

Как стеклом разбитых поллитровок,

Засверкает желтыми зрачками.

Он освоит «мяу». Скажет в полный голос,

Что вцепиться сможет в каждого громилу;

А пока что — сердце раскололось,

А пока что — «Миу... миу... миу...»

*Илья Чур. Московские бульвары.*

## I

Сейчас, когда я пытаюсь мысленно восстановить события минувшего лета, мне очень трудно привести мои воспоминания в какую-то систему, связно и последовательно изложить все, что я видел, слышал и чувствовал; но тот день, когда это началось, я запомнил очень хорошо, до мельчайших деталей, до пустика.

Мы сидели в саду, на даче. Накануне все мы, приехавшие на день рождения к Игорю, крепко выпили, шумели допоздна и, наконец, улеглись в полной уверенности, что проспим до полудня; однако загородная тишина разбудила нас часов в семь утра. Мы поднялись и дружно стали совершать всякие нелепые поступки: бегали в одних трусиках по аллеям, подтягивались на турнике (больше пяти раз никто так и не сумел подтянуться), а Володька Маргулис даже окатился водой из колодца, хотя, как всем было известно, по утрам он никогда не умывался, ссылаясь на то, что опаздывает на работу.

Мы сидели и бодро спорили о том, как наилучшим образом провести воскресенье. Само собой, вспоминались и купанье, и волейбольный мяч,



и лодка; какой-то зарвавшийся энтузиаст предложил даже пеший поход в соседнюю деревню в церковь.

— Очень хорошая церковь,— сказал он,— очень старая, не помню, какого века...

Но его высмеяли — никому не улыбалось переть по жаре восемь километров.

Наверное, странное зрелище представляли мы, тридцати-тридцатипятилетние мужчины и женщины, раздетые, как на пляже. Мы деликатно старались не замечать друг у друга всякие смешные и грустные неожиданности: впалую грудь и намечающиеся животики у мужчин, волосатые ноги и отсутствие талии у женщин. Все мы знали друг друга давно, нам были знакомы костюмы, галстуки и платья друг друга, но каковы мы без одежды, в натуральном виде — этого никто себе не представлял. Кто бы мог подумать, например, что Игорь, такой элегантный и всегда подтянутый, имевший несомненный успех у сослуживцев в своей академии, что этот самый Игорь окажется кривоногим? Разглядывать друг друга было так же интересно, смешно и стыдно, как смотреть порнографические открытки.

Мы сидели, прочно прижавшись задками к стульям, жалко выглядывшим на траве, и говорили о предстоящих нам спортивных подвигах. Вдруг на террасе появилась Лиля.

— Братцы,— сказала она,— я ничего не понимаю.

— А что ты, собственно, должна понимать? Иди к нам.

— Я ничего не понимаю,— повторила она, жалобно улыбаясь,— радио... По радио передавали... Я самый конец услышала... Через десять минут снова передавать будут.

— Очередное,— дикторским басом сказал Володька,— двадцать первое по счету снижение цен на хомуты и чересседельники...

— Идите в дом,— сказала Лиля.— Пожалуйста...

Мы всей гурьбой ввалились в комнату, где на гвоздике скромно висела пластмассовая коробочка репродуктора. В ответ на наши недоуменные вопросы Лиля только вздыхала.

— Паровозные вздохи,— сострил Володька.— А что, здорово сказано? Прямо ильфо-петровский эпитет.

— Лилька, брось нас разыгрывать,— начал Игорь.— Я знаю, тебе скучно одной посуду мыть...

И в это время радио заговорило.

— Говорит Москва,— произнесло оно,— говорит Москва. Передаем Указ Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 16 июля 1960 года. В связи с растущим благосостоянием...

Я оглянулся. Все спокойно стояли, вслушиваясь в раскатистый баритон диктора, только Лиля суежилась, как фотограф перед детьми, и делала приглашающие жесты в сторону репродуктора.

— ...навстречу пожеланиям широких масс трудящихся.

— Володя, дайте мне спички,— сказала Зоя. На нее шикнули. Она пожала плечами и, уронив в ладонь незажженную сигарету, отвернулась к окну.

— ...объявить воскресенье 10 августа 1960 года...

— Вот оно! — крикнула Лиля.

— ...Днем открытых убийств. В этот день всем гражданам Советского Союза, достигшим шестнадцатилетнего возраста, предоставляется право свободного умерщвления любых других граждан, за исключением лиц, упомянутых в пункте первом примечаний к настоящему Указу. Действие Указа вступает в силу 10 августа 1960 года в 6 часов 00 минут по московскому времени и прекращается в 24 часа 00 минут. Примечания. Пункт первый. Запрещается убийство: а) детей до 16 лет, б) одетых в форму военнослужащих и работников милиции и в) работников транспорта при исполнении служебных обязанностей. Пункт второй. Убийство, совершенное до или после указанного срока, равно как и убийство, совершенное с целью грабежа или являющееся результатом насилия над женщиной, будет рассматриваться как уголовное преступление и караться в соответствии с существующими законами. Москва. Кремль. Председатель Президиума Верховного...

Потом радио сказало:

— Передаем концерт легкой музыки...

Мы стояли и обалдело смотрели друг на друга.

— Странно,— сказал я,— очень странно. Непонятно, к чему бы это.

— Объяснят,— сказала Зоя.— Не может быть, чтобы в газетах не было разъяснений.

— Товарищи, это провокация! — Игорь заметался по комнате, разыскивая рубашку.— Это провокация. Это «Голос Америки», они на нашей волне передают!

Он запрыгал на одной ноге, натягивая брюки.

— Ох, извините! — Он выскочил на террасу и там застегнул ширинку. Никто не улыбнулся.

— «Голос Америки»? — задумчиво переспросил Володька.— Нет, это невозможно. Технически невозможно. Ведь сейчас,— он взглянул на часы,— половина десятого. Идут передачи. Если бы они работали на нашей волне, мы бы слышали и то и другое...

Мы снова вышли наружу. На террасах соседних дач появились полуодетые люди. Они сбивались группами, пожимали плечами и бестолково жестикулировали.

Зоя закурила, наконец, свою сигарету. Она села на ступеньку, упершись локтями в колени. Я смотрел на ее обтянутые купальником бедра, на грудь, наполовину открытую глубоким вырезом. Несмотря на полноту, она была очень хороша. Лучше всех остальных женщин. Лицо у нее, как всегда, было спокойным и немного сонным. За глаза ее называли Мадам Флегма.

Игорь стоял среди нас совершенно одетый, как миссионер среди полинезийцев. После категорического заявления Володьки о том, что сообщение по радио не могло быть фокусами заокеанских гангстеров, он присмирел. Видно, он уже жалел о том, что так решительно объявил передачу провокацией. Но, по-моему, он напрасно испугался: стукачей среди нас вроде не должно было быть.

— Отчего мы, собственно, всполошились? — бодро сказал он. — Зоя права: будут разъяснения. Толя, ты как думаешь?

— А черт его знает, — пробормотал я. — Еще почти месяц до этого самого, как его, Дня открытых...

Я осекся. Мы снова с недоумением уставились друг на друга.

— Ладно, — Игорь тряхнул головой. — Я думаю, что все связано с международной политикой.

— С президентскими выборами в Америке? Да, Игорек?

— Ох, Лилька, ты-то уж помолчала бы! Черт-те что несешь!

— Идемте купаться, — сказала Зоя, поднимаясь. — Толя, принеси мою резиновую шапочку.

Очевидно, вся эта неразбериха даже ее выбила из колеи, иначе бы она не назвала меня при всех на «ты». Но этого, кажется, никто не заметил.

Когда мы шли к речке, Володька нагнал меня, взял под руку и сказал, скорбно глядя своими библейскими глазами:

— Понимаешь, Толя, я думаю, здесь что-то насчет евреев замышляют...

## II

Ну кто бы смог, ну кто бы вынес,  
Когда бы не было для нас  
Торговли масками на вынос  
На каждый день, на каждый час!

Рядись лифтером и поэтом,  
Энтузиастом и хлыщом.  
Стучись в окошко за билетом,  
Ори! Но не забудь про этом,  
Что «Вход без масок воспрещен».  
*Илья Чур.* Билеты продаются.

Вот я пишу все это и думаю: а зачем мне, собственно, понадобилось делать эти записи? Опубликовать их у нас никогда не удастся, даже показать прочесть некому. Переправить за границу? Но, во-первых, это практически неосуществимо, а во-вторых, то, о чем я собираюсь писать, уже рассказано в сотнях зарубежных газет, по радио об этом день и ночь трещали; нет, у них там все это давно обсосано. Да, по правде говоря, это и не очень красиво — печататься в антисоветских изданиях.

Я притворяюсь. Я знаю, зачем я пишу. Я должен сам для себя уяснить, что же все-таки произошло. И главное, что произошло со мной? Вот я сижу за своим письменным столом. Мне тридцать пять лет. Я по-прежнему работаю в этом дурацком промышленном издательстве. Внешность моя не изменилась. Вкусы тоже. Так же, как и раньше, я люблю стихи, люблю выпить, люблю баб. И они меня, в общем, любят. Я в свое время был на войне. Убивал. Меня самого чуть не убили. Когда женщины вдруг притрагиваются к шраму на моем бедре, они отдергивают руку и вскрикивают шепотом: «Ой, что это у тебя?» — «Это ранение, — говорю я, — рубец от разрывной». — «Бедный, — говорят они, — это было очень больно?» В общем, все, как и раньше. Любой знакомый, любой приятель, сослуживец сказал бы: «Ну, Толька, ты совершенно не меняешься!» Но ведь я-то знаю, что этот день схватил меня за шиворот и ткнул в лицо самому себе! Я-то знаю, что мне пришлось знакомиться с собой заново!

И еще одно. Я не писатель. В юности писал стихи, да и сейчас могу — к случаю, написал несколько театральных рецензий — думал таким манером пробиться в литературу, но ничего не вышло. Но я все-таки пишу. Нет, я не графоман. Графоманы (я с ними часто встречаюсь по своей должности литсотрудника), графоманы уверены в собственной гениальности, а я знаю, что таланта у меня нет. Или, если есть, то небольшой. А писать очень хочется. Ведь что хорошо в моем положении, что приятно? Знаю заранее, что никто читать не будет, и могу писать безбоязненно все, что в голову придет! Захочу написать:

И черной Африкой роля  
По-негритянски зубы скалит —

и напишу. Никто меня ни в претенциозности, ни в колониализме не упрекает. Захочу написать о правительстве, что все они демагоги, лицемеры и вообще сволочи — и это напишу... Я могу позволить себе эту роскошь — быть коммунистом наедине с самим собой.

А если быть откровенным до конца, то я все-таки надеюсь, что у меня будут читатели — не сейчас, конечно, а через много-много лет, когда меня уже в живых не будет. В общем — «когда-нибудь монах трудолюбивый прочтет мой труд усердный, безымянный...» И думать об этом приятно.

Ну вот, теперь, когда я совершенно открылся перед моим предполагаемым, воображаемым читателем, можно и продолжать.

Веселья у нас в тот день так и не получилось. Острили скучно, играли без азарта, пить не стали совсем и разъехались рано.

В Москве на другой день я пошел на работу. Я заранее знал, что будет неминуемый треп об Указе, знал, кто будет высказываться, а кто помалкивать. Но, к удивлению моему, помалкивали почти все. Два-три человека, правда, спросили меня: «Ну, что вы обо всем этом думаете?» Я промямлил что-то вроде: «Не знаю... там видно будет...» — и на том разговоры прекратились.

Через день в «Известиях» появилась большая редакционная статья «Навстречу Дню открытых убийств». В ней очень мало говорилось о сути мероприятия, а повторялся обычный набор: «Растущее благосостояние — семимильными шагами — подлинный демократизм — только в нашей стране — все помыслы — впервые в истории — зримые черты — буржуазная пресса...» Еще сообщалось, что нельзя будет причинять ущерб народному достоянию, а потому запрещаются поджоги и взрывы. Кроме того, Указ не распространяется на заключенных. Ну, вот. Статью эту читали от корки до корки, никто по-прежнему ничего не понял, но все почему-то успокоились. Вероятно, самый стиль статьи — привычно-торжественный, буднично-высокопарный — внес успокоение. Ничего особенного: День артиллерии, День советской печати, День открытых убийств... Транспорт работает, милицию трогать не велено — значит, порядок будет. Все вошло в свою колею.

Так прошло недели полторы. И вот началось нечто такое, что трудно даже определить словом. Какое-то беспокойство, брожение, какое-то странное состояние. Нет, не подобрать выражения! В общем, все как-то засуетились, забегали. В метро, в кино, на улицах появились люди, которые подходили к другим и, заискивающе улыбаясь, начинали разговор о своих болезнях, о рыбной ловле, о качестве капроновых чулок — словом, о чем угодно. И если их не обрывали сразу и выслушивали, они долго жали собеседнику руку, благодарно и проникновенно глядя в глаза. А другие — особенно молодежь — стали крикливыми, нахальными, всяк выпендривался на свой лад; больше обычного пели на улицах и орали стихи, преимущественно Есенина. Да, кстати, насчет стихов. «Литература и жизнь» дала подборку стихотворений о предстоящем событии — Безыменского, Михалкова, Софронова и других. Сейчас, к сожалению, я не смог достать этот номер, сколько ни пытался, но кусок из софроновского стихотворения помню наизусть:

Гудели станки Ростсельмаша,  
Фабричные пели гудки,  
Великая партия наша  
Троцкистов брала за гудки.

Мне было в ту пору семнадцать,  
От зрелости был я далек,  
Я в людях не мог разобраться,  
Удар соразмерить не мог.

И, может, я пел тогда громче,  
Но не был спокоен и смел:  
Того, пожалев, не прикончил,  
Другого добить не сумел...

В совершенно астрономическом количестве появились анекдоты; Володька Маргулис бегал от одного приятеля к другому и, захлебываясь,

рассказывал их. Он же, выложив мне как-то весь свой запас, сообщил о том, что Игорь на каком-то собрании у себя в академии высказался в том смысле, что 10 августа есть результат мудрой политики нашей партии, что Указ еще раз свидетельствует о развертывании творческой инициативы народных масс — ну, и так далее, в обычном духе.

— Понимаешь, Толька,— сказал он,— хотя я и знал, что Игорь — карьерист и все такое, но этого я от него не ожидал.

— А почему? — спросил я.— А что тут особенного? Поручили выступить — он и выступил: был бы ты, как Игорь, членом партии, и ты бы высказывался на всю катушку.

— Я? Никогда! Во-первых, я ни за что не вступлю в партию, во-вторых...

— Во-первых, во-вторых, не ори. Чем ты лучше Игоря? А ты у себя в школе во время дела врачей не трепался о национализме?

Я сказал и сразу пожалел, что сказал. Это его большое место. Он простить себе не может, что на какое-то время тогда поверил газетам.

— Расскажи лучше, что у тебя с Нинкой,— сказал я примирительно.— Ты ее давно видел?

Володька оживился.

— Понимаешь, Толя, трудно я люблю,— сказал он,— трудно. Я ей вчера позвонил, говорю, что хочу ее видеть, а она отвечает...

И Володька принялся подробно рассказывать, что она ему ответила, что он ей, сказал, что они оба сказали.

— Понимаешь, Толя, ты же меня знаешь, я человек не сентиментальный, но тогда я чуть не заревел...

Я слушал его и думал о том, как люди умудряются создавать проблемы на пустом месте. Володька женат, у него двое детей, он преподает литературу в школе, лучший методист района и в общем-то умный парень. Но его романы! Конечно, жена у него халда, спору нет, от такой жены на любую бабу кидайся. Ну и кидайся на здоровье. А к чему эти переживания, страсти африканские, весь этот провинциальный гамлетизм? И слова-то какие: «нравственные обязательства», «душевная раздвоенность», «она в меня верит»... Кстати, «она в меня верит» говорится и о жене, и об очередной пассивности. Нет, я на все это проще смотрю. С самого начала не нужно никакой игры, никакой дипломатии, никаких обязательств, чтобы все было честно. Нравимся друг другу? Отлично. Хотим друг друга? Превосходно. Чего еще надо? А-а, супружеская измена, адюльтерчик! Ну и что? Я, если женюсь, не буду терзаться Володькиными проблемами, я просто буду сообщать заранее: «Я, знаете ли, женат, разводиться не собираюсь, а вот вы мне здорово нравитесь. Подходит это вам? Чудесно, где и когда мы встретимся? Не подходит? Очень жаль, до свиданья, подумайте все-таки...» Вот так. Ну, разумеется, не так примитивно. И по-моему, это гораздо лучше, чем трепаться о несходстве духовных запросов между тобой и твоей женой, о том, что, «конечно, я свою

жену уважаю, но...» Я еще ни одной женщины не обидел всерьез, а все потому, что не разрешал им строить иллюзий на свой счет...

Володька поговорил еще с полчаса о своей трудной любви и ушел. Я проводил его, но он тут же позвонил, просунул голову в приоткрывшуюся дверь и сказал шепотом, чтобы соседи не услышали:

— Толя, а если 10 августа будет еврейский погром, я буду драться. Это им не Бабий Яр, не тракторный завод. Я их, гадов, стрелять буду. Вот, смотри!

И он, распахнув пиджак, показал высунувшуюся из внутреннего кармана рукоять офицерского ТТ, сбереженного им с военных лет.

— Они меня задешево не возьмут...

Когда он окончательно ушел, я долго стоял посреди комнаты. Кто «они»?

### III

Нет, Алкиной, ты не прав: есть бесконечность в природе.  
Служит примером тому глупость и подлость людей.  
*Кирилл Замойский.* Опыты и поучения.

— Ах, Толя, вы просто не хотите рассуждать всерьез! Вы поймите такую простую вещь...

Мой сосед по квартире намыливал мочалкой грязную посуду; брюхо, поросшее седыми волосами, туго обтянутое сеткой, выпирало из штанов, ложилось на край раковины. Он ужасно горячился, хотя я ни словом не возражал ему.

— ...Нет, нет, поймите меня правильно! кто-кто, а уж я-то не поклонник газетных штампов. Но факты есть факты, и надо смотреть им в глаза... Сознательность-то действительно выросла! Эрго: государство вправе поставить широкий эксперимент, вправе передать отдельные свои функции в руки народа! Вы посмотрите — бригады содействия милиции, комсомольские патрули, народные дружины по охране общественного порядка — это же факт! И факт многозначительный. Разумеется, и у них случаются ошибки, так сказать, ляпсусы, — узкие брюки порезали, девиц каких-то обстригли — так ведь без этого не бывает! Издержки производства! Лес рубят! И теперешний Указ это не что иное, как логическое продолжение уже начавшегося процесса — процесса демократизации. Демократизации — чего? Демократизации органов исполнительной власти. Идеал же, поймите меня правильно, — постепенное растворение исполнительной власти в широких народных массах, в самых, так сказать, низах. То есть не в низах, я не так выразился, какие у нас низы, ну, вы меня понимаете... И поверьте моему слову, слову старого юриста — передо мной сотни, тысячи, десятки тысяч людей прошли, — поверьте моему слову: народ в первую очередь сведет счеты с хулиганами, с тунеядцами, с отбросами общества... Да-да, помните, как у Толстого: «Всем миром навалиться

хотят! Один конец сделать хотят!» Вот именно, Толя, — «всем миром», общиной, так сказать, «обществом», по-русски...

Я с нетерпением ждал, когда он выронит скользкую тарелку, и он, наконец, кочнул ее. На шум выплыла из комнаты его жена, неодобрительно посмотрела на осколки и на меня и сказала ровным голосом:

— Петр, иди в комнату.

«Мало тебя, дурака, в лагере держали», — подумал я вслед ему и пошел открывать на звонок.

Вошла Зоя.

Мы прошли в мою комнату, и Зоя, облегченно вздохнув, сбросила туфли. Я люблю смотреть, как женщины снимают туфли, меняется форма ноги, линия сразу становится интимной, домашней, какой-то простодушной.

— Ты в белых тапочках, — сказал я, указывая на ее незагорелые ступни. — Покажи, где ты еще белая.

— Я хотела с тобой поговорить, — ответила она, — ну, ладно, потом...

Я обнял ее.

— Запри дверь, — сказала она.

...Мы лежали рядом, чуть отодвинувшись друг от друга. Кожа у Зои была прохладной, несмотря на жару; ее светло-коричневое тело было трижды опоясано белыми лентами: на груди, на бедрах и на ступнях. Она лежала рядом со мной, свободно и бесстыдно раскинувшись, прекрасная и сверкающая, как клоун на манеже, и я чувствовал, что очень люблю ее. И мне хотелось так же свободно и бесстыдно подмигнуть кому-то, какому-то воображаемому наблюдателю и, может быть, соучастнику и сказать ему: «Посмотри, дружище, какая мне женщина досталась!» Я лежал и думал, что, вероятно, происходящее между нами и называется жизнью: борьба, завоевание, взаимная капитуляция, утверждение и яростное отрицание, пронзительное ощущение себя и полное растворение отчуждения и слияния — все вместе, все одновременно. И мне было в эту минуту безразлично, что она замужем, что этой умной, покорной, постоянно ждущей плотью владею не я один, что у нее есть муж, ласкающий ее на законных основаниях, что через месяц вернется с курорта моя сестра, и Зоя уже не сможет приходить ко мне, что нам снова придется, как бездомным котам, лазать по всяким чердакам и подъездам, что снова я буду удивляться и даже чуть-чуть шокироваться ее способностью отдаваться в самых неподходящих условиях, и я снова буду ей за это очень благодарен, и сейчас мне было безразлично все это. Я лежал и ждал, когда она заговорит.

И она заговорила.

— Толя, — сказала она. — Скоро День открытых убийств.

Она произнесла эти слова очень просто и деловито, как если бы сказала: «Скоро Новый год», или: «Скоро майские праздники».

— Ну и что же? — спросил я. — Какое это к нам имеет отношение?



— Разве тебе не надоело прятаться? — спросила она. — Ведь мы можем все переменить.

— Я не понимаю, — пробормотал я. Но я врал, — я уже все понял.

— Давай убьем Павлика.

Она так и сказала: «Павлика». Не «мужа», не «Павла», а именно «Павлика». Я почувствовал, как у меня деревенеют губы.

— Зоя, ты в своем уме? Что ты говоришь?

Зоя медленно повернула голову и потерлась щекой о мое плечо.

— Толинька, не волнуйся только, ты только подумай спокойно. Ведь другого такого случая не будет. Я уже все обдумала. Ты придешь к нам накануне. Скажешь, что хочешь провести этот день у нас. Ведь мы с Павликом решили никуда не выходить, и мы это сделаем вдвоем с тобой. А потом ты переедешь ко мне. И мы поженимся. Я бы не стала тебя впутывать в это, я бы сама все сделала, но я просто боюсь не справиться.

Она говорила, а я лежал и слушал, и каждое ее слово, как мгновенное удушье, хватало меня за горло.

— Толя, ну что же ты молчишь?

Я прокашлялся и сказал:

— Уходи.

Она не поняла.

— Куда?

— К черту, — сказал я.

Зоя несколько секунд смотрела мне в глаза, потом встала и начала одеваться. Она надела лифчик, потом трусики, потом комбинашку. Я следил за тем, как она скрывается под одеждой. Она накинула платье, сунула ноги в туфли и стала причесываться.

Причесавшись, она взяла сумочку и отперла дверь. На пороге обернулась и сказала негромко:

— Слякоть.

И ушла. Я слышал, как шелкнул замок входной двери.

Я встал и оделся. Я аккуратно застелил развороченную постель. Я пошел в комнату. Я сделал много движений, сосредоточиваясь на каждом из них. Мне очень не хотелось думать.

#### IV

Я их ненавижу до спазм,  
До клекота в горле, до дрожи;  
О, если собрать бы да разом  
Всех этих блядей уничтожить!..  
*Георгий Болотин. Трубы времени.*

А думать все-таки пришлось. Может быть, это глупо, но больше всего меня ошеломило брошенное Зоей словечко «слякоть»: ведь я не трус, я это знаю, я убедился в этом и на фронте, да и после войны бывали всякие случаи.

А Зоя решила, что я трусил. Да нет, какая там трусость, просто это же дико: взять и убить Павлика, безропотного, кроткого, ничего не замечающего Павлика. Ну да, мы обманывали его; если бы он узнал о нашей связи, он бы, конечно, страдал; мы пили на его деньги, мы смеялись над ним в глаза и за глаза; все это так — но убить? За что? и зачем? Ведь если на то пошло, если дело только в том, чтобы выйти за меня замуж, то она могла бы и развестись?! Значит, убийство — не просто средство избавиться от нелюбимого, глуповатого и пожилого мужа? Значит, для нее в убийстве есть какой-то непонятный для меня смысл? Может быть, она его ненавидит, мстит? Ну, конечно, она мстит за то, что в свое время, в девятнадцать лет, влюбилась в него, а он только и умеет, что говорить: «Техника на грани фантастики», «Ключ от квартиры, где деньги лежат» — да рассказывать еврейские и армянские анекдоты... Она не в состоянии не ненавидеть его. Ну, конечно, если ненавидит, то может и убить. Это-то я понимаю. Ненависть дает право на убийство. Ненавидя, я и сам могу... Могу? Ну, разумеется, могу. Безусловно, могу. Кого я ненавижу? Кого я ненавижу за всю свою жизнь? Ну, школьные годы не в счет, а вот взрослые? Институт. Я ненавидел одного из преподавателей, который четыре раза подряд нарочно срезал меня на зачете. Ну, ладно, черт с ним, это было давно. Начальство разных мастей, с которым мне довелось работать. Да, это были подлецы. Они изрядно попортили мне кровь. Морду бы им набить, сволочам. Кто еще? Писатель К., пишущий черносотенные романы. Да, да, я помню, как я говорил, что убил бы его, если бы знал, что мне за это ничего не будет. О, его, мерзавца, стоило бы проучить! Да так, чтоб он больше никогда к перу не прикоснулся... Ну а эти, толстомордые, заседающие и восседающие, вершители судеб, наши вожди и учителя, верные сыны народа, принимающие приветственные телеграммы от колхозников Рязанской области, от металлургов Криворожья, от императора Эфиопии, от съезда учителей, от президента Соединенных Штатов, от персонала общественных уборных? Лучшие друзья советских физкультурников, литераторов, текстильщиков, дальтоников и умалишенных? Как с ними быть? Неужто простить? А тридцать седьмой год? А послевоенное безумие, когда страна, осатанев, билась в падучей, кликушествовала, пожирая самое себя? Они думают, что если они наклали на могилу Усатому, так с них и взятки гладки? Нет, нет, нет, с ними надо иначе; ты еще помнишь, как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь — бросок вперед. На бегу — от живота, веером. Очередь. Очередь. Очередь... Вот они лежат, искромсанные взрывом, изрешеченные пулями. Скользко: ноги скользят. Кто это? Ползет, волоча за собой кишки по паркету, усыпанному штукатуркой. А, это тот, обвешанный орденами, который сопровождает Главного в поездках! А почему он такой худой? Почему на нем ватник? Я его уже видел один раз, как он полз по грейдеру, вывалив в пыль синеву и красноту своего живота. А эти? я их видел? Только тогда на них были

пояса с надписью «Готт мит унс» на пряжках, фуражках с красными звездами, сапоги с низким подъемом, прямой наводкой, обмоткой, пилоткой, русские, немцы, грузины, румыны, еврей, венгры, бушлаты, плакаты, санбаты, лопаты, по трупу прошел студебеккер, два студебеккера, восемь студебеккеров, сорок студебеккеров, и ты так же будешь лежать, распластанный, как лягушка,— все это уже было!..

Я встал с постели, подошел к окну и вытер занавеской залитое потом лицо. Потом я пошел на кухню, умылся над раковиной и надел пиджак. Дома я больше оставаться не мог.

Я шел по улице, раскаленной августовским солнцем; навстречу мне шли домохозяйки с авоськами, мальчишки оглушительно жужжали подшипниками самокатов, потные пожилые мужчины брели по тротуару, останавливаясь возле каждого киоска с газировкой. Я вышел на угол Арбата и Смоленской площади и остановился. Хорошо бы в гости к кому-нибудь. К кому? Лето, все на дачах. А кто не на даче, тот наверняка в Серебряном бору или еще где-нибудь, где купаются. И хорошо бы выпить. Я вспомнил, что недалеко по дороге к Киевскому вокзалу живет Саша Чупров, художник, мой приятель. Если я даже не застану его дома, я все равно посижу там: дверь его комнаты никогда не запиралась.

Я зашел в угловой гастроном и побрел по залам, отыскивая винный отдел. Я подходил к прилавкам и смотрел, как работают продавцы. В своей магазинной униформе они были все похожи друг на друга, но держались по-разному: деловито и солидно в колбасном отделе, равнодушно и надменно во фруктовом, кокетливо и услужливо в кондитерском, бестолково и суматошно в бакалее. В винном отделе, до которого, наконец, я добрался, они были снисходительны и чуточку фамильярны. Я стоял и разглядывал вертушку с бутылками, конусом возвышающуюся возле колонны. Здесь хранились эмоции. Разлитые по бутылкам, прихлопнутые сверху сургучом, они были снабжены случайными этикетками: «Коньяк», «Столичная», «Гурджаани»; а на самом деле туда загнали меланхолию, веселье, необузданный гнев, трогательную доверчивость, обидчивость и отвагу. Эмоции ждали своей поры. Они должны были выйти на свет из своих стеклянных тюрем, услышать глупые напутственные тосты и взыграть в руках, сдерживающих скатерти, в нечаянно целующихся губах, в легких, набирающих побольше воздуха, чтобы достойно исполнить «Подмосковные вечера». «Время работает на нас,— думали они, разноцветно поблескивая в свете электричества,— наше дело правое, будет и на нашей улице праздник...»

Я купил бутылку коньяку (грузинского, на лучший у меня не хватило), лимон и вышел из магазина.

Чупров оказался дома.

— А, это ты, старик,— мрачно сказал он.— Заходи...

Просторная и светлая комната была невероятно захлавлена. На полу валялся раскрытый этюдник, на столе, под столом, на подоконнике ле-

жали рулоны бумаги. Сам хозяин, одетый, ворочался на постели, при-  
страивая ноги на спинку кровати.

— Что с тобой? — спросил я.

— Сволочи, — ответил он. — Работал, работал, а все псу под хвост.

— А что ты работал?

— Известно что — плакаты.

Чупров писал левые плакаты и был известен в либеральных кругах как новатор. Но продавать полотна, отмеченные тлетворным влиянием Запада, было некому, с иностранцами он связываться боялся, а жрать надо было. Поэтому он делал плакаты: девушек с просветленными лицами на фоне кремлевских стен, шахтеров в полной подземной амуниции, шагающих уверенной поступью к светлому будущему, молодых инженеров в комбинезонах с кронциркулем в нагрудном кармане и с «Историей КПСС» под мышкой. Платили ему здорово, хотя и нерегулярно.

— Что, не приняли работу? — спросил я. — У тебя что же, договора не было?

— В том-то и штука, что не было. Я думал, им выбирать будет не из чего, ну, и решил рискнуть ради такого случая. Лево сделал, в своей свободной манере. Соображаешь? Приношу, а там...

— Погоди, ради какого случая?

— Ты что, с луны свалился? Ради Дня открытых убийств. Без плакатов небось не обойдутся. Да ты слушай, не перебивай. Приношу, значит, я, а шеф — он же рутинер, академик, ермолки только не хватает. «Вы, — говорит, — Чупров, не по адресу обратились; такая, — говорит, — продукция для «Лайфа», может быть, и подходит, а для нас не годится». И пошел, и пошел: «...событие в жизни страны... партия нас ориентирует... большие идеи требуют четкого воплощения... чтобы вдохновляло... чтоб звало... вот, смотрите...» И показывает мне плакат Артемьева и Кравца. Ну, поверишь, старик, смотреть не на что! Это я говорю не потому, что мой плакат отвергли, а их приняли, ты же знаешь, как я отношусь к этой работе. Это для меня кормушка, не больше. Но ведь совесть-то надо иметь! Если делаешь, так делай по-настоящему! Не халтуры! Жми! А они, говнюки, намалевали какие-то манекены — не разберешь, где живые, где мертвые, — башенный кран на заднем плане лягнули — и готово, радуйтесь, красочный плакат! И, в конце концов, наплевать мне на деньги, я на Первом мая достаточно отхватил, но жалко труда, и-д-е-й жалко! Когда, наконец, у нас поймут, что теперь середина XX века, что искусство должно двигаться на новых... на новых... м-м-м, скоростях, что ли!

Чупров выпалил все это залпом и матюкнулся: пепел сигареты, обломившись, упал на подушку.

— Слушай, Саша, — осторожно сказал я, — а этот твой неприятный плакат... Можно на него взглянуть?

— Отчего же нет? Гляди — вон он, у стены.

Я расчистил свободное место на полу и развернул рулон.

На фоне огромного, не то восходящего, не то заходящего солнца стояли условные юноша и девушка; солнце било им в спину, и красные тени их фигур ложились поперек плаката; внизу слева тени сливались с красно-черной лужей, омывавшей угол условного дома; в нижнем правом углу лежал, вздернув колени и раскинув руки, труп.

— Ну, как? — спросил Саша.

Я подумал и сказал:

— Масса экспрессии.

Я ничем не рисковал: мне было доподлинно известно, что Саша никогда не читал Хаксли.

— Правда? — Саша просиял.

— Да, — продолжал я, — но мне кажется, что труп слишком кричит.

Саша живо соскочил с постели и, оттопырив губу, посмотрел на свою работу.

— Пожалуй, ты прав, старик, — сказал он. — И знаешь, отчего это? Мне бы следовало сделать это поусловнее, не таким реалистическим, не таким настоящим, что ли...

Мы пили коньяк; Саша рассказывал о своих занятиях, я слушал и думал о том, что во всем виновата Зоя, что, если бы не она, я бы и думать не стал об этом проклятом Дне убийств. Какое мне дело до него? Какого черта... Да пропади они пропадом! А Зойка — сука. Надо Павлику сказать. Нет, теперь уже не надо. Теперь, когда я отказался, она побоится. Сука, убийца. Все было так хорошо, нам было так хорошо, а теперь я больше к ней не прикоснусь. Да она и сама не даст. Из-за нее, это из-за нее я должен сидеть тут и слушать пьяные излияния Чупрова. Левый, новатор! Завтра объявят День педераста, и он сразу за кисти схватится. Будет вычерчивать рост гомосексуализма по сравнению с 1913 годом. Я больше не хочу никого убивать. Не хо-чу!

— Чего ты не хочешь? — спросил Чупров.

— Пить я больше не хочу.

— Больше и пить-то нечего. А почему это ты пить не хочешь? В самый раз. Погоди, я сбегаю за бутылкой... Или вот что: хочешь, я тебя с одним человеком познакомлю, со стариком, хочешь? У-у, какой старик! Он стихи пишет. Пошли, пошли, благодарить будешь, ты таких не видал никогда.

— Пошли!

Я встал, меня качнуло.

— Пошли, Саша! Пошли, Александр Чупров! Пошли, гениальный художник. Он тоже гениальный? Он все объяснит?

— Все! Он все может объяснить — он официант!

Они в любом подъезде залегли,  
 Они струятся запахом карболки,  
 Они в траве, растущей из земли,  
 В старинных книгах, дремлющих на полке.

Повсюду слышен шепот неживой,  
 И злой конец таит любая фраза.  
 Они в воде, текущей в душевой,  
 И в сиплом бормотанье унитаз.

*Георгий Болотин.* Дьяволы смерти.

Пока мы покупали водку, ловили такси и ехали куда-то к Даниловскому рынку, я успел немного протрезвиться. «А зачем и куда я еду? — подумал я.— На кой ляд мне этот старик? А впрочем...» Впрочем, воскресенье надо было как-то заканчивать. Старик так старик. Подумаешь, великое дело: с женщиной расстался. С любовницей разошелся. С бабой расплевался. Старик так старик.

Саша остановил машину и расплатился.

— Ты посиди тут, а я пойду узнаю, можно ли к нему. Я — мигом...

Я улегся на скамейку бульвара и закурил. За спиной дребезжали трамваи. По дорожкам молодые отцы возили в колясках младенцев. Надраенные солдаты гуляли с девушками, чинно-благородно вели беседу и не лапали — было еще светло. Я поднял глаза.

Новые восьми-девятиэтажные дома стояли разомкнутым строем параллельно бульвару; их светлые кирпичные лица с чисто промытыми глазами доброжелательно и обнадеживающе глядели на молоденькую зелень посадок. Но в разрывы этого парадного оптимизма упорно, с мрачным сознанием собственного превосходства, уставились серые здания тридцатых годов. Поставленные углами к бульвару, клиноподобным строем, немецкой «свиньей», они, не трогаясь с места, все же надвигались из глубины дворов. И такая уверенность в своей правоте чувствовалась в них, такая непоколебимая верность идее, что казалось: восстань только из гроба Збдчий, породивший их, протяни он указующую длань — и серые утюги двинутся вперед, сметая картонную мишуру новостроек, ровняя с асфальтом автоматические лифты, финскую мебель, двухтомники Хемингуэя и фиги в карманах модных брюк.

Чупров появился около меня внезапно, словно из-под земли выскочил.

— Айда,— сказал он.— Маэстро дома.

Я пошел за ним, толкаясь грудью о бутылки, засунутые во внутренние карманы пиджака.

В чистой, вылизанной до блеска однокомнатной квартирке нас встретил маленький старичок с шевелящимися бровями. На нем поверх трикотажных спортивных брюк была надета старомодная пижама со шнурами, похожая на гусарскую куртку; из-под пижамы выглядывала черная косоворотка с белыми, как на баяне, пуговками.

— Прошу,— сказал он.— Очень приятно. Арбатов, Геннадий Васильевич. А вас как прикажете величать? А по бабушке? Анатолий Николаевич. Очень приятно. Проходите, садитесь, не обессудьте за беспорядок: хостяцкую жизнь веду, супруга на даче пребывать изволят.

Мы прошли в большую продолговатую комнату; мебель была новая, ухоженная, скатерть на диване-кровати, как горох, мал мала меньше лежали подушки. Одна стена была наглухо затянута серым занавесом.

— Вот, Геннадий Васильич, друг мой Толя очень интересуется вашими стихами,— сказал Чупров.— Вы почитаете нам?

— Экой вы, Сашенька, скорый. Все торопитесь, все спешите. А позволительно спросить, куда? Всею свой черед. Не гоните быстролетное время, успеете. Вот мы выпьем водочки с Анатолием Николаевичем, посудачим о том о сем, обнюхаемся, как муравьишки,— усиками. А там и до стихов рукой подать. «Стишок — отрада для кишок», как говаривал один мой добрый приятель. Как вы, Анатолий Николаич, согласны со мной?

— Да не называйте вы его Анатолием Николаевичем! Толя — и все!

— Нет, любезный мой Сашенька, не могу-с! Мы с молодым человеком первый раз встретились, пуд соли не съели. Все принимаю в нынешней жизни, все приветствую и, как говорится, поздравляю, а вот с новомодной привычкой, этой привычкой не величать — согласиться никак не могу. Меня, ежели угодно, с пятнадцати лет Геннадием Васильевичем звали. И правильно! Ибо уважительное обращение человека возносит, приподнимает, так сказать, над грешной землей. Как вы считаете, Анатолий Николаевич?

— Да как вам удобнее будет,— сказал я.— Хоть горшком назови...

— ...только в печку не ставь,— закончил старик. Он говорил, а сам быстро и аккуратно накрывал на стол. Рюмки, вилки, тарелочки, редис, огурцы, нарезанный хлеб, колбаса возникали на столе со сказочной быстротой. И так же быстро, как заученные, сыпались из него слова — округлые, уютные и старомодные, как вилки с костяными черенками. Он разлил водку по рюмкам, и мы выпили.

— Да, насчет горшка и печи вы правильно заметили, Анатолий Николаич. А между прочим, обратное явление наблюдается: один другого так и норовит и горшком обозвать, и в печку сунуть — на уголечки, на жарок...

— Люди — звери,— мрачно сказал Чупров. Он, очевидно, вспомнил непринятый плакат.

— Напрасно, Сашенька. Напрасно зверей обижаете. Не изволили замечать, о чем люди в благодушном настроении охотнее всего рассуждают? О зверях, о зверушечках. А почему? А потому, что они всем милы. О книжках, скажем, о картинках, о статуях разных — обо всем спорят. О политике, само собой. А о зверях и спорить нечего. Вот в журнале весной этой прочел я статейку с фотографиями про зоопарки разных государств, ди-

ректор Московского зоопарка написал — и приятно-с. Казалось бы, какая мне корысть, что в Италии чепрачный тапиренок народился? А читаю — и сердце радуется. И все так-то. Скоро звери единственным связующим звеном, единственной точкой соприкосновения между людьми будут. Звери, молодые люди, — это не просто животные, это — носители, хранилища духовного начала!

Я невольно вскинул голову от тарелки — так несходны были эти последние фразы со всей его предыдущей речью — со «статúями», «народился», «изволили замечать». Старик увидел мое движение и остановился. Саша немедленно ворвался в паузу:

— Выпьем за тапиренка! Как его — чепрачный? За чепрачного тапиренка! Ура!

Мы выпили по несколько рюмок подряд. Старик быстро хмелел, и чем больше он хмелел, тем чище, тем интеллигентнее становилась его речь. Он уже больше не употреблял слова-ер. Заложив нога на ногу, вертя головой от Саши ко мне, он, понизив голос, быстро и очень внятно говорил:

— Никто из нас не знает, что скрыто в душе у другого. К примеру, наш с вами откровенный разговор — есть не что иное, как безумие, самоубийственное срывание одежд. Но если вы сорвете на улице одежду в буквальном смысле слова — вас отведут в милицию, оштрафуют, общественное порицание вынесут — и только! А откровенность, срывание одежд душевных — недопустимо! Как знать, а вдруг какое-то мое слово, какая-то идея уязвит вас в самое сокровенное, самое больное место, вопьется настолько сильно, что вырвать эту ядовитую занозу можно только ценой жизни моей?! И вы ринетесь убивать меня — спасти себя! А кто и что может воспрепятствовать вам? Или любому, другому, третьему? Кто из нас знает, сколько весит вражда, которую кто-то испытывает к нам? И чем она вызвана? Неловким словом, манерой закусывать, формой носа? Кстати, — он повернулся ко мне, — вы не еврей?

— Нет, — ответил я, трогая нос. — А что, похож?

— Да, есть что-то. Вот они, евреи, — мудрый народ. Они живут в страхе. И не в страхе Божием, а в страхе людском. Они каждого рассматривают как возможного врага. И правильно делают. Что может быть страшнее человека? Зверь убивает, чтобы насытиться. Ему — зверю — наплевать на честолюбие, на жажду власти, на карьеру. Он не завистлив! А вот мы — можем ли знать, кто жаждет нашей смерти, кого мы, сами не зная о том, обидели? Обидели самым существованием своим? Ничего мы не знаем...

— Звери из-за самок насмерть дерутся, — сказал Саша.

Геннадий Васильевич двинул бровями:

— Это статья особая. Это — инстинкт продолжения рода. В зверях есть мудрость и простота: они не влюбляются. А вот человеку влюбиться — и он готов на любую подлость, на любое преступление. Недаром римляне говорили: «Фемина — море аниме» — «Женщина — смерть души». Но я



не об этом. Я спрашиваю вас, Саша, и вас, Анатолий: вы уверены, что среди ваших знакомых и друзей нету таких, которые могут вас убить? Я о себе скажу, что не уверен! А смерть... вы молоды, вы о ней не думали, а я — старик. Я лежу ночью вот на этом самом диване — посмотрите на него, у него деревянная спинка — ворочаюсь с боку на бок, толкнувшись локтем о дерево и сразу: «Вот так будет и в гробу — дерево рядом, дерево сверху, дерево, дерево!..»

Он перевел дух, голова его чуть заметно тряслась.

— И ничего нельзя предусмотреть. Ничто не поможет: ни осторожность, ни одиночество — ничто! И напрасно они спорят, толкуют, суетятся...

— Кто «они», Геннадий Васильевич? — спросил я.

— Эти вот — шелкоперы, — устало ответил старик.

Он встал, качаясь, и отдернул серую занавеску: вдоль всей стены протянулись стеллажи с книгами. Пестрые, переплетенные в цветистые ситцы писатели ворвались в комнату, как татарская орда, в клочья разорвав видимость благополучия, обманчивое спокойствие мещанского уюта, а с ними — скрипучие, громоздкие арбы философских систем, кривые зеркала сабель самоанализа, тупые тараны вселенского пессимизма, жеребцы цивилизации с желтой пеной человеконенавистничества на оскаленных мордах, вдребезги, всмятку, в лепешку топчущие седебородых евангелистов, воздевающих к равнодушному потолку распадающиеся в атомную пыль заповеди...

— Все друг друга в ложке воды утопить готовы, — вздохнул Чупров, разливая остатки водки.

...Мы шли с Чупровым по пустым улицам. На перекрестках маячили постовые, во всю силу горели неоновые вывески продмагов, каблуки резво и звучно стучали по тротуару, но даже этот стук, обычно так нравящийся мне, сейчас не радовал. До Дня открытых убийств оставалась ровно неделя.

## VI

Восстать — не посметь, уйти — не суметь,  
И все одинаково, право:  
Что выйдет солдату — бесславная смерть  
Или бессмертная слава.

*Г. Болотин. Привал.*

Я перестал ходить на работу. Я позвонил в редакцию, сказал, что болен. Я валялся на постели, слонялся по комнате и часами рисовал профили на оберточной бумаге, в которой приносил из магазина колбасу.

За все время у меня был только Володька Маргулис, который сразу, как пришел, задал мне дурацкий вопрос: «Зачем им все-таки понадобился этот Указ?» «Им» — это правительству. Я промолчал, и он, обрадовавшись,

что я никаких своих суждений не имею, стал объяснять мне, что вся эта чертовщина неизбежна, что она лежит в самой сути учения о социализме.

— Почему? — спросил я.

— А как же? Все правильно: они должны были легализовать убийство, сделать его обычным явлением, потому и не объясняют ничего. Раньше объясняли, агитировали.

— Ты чушь порешь! Когда?

— В революцию.

— Ну, это ты загнул. Революция не так и не для того делалась.

— А тридцать седьмой год?

— Что тридцать седьмой?

— То же самое. Полная свобода умерщвления. Только тогда был соус, а сейчас безо всего. Убивайте — и баста! И потом, тогда к услугам убийц был целый аппарат, огромные штаты, а сейчас — извольте сами. На самообслуживании.

— Ох, Володька, хватит! Твои антисоветские монологи перестали быть остроумными.

— А ты что, обиделся за Советскую власть? Ты считаешь, что за нее следует заступаться?

— За настоящую Советскую — конечно, следует.

— Это которая без коммунистов? Как у Шолохова в «Тихом Доне»?

— Иди к черту!

— Оччень убедительный ответ! — съязвил Володька. — А ты...

— Хватит, — сказал я.

Мы помолчали, а потом он, обиженный, ушел.

Я снова лег на постель и начал думать. Почему и зачем издан этот Указ — это мне все равно. И нечего подводить под это научную базу и трепаться о революции. Я этого не люблю. Мой отец в гражданскую комиссарил, и, я думаю, он знал, за что воевал. Я его плохо помню — его взяли в тридцать шестом, одним из первых, — но после смерти матери я нашел его письма. Я их прочел, и, по-моему, люди моего поколения не имеют права болтать о тех временах. Мы можем и должны решать каждый за себя. Это все, что нам осталось, все, что мы в состоянии сделать, но и этого много. Слишком много.

Этот самый Арбатов, старик с Даниловского бульвара, разбередил меня. Да, я не хочу и не могу убивать, но могут захотеть и смочь другие. И объектом их усердия могу сделаться я — я, Анатолий Карцев! Я снова, как в день последнего свидания с Зоей, перебирал своих врагов. Этот не может. Этот хотел бы, но струсит. Этот может — камнем, кирпичом из-за угла. Кто еще? Этот? Нет, он мне не враг. Не враг? А откуда я знаю? А может, и враг! И потом, почему убить меня могут только враги? Любой прохожий, любой пьяный, сумасшедший дурак может выстрелить мне в лицо, чтобы полюбоваться, как я дрыгаю ногами. Как я истекаю жизнью на асфальте. Как я заостряюсь носом, проваливаюсь щеками, отвисаю

челюстью. Как через дырку в черепе уходят мои глаза, мои руки, мои слова, мое молчание, мое море, мой песок, мои женщины, мои неуклюжие стихи...

К черту! К чертовой матери! Я не могу позволить им убить себя. Я должен жить. Я спрячусь, забаррикадируюсь, я пересажу у себя в комнате. Я не хочу умирать. Не хо-чу! Живые сраму не имут. Лучше живая собака...

Стоп! Надо взять себя в руки. Надо успокоиться. Лучше живая собака. Я накануне куплю еды и в воскресенье не буду выходить совсем. Я буду лежать на постели и читать Анатоля Франса. Я очень люблю Анатоля Франса. «Остров пингвинов», «Восстание ангелов». Есть еще «Анатоль Франс в халате». Когда мне случалось ночевать у Зои, она надевала на меня халат Павлика и безумно веселилась. Тогда я не понимал, чему она так радуется, а теперь понимаю. Она думала, что овдовела и вышла за меня замуж. Интересно, каким способом она собиралась убить Павлика? Пересидеть воскресенье. Соседи тоже будут пересидивать. Конечно, могут ворваться в квартиру. Надо укрепить входную дверь. Украсть внизу на стройке лом и заложить дверь. Ломом по голове. Если они ворвутся, я их буду бить ломом, как собак. Лучше живая собака. Недавно я был на собачьей выставке. Мне очень понравились борзые — с головами узкими и длинными, как дуэльные пистолеты. А на дуэли я смог бы драться? Пуля Пушкина попала Дантесу в пуговицу. Если я буду выходить в воскресенье, надо положить портсигар во внутренний карман пиджака, слева, где сердце. «Слева, где сердце» — это роман Леонгарда Франка, очень скучный. А Бруно Франк — это совсем другое, он написал книгу о Сервантесе. А что делал бы Дон Кихот 10 августа? Он ездил бы по Москве на своем Россинанте и за всех заступался бы. На своем персональном Россинанте. Чудак с медным тазом на голове, он проехал бы по Красной площади, готовый преломить копьё во имя Прекрасной Дамы, во имя России. Бедный рыцарь, на московских мостовых 1960 года он искал бы своего друга, своего единомышленника — украинского хлопца, пропевшего когда-то песню о Гренаде. Но заложены булыжником следы боевых коней, и ямки, выбитые в земле дровками полковых знамен, залиты асфальтом. Никого он не найдет, фантазер из Ламанчи, ни-ко-го! Уж это я точно знаю. Где они — те, что пошли бы за Дон Кихотом? Чупров? Маргулис? Игорь? Нет, нет, если они и будут драться, то только каждый за себя. Каждый за себя будет драться, каждый за себя будет решать. Постой, постой, кто это недавно говорил: «Мы должны решать каждый за себя»? А-а, это я сам говорил, я сам к этому пришел. Так чего же я взялся судить других? Чем они хуже меня? Чем я лучше их?

Я вскочил с постели и с отвращением уставился на подушку, сохранившую вмятину от моей головы. Это я там лежал? Это я запасался жратвой и закладывал двери ломом? Это я трясся, как последняя тварь, за свою драгоценную шкуру? Так чего же я стою со всем своим великолепным пафосом разоблачения, презрения, со своей вонючей сторонней позицией?

Понтий Пилат, предающий ежедневно свою собственную душу,— чего я стою?

Да, каждый отвечает сам за себя. Но за себя, а не за того, кем тебя хотят сделать. Я отвечаю за себя, а не за потенциального шкурника, доносчика, черносотенца, труса. Я не могу позволить им убить себя и этим сохранить свою жизнь.

Погоди, а что я буду делать? Я выйду послезавтра на улицу и буду кричать: «Граждане, не убивайте друг друга! Возлюбите своего ближнего!» А что это даст? Кому я помогу? Кого спасу? Не знаю, ничего не знаю... Может быть, я спасу себя. Если не поздно.

## VII

Останьтесь здесь! Куда же вы пойдете  
В тоске безумной, в ярости слепой —  
Ведь ангелы на бреющем полете  
Пронесются над воющей толпой.

Ведь тыщи гадов, позабыв о власти  
Земных законов, вышли из болот,  
Они шипят, распяливая пасти,—  
И матери выкидывают плод.

Останьтесь здесь! Вас жизнь сама призвала  
Глашатаями согнанных сюда.  
Упейтесь, вдохновитесь до отвала  
Бессмысленностью Страшного суда!

*Георгий Болотин. Вам, поэты!*

Десятого августа я встал в восемь часов утра. Побрился, позавтракал, почитал. За что я ни брался, я все равно неотвязно думал о том, что я должен выйти на улицу. Об этом напоминали мне и репродукторы, наяривавшие бравурные марши за окном, и кошки, зигзагами гулявшие по мостовой, восхищенные внезапным безлюдием, и то, что соседи не выходили ни в кухню, ни в уборные — все совершали у себя в комнате.

Часов в одиннадцать я оделся, положил портсигар, куда собирался, и вышел на лестницу.

Я спускался по ступенькам не торопясь и бесшумно, так что, когда я на повороте столкнулся с соседкой с третьего этажа, это было неожиданно для нас обоих. А то, что произошло потом... Она вскрикнула, метнулась в сторону, сетка с бутылками ударилась о перила. Зазвенело стекло, кефир хлынул сквозь ячейки авоськи на площадку. Женщина поскользнулась в густой кефирной луже и, ойкнув, грузно села на ступеньки. Я бросился помогать ей. И тут она крикнула второй раз и, закрыв глаза, стала слабо отталкивать меня трясущимися руками.

— Толя, Толя,— бормотала она невнятно.— Я же вас маленького... на руках... я вашу маму... Толя!

— Анна Филипповна, да что с вами? Здесь стекло, вы же порежетесь!

Она открыла глаза, медленно подняла ко мне свое мертвое лицо.

— Толя, — сказала она, — ведь я... ведь я... я подумала... Я кефирчику для Анечки, для внучки... Ох, Толя!..

И она заплакала. Ее грузное, оплывшее шестидесятилетнее тело содрогалось. Я поднял ее, подобрал сумку.

— Зиночка больна, а Борис в командировке, вот я за кефирчиком...

Сверху, с третьего этажа, уже бежала в распахнутом халате Зина, ее дочь, моя одноклассница.

— Мама! Что с тобой? Кто тебя? Что с тобой?

— Ничего, Зиночка, ничего. Я вот упала...

— Говорила я тебе, — начала Зина.

— Зина, отведи-ка мать домой, а я схожу за кефиром.

Я вынул залитые кефиром батоны и отдал их Зине.

— Толя, а деньги-то, деньги!..

...Когда я разделался с этим кефиром и снова вышел на улицу, стало еще жарче. Парило, как перед грозой, и я взял пиджак на руку, забыв о спасительном портсигаре. На душе у меня было мерзко, перед глазами стояло помертвевшее лицо соседки, я слышал ее бессвязный и бессмысленный лепет: «Толя, Толя...»

Я шел по Никитскому бульвару. Он был такой же, как всегда, — веселый, нарядный, весь, как лошадь в яблоках, в крохотных тенях листьев. Только сегодня на нем не было детей. Подростки в рубашках с закатанными рукавами, развалившись на скамейках, поплевывали через плечо в газоны, да посреди аллеи, надменно вздернув подбородок, шел пожилой мужчина, ведя на поводке огромного дога без намордника.

Когда я вышел на Арбатскую площадь, я увидел бегущих людей. Они торопились куда-то за старое метро, куда — я не мог увидеть: мешало здание кинотеатра. Я перебежал дорогу и протолкался сквозь толпу.

На земле, головой к стене, лежал человек. Он лежал в той самой позе, в какой был изображен труп на плакате Саши Чупрова: раскинув руки, завалив на бок согнутую в колене ногу. По рубашке расплзлось красное пятно; рубашка была белая, вьетнамская — у меня тоже есть такая, мне ее весной купила сестра. Он лежал совершенно неподвижно, и солнце отражалось в узких носках его модных туфель. Я даже как-то не сразу понял, что он мертв; а когда понял, меня пробрал озноб. И потрясло меня не убийство, не смерть, а именно эта чуть ли не мистическая реализация графических бредней Чупрова: почему он лежит в точно такой позе? Он почти упирался запрокинутой головой в раму афиши; на афише лихой черно-белый танцор анонсировал декаду осетинского искусства и литературы. Рядом висела полуборванная реклама Политехнического музея: «Кандидат экономических наук Г. С. Горнфельд прочтет лекцию на тему: «Вопросы планирования и организации труда на предприятиях...» Дальше было оборвано.

Собравшиеся негромко переговаривались:

— Молодой.

— А может, он жив еще?

— Что вы! Он скончался: я зеркальце подносила, вот это, из сумочки.

— Кто ж это его?

— Цветочница говорит: «Подлетел длинный такой, загорелый, и выстрелил. Окликнул его, а он обернулся, он и выстрелил».

— Кто обернулся?

— Господи, да покойник же!

— И милиции как на грех нет!

— Когда не надо, они всегда тут.

— Погоди, папаша, а при чем тут милиция?

— Как это при чем? Человека убили!

— Ну и что?

— Тьфу ты, дурак какой! Человека, говорю, убили!

— А ты, отец, полегче. Не дурей тебя. Газеты читаешь? Сегодня — можно!

— Ты, парень, не ори: покойник рядом. Газеты — газетами, а совесть знать тоже надо.

— Вы, уважаемый, что-то не то говорите. По-вашему, совесть и правительственный указ — вещи разные? Я бы на вашем месте поостерегся агитацией заниматься!

— А ты, милоч, ступай отседова, пока я тебя клюшкой промеж очков не ляпнул!

— Боевой какой старикан!

— Мух-то отогнать надо бы. Нехорошо.

— Что ж это, милые мои, значит, какой ни есть хулиган пырнет вот эдак — и ничего ему за это не будет?

— Газеты, мамаша, читать надо. Сказано: «Свободное умерщвление». Но ты не тушуйся: побьют кого надо — и все.

— А кого это надо?

— Там уж знают кого. Зазря указ писать не станут.

— Как бы не раздели покойника. Туфли-то на нем...

— Грабить нельзя. Тут дело государственное.

Я выбрался из толпы и пошел прочь.

Я не помню сейчас, где я бродил, сколько улиц и площадей я прошагал и как я добрал до Красной площади.

Многолетним благоговением, плотным и осязаемым, до отказа, до крыш и куполов, была забита выпуклая, прямоугольная коробка площади. Голые бетонные параллели трибун, трехъярусные кубы гробницы, прямые углы высокого парапета, наивные двузубцы стены — весь этот с детства, с младенческого лепета знакомый и любимый мною узор, непреложный и бескомпромиссный, как чертеж теоремы, внезапно ударил меня в мозг, в душу, в сердце. Дано: идея; требуется доказать: воплощение. И чертят,

чертят оледеневшие в своем рвении геометры, чертят, положив бумагу на склоненную перед ними спину, чертят и не замечают, не хотят замечать, что прорвалась бумага, что сломался грифель, что по коже, по мясу бородит обернувшийся шпигрутенем карандаш! Остановитесь! Нельзя же, нельзя такой ценой! Ведь люди же! Ведь не этого он хотел — тот, кто первым лег в эти мраморные стены!..

Меня сбили с ног. Я упал, и прежде, чем я успел подняться, на меня навалился человек. Он сжал мне горло, но я резко дернулся и высвободил шею. Мы покатались, стучаясь головами о тесаный булыжник, стискивая друг друга и тщетно пытаясь упереться ногами в скользкий, недавно политый камень. Передо мной мелькало голубое небо, пестрота Василия Блаженного, красный мрамор куба и две неподвижные статуи с винтовками, охранявшие мертвецов. Мы поднялись к ногам часовых. Здесь мне удалось, наконец, двинуть его коленом в живот. Он разжал руки, и я вскочил, пошатнулся, наступил на ногу часовому. Мой противник тоже поднялся, и я ударил его в челюсть, раз и еще раз, и он снова упал и пополз, и хотел встать, и руки у него подломились, и он сел, привалясь спиной к Мавзолею, и, сплевывая красную слюну, прохрипел:

— Я готов. Бей!

Я поднял валявшийся у парапета пиджак и сказал, задыхаясь:

— Сволочь...

Он ответил:

— По приказу Родины...

Я оглянулся на часовых. Они так же неподвижно стояли, как и три минуты назад, и только один из них, скосив вниз глаза, смотрел на пыльное пятно, оставленное моим каблуком на его начищенном сапоге...

Я пошел домой.

## VIII

От прочих раковин отличив,  
Обидел ее Господь:  
Песчинку колючую взял и швырнул  
В ее беззащитную плоть.  
А если в дом твой Нечто войдет,  
Куда убежишь от зла?  
И шариком белым, прозрачным зерном  
Жемчужина там росла.

*Ричард О'Хара. Лагуна.*

Октябрьскую годовщину мы праздновали все той же компанией. После долгих переговоров решено было собраться у Зои и Павлика: у них отдельная двухкомнатная квартира, магнитофон с записями Вертинского и Лещенко, масса посуды — одним словом, женщины решили, что так будет лучше всего.

Я, когда мне сказали, что вечер устраивается там, сначала решил, что не пойду, а потом... а потом я подумал: «А какого черта, собственно говоря? Компания своя, кормят там вкусно, а то, что я знаю про Зою... будем считать, что я ничего не знаю». Я, правда, был не совсем уверен, что Зое все равно — буду я или не буду, и поэтому я сказал Лиле, что еще не знаю, пойду ли я куда-нибудь вообще, что настроение у меня плохое и что пусть Зоя позвонит накануне — тогда я скажу наверняка. А про себя решил, что во время разговора соображу, как поступать.

И Зоя позвонила.

Она поздоровалась со мной как ни в чем не бывало, спросила о здоровье, о настроении и о том, приду ли я. Она говорила со мной, и я отвечал ей и слышал ее дыхание в телефонной трубке. Она сказала:

— Пожалуйста, приходи, Толя. Я очень тебя прошу. Я буду ждать тебя. Ты мне испортишь праздник, если не придешь.

Я сказал ей в трубку:

— Знаешь, Зоя, если я приду, то приду не один.

— А с кем?

— Ты ее не знаешь,— сказал я.

Зоя помедлила самую малость и сказала:

— Ну, конечно, приходи с кем хочешь. Ты же знаешь, мы все будем рады твоим друзьям.

И мы попрощались.

«Ты ее не знаешь»,— сказал я. Это была святая правда; я и сам не знал, кого я имел в виду.

Я перебрал в уме всех своих приятельниц, разумеется, одиноких. Их было немало, но вся беда в том, что такое приглашение они истолковали бы слишком многозначительно, а у меня не было ни малейшего желания заводить новые романы. Может быть, пойти одному? Но мною вдруг овладел бес мальчишеской мстительности, я во что бы то ни стало должен доказать Зое, что мне на нее наплевать. Я решил позвонить Светлане. Светлана — это художница из нашего издательства, ей года двадцать три. Она очень мила, явно неравнодушна ко мне и достаточно скромна, чтобы не вообразить Бог знает что. Она очень обрадовалась, когда я пригласил ее, смутилась и залепетала, что это неудобно, что она ни с кем не знакома, что, право, она не знает...

— Ерунда, Светочка,— сказал я.— Все они очень милые люди, и если вас не смущает, что они перепьются, и будут петь блатные песни, и, может быть, ругаться при этом, то... В общем, я вас жду завтра в полдесятого на углу Столешникова, там, где книжный магазин.

...Мы пришли, когда все уже давно сидели за столом. Бутылки на треть были опорожнены, мужчины сняли пиджаки, и кто-то уже порывался запеть. Но благолепие праздничного стола не было окончательно разрушено: окурки еще не тыкали в тарелки и не путали рюмок.

При виде нас все радостно загалдели. Они галдели и разглядывали Светлану.



— Это Светлана, прошу любить и жаловать,— сказал я.— Держите бутылки, кормите и поите нас.

— Светланочка, деточка, идите сюда,— пропела Лиля.— Эти мужики совсем отбились от рук, сами едят и пьют и не оказывают нам никакого внимания. Но мы без них обойдемся, правда?

— Без нас не обойдетесь! — захохотал Павлик.— Мы...

— Штрафную, штрафную! — кричал Володька.

— Светлана, вот ваш бокал.— Игорь налил сухого вина.— А может быть, вы выпьете коньяку? Водку я не решаюсь предлагать.

— Нет, нет, что вы, спасибо,— Светлана улыбалась несколько напряженно.

— Толя, куда вы пропали, почему не приходите? Мишенька все время спрашивает: «А где дядя Толя? А когда он придет?»

Эмма, Володькина жена, положила бюст на стол и округлила рот и глаза, изображая сына. Одета она была, как всегда, ярко и безвкусно.

— Итак? — Зоя протянула мне рюмку водки.

— Итак? — отозвался я.

— С праздником! С праздником вас, опоздавшие! — Павлик потянулся ко мне через стол — чокаться.— Я уж боялся, что вы не придете. Мы с Зойей...

— Павлик, ты льешь...

— Прости, дорогая... Мы с Зойей...

— Павлик, передай салат, пожалуйста.

— Мы с Зойей... Да что ты мне слова сказать не даешь?!

— Я просто хотела попросить тебя, чтобы ты и мне налил вина.

Шум нарастал. Уже не было общего разговора. Уже Игорь вовсю ухаживал за Светланой, уже Лиля, выскочив из-за стола, повисла на каком-то длинном парне, которого все называли Геолог Юра, уже Володька читал громко стихи модного молодого поэта, плохие стихи с неряшливыми, как болтающиеся шнурки, рифмами. На него наскакивала востроногая девица и кричала, что поэт — пошляк, а стихи — бездарные.

— Пошляк — а гражданское мужество?! — орал Володька.— Бездарные — а «Комсомольская правда» его ругает!

Все веселились. Павлик налаживал магнитофон. Эмма ела салат. Геолог Юра повторял: «Мы там отвыкли от майонеза». Я выпил три рюмки и невесть чего обозлился.

— Слушайте, друзья,— сказал я, покрывая разноцветный шум пирушки,— а вы знаете, что я вас всех чертовски люблю!

— Толинька!

— То-ля!

— Толя, лапонька!

— Ведь это ужасно глупо, что мы так редко встречаемся,— продолжал я.— Когда мы последний раз собирались?

— Последний раз?

— В самом деле — когда?

— А я знаю! — закричала Лиля. — Последний раз мы собирались у нас на даче! Когда объявили про День открытых убийств!

Все разом замолчали. Даже наладившийся было магнитофон скрипнул каким-то своим тормозом и остановился. И только Эмма с разгону продолжала говорить:

— ...а в школе у них организованы горячие завтраки...

Но, оглянувшись на тишину, умолкла и она. Пауза длилась, затягивалась, становилась уже неприличной.

— В самом деле, — сказал Игорь, — столько времени прошло, столько событий. Десятое августа...

— Мы с Зоей, — закричал Павлик, — мы с Зоей пересидели спокойно... Телевизор, магнитофончик... На другой день меня на работе спрашивают...

И тут всех будто прорвало:

— ...а я ему говорю: «Я тебя первого пристукну! Ты, говорю, падло!» И загнул, знаешь, как я умею!..

— В Одессе блатные поймали начальника милиции. Ну, он, конечно, в форме был. Так что они сделали? Переодели его в какую-то рвань и отпустили. Понимаете, отпустили! А потом догнали и... кончили! Их еще потом судили.

— Ну-у?

— Осудили... за грабеж!

— Слушайте, слушайте, что было в Переделкине! Кочетов нанял себе охрану — из подмосковной шпаны. Кормил, понл, конечно. А другие писатели тоже наняли — понимаете? Чтобы Кочетова прихлопнули!

— Ну, и что же было?

— Что было! Драка была — вот что! Шпана между собой дралась!

— Ребята, а кто знает: много жертв было?

— По РСФСР немного: не то восемьсот, не то девятьсот, что-то около тысячи. Мне один человек из ЦСУ говорил.

— Так мало? Не может быть!

— Правильно, правильно. Эти же цифры по радио передавали. По заграничному, конечно.

— Ух, и резня там была! Грузины армян, армяне азербайджанцев...

— Армяне азербайджанцев?

— Ну да, в Нагорном Карабахе. Это же армянская область.

— А в Средней Азии как? Там тоже небось передрались?

— Не-ет, там междоусобия не было. Там все русских резали...

— Письмо ЦК читали?

— Читали!

— Не читали! Рассказывай!

— Во-первых, про Украину. Там Указ приняли как директиву. Ну, и наворотили. Молодежные команды из активистов, рекомендательные спи-

ски: ну, просписки сразу известно стало — разве такое в секрете удержишь? И пришлось спецкомандам облизнуться: все, кто в списках значился, удрали. Так что это дело у них бортиком вышло. И еще ЦК их приложил — за вульгаризацию идеи, за перегибы. Четырнадцать секретарей райкома и два секретаря обкома — фьють!

— Ну да?

— Абсолютно точно. А в Прибалтике никого не убили.

— Как никого не убили?!

— А так! Не убили — и баста!

— Да ведь это демонстрация!

— И еще какая! Игнорировали Указ, и все. В письме ЦК устанавливается недостаточность политико-воспитательной работы в Прибалтике. То же кого-то сняли.

— ...бежит по переулку, кричит и стреляет, стреляет! Очередями по окнам! Откуда он автомат раздобыл? В авиационно-технологическом сопромот преподает...

— А мы двери на замок, шторы опустили — и в шахматки...

— Я ему говорю: «Не смей, подумай о детях!» А он: «Я пойду на улицу!» — и даже зубами заскрипел. Миша плачет... Еле его уговорила.

— ...в «Известиях» статья этой, как ее... Елены Коломейко. О воспитательном значении для молодежи. Она еще как-то с политехнизацией и с целинными землями увязала...

— В «Крокодиле!» Там такой рисунок: он лежит...

— А мы с Зоей жалели только, что своих никого нет: веселее было б...

Миновало, миновало, миновало! Это непронесенное словечко прорывалось сквозь анекдотические рассказы, сквозь нервный смешок, сквозь фрондерские реплики в адрес правительства. Впервые со Дня открытых убийств услышал я, как люди говорят о случившемся. До сих пор, когда я заговаривал с ними об этом, они смотрели как-то странно и переводили разговор на другое. Я подчас ловил себя на дикой мысли: «А не приснилось ли мне все это?!» А теперь — миновало! А теперь мы справляем 43-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Четверо — Светлана, Зоя, Володька и я — молчали. А водоворот впечатлений, рассказов, слухов, сведений крутился, повисал пестрой радугой, брызгал пеной на бежевые обои:

— У нас в экспедиции все было тихо-мирно. У нас нельзя — тайга кругом. Сегодня — ты, а завтра — я...

— Он на рассвете покончил самоубийством, сосед наш... Тихий такой старичок, официантом в «Праге» работал...

— Я всю ночь не могла заснуть, казалось, кто-то скребется...

Я вспомнил, как в ночь на 11 августа я вышел и увидел идущие по Садовой машины для поливания улиц; они шли широким фронтом, раскинув водяные щетки, и мыли, мыли, мыли мостовую и тротуары...

Дождавшись, когда Светлана повернется ко мне, я тихонько показал

ей глазами на дверь. Она вышла, а через минуту вышел и я. В кухне было уютно и тихо.

— Ну, как, Светлана? Нравится?

— Я не понимаю, Толя. Они действительно были все очень милые, а потом, когда начали про это говорить... Почему они так радуются?

— Они радуются, что уцелели, Светочка.

— Но они же все прятались! Их же,— Светлана запнулась, подыскивая слово,— их же... запугали!

— Запугали? — я взял Светлану за плечи. — Света, вы понимаете?..

Нет, она не понимала. Она не могла понять, что одним этим словом ответила на вопрос, который задавали себе и друг другу миллионы растерявшихся людей. Она, эта девушка, не могла понять, что стала вровень с государственным мужем, с зоркими пастырями народа, вровень с мудрым шелестом бумаг в затемненных кабинетах, вровень с негромким и почти-тальным бормотанием референтов, вровень с тем, что так торжественно именуется Державой. Ей казалось, что она сказала это слово мне, а она нечаянно бросила его в лицо огромным правительственным зданиям, черно-белым гектарам газет, ежедневно устилающих страну, согласному реву общих собраний, навстречу дьявольскому лязганью гусениц, несущих разверстые пасти орудий на праздничные парады.

Я обнял ее и сказал:

— Хватит об этом, Света. Я хочу вас поцеловать, давно уже хочу, разве ты не видишь?..

...И вот, проводив Светлану, я иду домой. Я иду по знакомым улицам, по переулкам, которые я мог бы пройти с закрытыми глазами. Сквозь тюлевые занавески розовеют пышные кринолины абажуров. У подъездов расстаются и никак не могут расстаться парочки. Каменный Тимирязев задумчив, как палец, приставленный ко лбу. Откуда-то гремит радио, где-то взвизгивает тормозами машина, шумят развеселые компании, так же, как я, возвращающиеся из гостей. Где-то в своих комнатах на каких-то своих этажах сидят люди и бормочут ругательства, стихи, признания в любви.

Это — говорит Москва.

Я иду по улице, по тихому уютному бульвару, нащупываю в кармане тетрадь и думаю о том, что я написал. Я думаю, что написанное мною могло быть написано любым другим человеком моего поколения, моей судьбы так же, как и я, любящим эту проклятую, эту прекрасную страну. Я судил о ней, и о ее людях, и о себе самом лучше и хуже, чем следовало бы судить. Но кто упрекнет меня за это?

Я иду и говорю себе: «Это — твой мир, твоя жизнь, и ты — клетка, частица ее. Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам за себя отвечать, и этим — ты в ответе за других». И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность.

Это — говорит Москва.

# Искушение

Я соглядатай между вами,  
Я слушаю, когда в тревоге  
Вы рассуждаете о ванне,  
О домработницах, о Боге.

О, милые, и я такой же,  
Интеллигентен и тактичен,  
Но вот — рванет мороз по коже  
И на полях наставит птичек.

И я предам вас, я продам вас!  
За что? За то, что в час вечерний  
Случайно вспомню я про давность  
Вражды художника и черни.

*Илья Чур.* Товарищам интеллигентам.

Наступило время блатных песен. Медленно и постепенно они просачивались с Дальнего Востока и с Дальнего Севера, они вспыхивали в вокзальных буфетах узловых станций. Указ об амнистии напелал их сквозь зубы. Как пикеты наступающей армии, отдельные песни мотались вокруг небольших городов, их такт отстукивали дачные электрички, и, наконец, на плечах реабилитированной 58-й они вошли в город. Их запела интеллигенция; была какая-то особая пикантность в том, что уютная беседа о «Комеди франсэз» прерывалась меланхолическим матом лагерного доходяги, в том, что бойкие мальчики с филфака толковали об аллитерациях и ассонансах окаянного жанра. Разрумянившиеся от ледяной водки дамы вкусно выговаривали:

Ты, начальник, ты, начальник,  
Отпусти до дому...

А если какая-нибудь из них внезапно вздрагивала и пыталась проглотить словцо, до сей поры бесполезно лежавшее в ее лексиконе, то всегда находился знаток, который говорил:

— Душа моя, это же ли-те-ра-ту-у-ра!

И все становилось ясно. Это превратилось в литературу — безумный волчий вой, завшивевшие нательные рубахи, язвы, растертые портянками, «пайка», куском глины падавшая в тоскующие кишки...

Но бывало и так, что кто-то из этих чистых, умытых, сытых людей вдруг ощущал некое волнение, некий суеверный страх: «Боже, что ж это я делаю?! Зачем я пою эти песни? Зачем накликаю? Ведь вот оно, встающее из дальнего угла комнаты, опустившее, как несущественную деталь, тра-

диционный ночной звонок, вот оно, холодным, промозглым туманом отделяющее меня от сотрапезников, влекущее «по тундре, по широкой дороге» под окрики конвойных, под собачий лай... Зачем, зачем я улыбаюсь наивности этих слов? Это же всерьез, это же взаправду! Ах, прощай, Москва, прощайте, все!.. Возьмут винтовочки, взведут курки стальные и непременно убьют меня... Тыфу, напасть!»

И я (это я о себе пишу) встряхивал головой, выпивал очередную рюмку и трогал колено чужой жены, сидевшей рядом со мной.

А песня звучала, песня шла под улыбку, и зловещие тени уползали из комнаты, через переднюю, на лестничную площадку.

И оставались там.

## 1

В буфете не продавали пива, потому что в фойе шла лекция о полупроводниках. Так распорядился директор кинотеатра из уважения к науке. Буфетчица, пятнистая от возмущения (у нее срывался план), шмякнула на поднос бутерброд с засохшей семгой. Я жевал семгу и разглядывал фойе. Кинотеатр был третьесортный, и новейшие веяния его не коснулись: по стенам по-прежнему висели портреты передовиков производства. Пожилой лектор уныло и невнятно бормотал что-то десятку-другому слушателей, время от времени показывая какие-то, с виду пластмассовые, штуковины.

У Ирины после работы было какое-то профсоюзное собрание, отчетно-перевыборное, что ли, и мы могли встретиться только в восемь. Ну, что ж, до начала сеанса полчаса, картина — часа полтора, минут двадцать пешком до Курского — время можно растянуть. Только бы на знакомых не нарваться. Хотя, впрочем, третий лишний — не всегда лишний. Этот третий дает возможность говорить с невинным видом такое, отчего у Ирины вздрагивают губы, можно острить, балансировать на тонком словесном канате — а вдвоем эта игра не имеет никакого смысла. Вообще трудно стало с Ириной. Той последней, окончательной близости, которая дала бы толчок новым отношениям, еще нет, а обо всем остальном уже переговорено: о детстве, о войне, об эвакуации, об общих знакомых. Дырки в разговорах хорошо затыкать поцелуями, но куда спрячешься от людей? Зимой холодно, а теперь темнеет так поздно, что поневоле приходится вести себя благопристойно.

Я сидел и рассеянно обводил глазами публику. Какая все-таки у большинства женщин некрасивая походка! Работают много, что ли? Вот цыганки — те все, как одна, идут-плывут, только юбки выются...

Все звучат, звенят, зовут и не кончаются  
Речи смутные, как небо в облаках.  
И идут-плывут цыганки, и качаются  
На высоких, сбитых набок каблуках.

Это Мишка Лурье поет под гитару — здорово поет. Жаль, что я так не могу. И какой это иднот выдумал, что гитара — мещанство?

Лениво и равнодушно оглядывал я лица, разноцветные и одинаковые, как булыжник мостовой, и вдруг задержался на одном из них. Что-то оставило меня — и даже не то, что человек смотрел на меня в упор, а какая-то напряженная, болезненная гримаса. Лицо было чем-то знакомо — узкими, широко расставленными глазами, нервной одухотворенностью, нездоровой желтизной кожи. Кто бы это мог быть? Я горжусь своей памятью на лица. Но тут я никак не мог вспомнить. Ясно одно — знакомство давнишнее. Ну, что ж, сейчас узнаем. Я встал, отряхнул крошки с пиджака. Встал и человек, смотревший на меня. Улыбаясь ему, я двинулся вперед. Но человек протянул руку женщине, сидевшей рядом, и они оба зашагали по направлению к курительной. У самых дверей он повернул голову и снова пристально, без улыбки, останавливая взглядом, посмотрел мне в глаза, как бы говоря: «Да, да, это не случайность, я специально ухожу, чтоб не разговаривать, не встречаться. Да, мы знакомы, я тебя узнал, но ты ко мне лучше не подходи». Он отвернулся, пропустил в дверях спутницу и вышел.

Я стоял почти посреди фойе, улыбаясь по инерции. Потом пожал плечами и вернулся на свое место. Черт-те что!

Ощущение было такое, как будто меня ни за что ни про что обругали. Этот человек вел себя так, словно я враг ему. А у меня врагов никогда не было. Я никогда никому не сделал зла. Даже женщины, с которыми я расставался, никогда ни в чем меня не винили, хонь и горевали. А этот человек... Ну, ладно, черт с ним! Может, вообще все померещилось?

Когда сеанс закончился, я снова увидел эту пару в толпе, спускавшейся по лестнице. Женщина — очень красивая, с надменным лицом и длинной, вопреки моде, косой — говорила без улыбки:

— Фильм так плох, что даже хорош. Какая-то прямо первобытная глупость, иднотизм без изъяна, без проблеска — совершенство своего рода... Право, давно я не получала такого удовольствия от кино...

Ее спутник что-то бормотнул невнятно, остановился, закуривая, толпа подтащила меня к ним, мы снова посмотрели друг на друга, и мой, должно быть, недоумевающий, вопросительный взгляд столкнулся с отстраняющим прищуром незнакомца. Или знакомца? А ну его к черту!..

...Электричка отгрохотала. Мы шли, переплетя пальцы, тесно прижавшись. И хотя я видел только нос, кусочек щеки и краешек полуоткрытого рта, она была видна мне вся — длинноногая, стремительная и узкая, словно копые, набирающее высоту.

— Пусти, — сказала она. — Нельзя так. Кругом народ.

— Это тебе мерещится, — ответил я. — Никого нету.

— Как же, никого. А вот этот, толстый, — он мне тоже мерещится?

— Сейчас проверим. Простите, гражданин, вы — фикция?

— Чево? — спросил толстяк.

— Витька, ты с ума сошел!

— Извините, я ошибся, думал — знакомый.

Платформа, пивной ларек, хлебный ларек. Дача, дача, магазин, дача, парикмахерская, дача. Мимо, мимо. Песок под ногами — плотный, утрамбованный, перемешанный со щебнем и шлаком. Как ладно шагают ноги, как легко несут они тела, как близко щеки. Какая смесь силы и нежности, как солнце воткнуло в землю рыжие сосны, как сухо и светло в лесу! Ладони, наполнитесь! Господи, Ты есть, ведь не может счастье быть ниоткуда! Ведь не могут же без чьей-то доброй и умной воли захлестнуть меня эти плечи, колени, груди!

— Не надо,— сказала она.

## 2

Утреннее море было как плохо выстиранная и невыглаженная простыня. Моторная лодка шла на восток, к не вставшему еще солнцу. Мотор трещал, пассажиры кричали, какие-то дети хлопали в ладоши, и все это было совершенно беззвучно. Я крикнул, чтобы услышать свой голос. Никто не обернулся, и сам я себя не услышал. Тогда я стал заглядывать в лица своим попутчикам, но они не замечали ни моих взглядов, ни того, что не слышно голосов. «Куда же мы приплывем, если не слышим друг друга? — подумал я. — Надо жестикулировать. Надо азбуку глухонемых». Я стал приставлять пальцы к носу и подбородку, шурить глаза, двигать нижней губой — но меня никто не понимал, хотя я изображал очень простую фразу: «Товарищи, почему ничего не слышно?» Отчаявшись, я махнул рукой и стал смотреть на мягкую и мощную мускулатуру воды за кормой. Лодка неслась все быстрее, люди говорили все горячее и громче — это было видно по артикуляции, волны перестали быть похожими на борцов и превратились в боксеров, краешек солнца показался над горизонтом. «Сейчас мы опрокинемся, — подумал я, — мы опрокинемся, если не услышим друг друга». «Мы опрокинемся!» — крикнул я, преодолевая свою и чужую глухоту. Звонко лопнула пленка в ушах, я услышал свой крик, и все другие — тоже, но было уже поздно: боксер вошел в клинч с лодкой, ударил ее в солнечное сплетение, она согнулась пополам, потом два крюка справа и слева, все рассыпалось, и, уходя под воду, я увидел накатившийся на волны багровый шар солнца...

Какое счастье просыпаться после страшного сна, после смерти и гибели! Медленное воскрешение из мертвых, тающий туман небытия, жизнь, снова прихлынувшая к телу. Только что, секунду назад, ты чувствовал, как превращаешься в ничто, и тебя охватила последняя, самая страшная мука — ужас умирания не готового к смерти, ты знал, что умер, — и вот ты спасен. Мы оставляем себе счастье пробуждения и торопимся забыть о смертной тоске, о том, что нас предупреждают...

Я взял папиросу, глянул на часы. Ого, уже восемь вечера. Сегодня на



работе я весь день задремывал, а когда пришел домой, прилег на минутку — и два часа проспал. Еще бы, ведь вернулся-то на рассвете.

Я вскочил с дивана, включил электробритву. Я бреюсь по вечерам. Ведь заранее никогда не угадаешь, как обернутся дела. Случилось же как-то, что я пошел небритым в одну компанию, а там была одна такая Тонечка, и я ее провожал, и зашел к ней, и остался у нее, и все время чувствовал, что небрит, и это здорово мне мешало. Тонечка, правда, говорила, что в мужской небритости есть, мол, даже какая-то привлекательность, но мне все равно было неловко. Да и не все женщины по-Тонечкиному рассуждают...

Мы встретились с Мишкой Лурье у метро «Дворец Советов». Было время свиданий, и парочки, как всегда, бродяжили у дощатого забора, окружавшего котлован. Интересно, выстроят здесь что-нибудь или эти ямы так и останутся памятником взорванному Храму Христа Спасителя? Сколько же лет торчат тут доски, заклеенные афишами.

— Мишка, когда взорвали церковь?

— Какую церковь?

Мишка рассказывал последние сплетни о кинофестивале и о том, как, к великому смущению и конфузу, первую премию присудили Феллини. «Восемь с половиной!» — бубнил он. — Переполох, скандал! Никто ничего не понимает». Сейчас он был очень недоволен, что я его перебил.

— Ну, в 34-м году взорвали. Ты слушай, что было дальше...

29 лет назад взорвали храм. Вопреки поговорке, свято место пусто. Конечно, спору нет, пользы от церквей — кот наплакал, они — архитектурные памятники, не больше, но все-таки... Взорвали Бога, а взрывной волной ранило, контузило человека. Глухота, немота... Гной течет из-под бинтиков, из-под стаетек о гуманизме. Правда, врачи говорят: «Гной течет — рана очищается». Что ж, посмотрим. Впрочем, мне-то зачем забивать голову всем этим? Что мне — больше всех надо? Я чист перед людьми. Есть работа — не очень хорошая, но и не мерзкая, есть жилье, здоровье, деньги... Да, вот с деньгами худо. Как ни крутись, а в зарплату не уложишься. Особенно последние года два...

— Стоп, пришли!

Мы подошли к новому дому. Рядом стояли забавные домишки с деревянными колоннами, особнячки с резными ставнями, свежевыкрашенные заборы, даже какая-то пузатая чугунная тумба.

— Мишка, что это за тумба?

— Эта? К ней в старину лошадей привязывали.

Все-то он знает, собака. Впрочем, кому ж и знать, как не ему — на то он и искусствовед. Я похлопал ладонью по теплomu металлу и пошел вслед за Мишкой.

В доме Ряженцевых я был не в первый раз, хорошо знал и хозяйку, и многих гостей. Здесь редко собирались просто так — выпить и потрепаться, а почти всегда был какой-нибудь «герой вечера». Случилось и мне быть

в этой роли, когда я вернулся из поездки в Польшу. Тогда «на меня звали». А сегодня звали на Брынского, он будет стихи читать. Любопытно, что за стихи? То, что его не печатают, разумеется, ничего не значит. Стихи вполне могут оказаться никудышными.

Стихи, однако, оказались занятными. Да и сам Брынский очень хорошо держался, не заискивал и не важничал. Он охотно замолчал, когда Мишка Лурье, хватив очередную рюмку, заявил:

— Ребята! Хватит изящной словесности. Давайте песни петь.

И он взялся за гитару.

— Мишка! «Цыганок»!

— «Матрешку», Мишенька!

— Мишка, «Бутылку в море»!

— Я спою «Цыганок», — сказал Мишка, подкручивая колки.

Сердце с домом, сердце с долгом разлучается,  
Сердце бедное у зависти в руках,  
Только гляну, как цыганки закачаются  
На высоких, сбитых набок каблуках.

Мишка пел, убежденно глядя в угол, и всем почудилось, что и в самом деле оттуда вышли цыганки и поплыли по натертому паркету, задевая пышными оборками книжные полки.

Вы откуда, вы откуда, птицы смуглые,  
Из каких-таких просторов забрели,  
И давно ли вас кибитки — лодки утлые —  
До московских тротуаров донесли!

Кое-кто начал подтягивать, но Мишка нетерпеливо мотнул головой: не мешайте, мол.

Отвечают мне цыганки — юбки пестрые:  
— К вольной воле весь наш век мы держим путь,  
А захочешь — мы твоими станем сестрами,  
Только все, что было-не было, забудь!

Ах, забыть бы «все, что было-не было», уйти, убежать за кибиткой кочевой, за детьми природы, под звуки Чайковского, под ритмы Пушкина, под всхлипы Лещенко! Ах, мечта, милая сердцу! Вот так и снялся бы с места российский интеллигент, вот так и пошел бы, пыля по дороге лаковыми сапожками, сморщенными в гармошку! Ах, Стеши, Груши и Параша! Не забыть подписаться на Эренбурга, холодильник через три дня выкупить надо — опять деньги занимать... Эх, жги-говорю!

Отвечаю я цыганкам: «Мне-то по сердцу  
К вольной воле заповедные пути,  
Да не двинуться, не кинуться, не броситься,  
Видно, крепко я привязан — не уйти».

Мишка почти плакал под гитару. Все улыбались застенчиво и сконфуженно. В самом деле, хорошо бы — а куда денешься? Кругом профорги, парторги, Мосторги — эх!

Да все звучат, звенят, зовут и не кончаются  
Речи смутные, как небо в облаках,  
И идут-плывут цыганки и качаются  
На высоких, сбитых набок каблукках.

Мишка оборвал последний аккорд, как свечу задул.

— Хорошо! — сказал Брынский. — Это вы сами все придумали — и музыку, и слова?

— Сам, — буркнул Мишка недовольно: он почему-то стеснялся своего сочинительства и пел, только когда выпьет.

— Ну, пожалуйста, еще, — зашебетали женщины, — «Матрешку», Миша!

Это была песня о Матрешке. Семь деревянных русских красоток помещались друг в друге. Они все были разного цвета, каждая из них завлекала, улыбалась маняще: «А душу мою ты не понял! Загляни-ка внутрь!»

Я одна в другой, я одна в другой,  
Полюби меня, дорогой!  
Да не ту, что здесь, а вон ту — внутри,  
Посмотри в меня, посмотри!

Он не успел начать второй куплет, как раздался звонок. Явились новые гости, и, когда они, трое, вошли в комнату, в двух из них я узнал вчерашнюю парочку из кино.

— Знакомьтесь, — сказала хозяйка, — это мои милые хостинские друзья: Ася и Феликс Черновы...

Феликс Чернов! Я сразу же вспомнил озеро Селигер, палатки на берегу, плеск воды под веслами, веселый галдеж с утра и фронтовые песни по вечерам — тогда их еще пели. И Феликса Чернова — узкоглазого, веселого студента-зоолога, который шокировал дурочек-первокурсниц рассказами о многобрачии у животных. Остряк, актер, импровизатор — как он нравился мне тогда! Да и не одному мне — он для всех был героем тех двух недель на Селигере. Ведь мы потом и в Москве собирались несколько раз той же компанией. А потом я уехал по назначению, и за годы, проведенные вне Москвы, я перезабыл имена и адреса тогдашних приятелей...

Третьего, пришедшего вместе с Черновым, я знал: это был Владимир Семенович Игольников, писатель, прозаик. Мы с ним не то чтобы дружили, а издавала симпатизировали друг другу; у меня был даже его сборник с дарственной надписью.

Все трое на мгновение остановились у двери, потом Чернов сделал движение обойти всех и пожать каждому руку, но тут он увидел меня. Он

сделал общий поклон и сел на свободное место. Игольников и жена Феликса тоже сели.

— Мы, кажется, пение прервали? — сказал Игольников. — Не сердитесь, Миша, продолжайте.

— Я все равно сбился, — ответил Мишка не очень любезно. — Давайте лучше прервемся и тяпнем с новоприбывшими.

Все дружно выпили; Игольников грустно сказал:

— Такова моя горькая участь. Стоит мне где-нибудь появиться, и сразу прекращаются все умные разговоры, искусства и науки разбегаются, как тараканы...

— Так это же здорово! — сказал я. — Вы счастливый человек, Володя. А окружающие как довольны! Легко ли вести интеллектуальные разговоры...

— Витя, вы художник, для вас интеллект не обязателен, даже вреден. А я — инженер человеческих душ, мне по штату положено душу уловить, изучить и затем, используя накопленный материал, глаголом жечь сердца людей. А где ее уловишь, душу-то, когда только и слышишь: «А ну, тяпнем!», «Эх, хорошо пошла!», «А не повторить ли нам?».

— Владимир Семенович, так ведь тяпнувшую душу легче улавливать!

— Это трезвому легче, а ведь я... В общем, ясно.

— Друзей у вас слишком много.

— Друзей у меня — вся Москва. Размеры этого бедствия будут видны, когда я помру. «Литературка» поместит объявление о смерти члена Литфонда В. С. Игольникова, и случится то же самое, что на похоронах великого вождя и учителя. Причем давить друг друга будут люди, знакомые между собой. Эх, жаль, увидеть не придется!

— Да будет вам, Владимир Семенович!

— Что это вы, Миша, меня по отчеству титузуете? Вы не смотрите, что я толстый, — я еще очень молодой. Отчество, знаете ли, определенные обязанности накладывает. А в наше время обязанности иметь хлопотливо, да и небезопасно. Это все, даже не понимая, нутром чувю. Поэтому и отчество у нас отмирает. Загляните ну хотя бы в Тургенева или в Достоевского: мальчишку, вчерашнего школяра, называют Аркадий Макарович, девицу семнадцати лет — Зинаида Борисовна или Петровна, а ее бы по всем статьям Зиночкой звать. Вот мы здесь все вокруг сорока лет крутимся, а только меня за толстое брюхо Семенычем обзывают...

Он много еще балагурил, Игольников. В конце концов все вылезли из-за стола, стайками разбрелись по углам, по диванам, по другим комнатам.

Я выбрал момент, когда Чернов остался один, и подошел к нему.

— Слушайте, Феликс, я никак не пойму, вы узнали меня или нет? Ведь мы с вами были знакомы в... дай Бог памяти...

— Вас да не узнать! — Чернов усмехнулся. — Мы с вами встречались в 51-м году, с августа по октябрь.

— Как это вы так сразу дату вспомнили?

— А мне ее и вспоминать не надо. Я ее всегда помню. В октябре 51-го меня посадили.

— Вот как? А я и не знал.

— Да? А ведь у нас было много общих знакомых,— сказал Чернов.

— Дело в том, что примерно тогда же я уехал из Москвы, по назначению, в Воронеж. Я там в художественной школе преподавал...

— Вы, я вижу, уже подружились? — к нам подошла Нина, хозяйка дома.

— А мы старые друзья,— опять усмехнулся Феликс.

— Вот и чудно, вот и хорошо! Но послушайте, нельзя так уединяться. Идемте, идемте, сейчас Миша опять будет петь.

Но в другой комнате не пели. Там царил Игольников. Он стоял как монумент, и, расставив ноги и заложив руки в карманы, сокрушал авторитеты. Бог мой, кому здесь только не доставалось! Он громил ученых за вменяемость в политику, писателей — за то, что они не вмешиваются, государственных деятелей, кинематографистов, кибернетиков и скульпторов.

— Как слепые! — шумел он. — Как слепые, прут куда-то в сторону. Ну стоит ли писать, рисовать, лепить о том, что люди делают?! Надо о том, что они могут сделать! Что они могли сделать, да не сделали! О чувстве вины за бездействие. Я утверждаю,— произнес он с расстановкой,— я утверждаю, что это чувство — ощущение вины — живет сейчас в каждом интеллигенте. Вины за несодеянное!

— Не понимаю,— сказал я. — А если человек — я, предположим,— ни в чем не виноват? Почему я должен терзаться?

— Вы действительно ничего не понимаете, Витя. Во-первых, я категорически заявляю, что каждый человек хоть раз в жизни причинил вред другому: и вы, и он, и я. Во-вторых — и это самое главное,— вы виноваты в том, что не сделали. А что, разве вас не преследуют призраки несовершенного? Разве вам не мерещатся по ночам эмбрионы поступков, жертвы аборт — начинания, которым вы сделали искусственный выкидыш?

— Фу,— сказала Нина.

— Не фыркайте, Ниночка. Я не буду говорить о том, что я мог бы сделать всерьез. Действительно важное и нужное, для многих людей. Да, не стоит — это было бы напыщенно. Вот взять, казалось бы, пустяки: я не могу простить себе, что в свое время не написал, не пришел к таким людям, как Пастернак или Зощенко. Да-да, я понимаю, вас, снобов, шокирует это сопоставление. Дело не в этом. Никогда, вы понимаете, ни-ко-гда я уже не смогу сказать им, как я им благодарен, как счастлив, что я их современник. Или другое: я не написал ни одного письма своему другу, когда посадили его родителей. И не от трусости, нет! Просто я не люблю писать письма, не люблю эпистолярного жанра. И я, скотина, не сделал исключения для него. А ведь тогда одно мое письмо было важнее, чем все наше общение потом... Эх, да мало ли!

— Владимир Семенович, а как все это с вашим писательством согласуется?

— Как согласуется? Никак не согласуется! Ни хрена не согласуется... Дамы, простите. В том-то и штука, что в работе — разумеется, в той работе, за которую гонорары платят, — так вот, в этой работе у меня принцип один есть. Нет, братцы, я не продался — я смирился. Не знаю, правда, что хуже...

— Какой принцип? — спросил Феликс.

— Что? Ах, да, принцип. «Не вреди». Это медицинская заповедь — «не вреди». Заповедь хорошая, заповедь чудесная, римских врачей заповедь; но, дорогие мои, с римских-то времен медицина куда шагнула, а? Хирургия, рентген, антибиотики! Мать честная! А я литератор, к временам Цинцинната, блаженного Августина, Марка Аврелия и еще черт знает кого — я к этим временам возвращаюсь! И когда? В наши дни! В наши необычайные дни! В наши смрадные дни! Что — небось не знаете, эрудиты?

Он протянул руку и, отбивая такт, скандируя, произнес:

— «В наши смрадные дни никуда не уйти от гримас и болячек родной политики». Лесков это, Лесков, пижоны!

Он был уже здорово пьян. Феликс Чернов взял его под руку:

— Владимир Семенович, хватит. Все это суета сует и томление духа. И... неуместно, ненужно.

— Феликс, милый! Зачем ты мне мешаешь? Ты же солдат, ты же должен понимать!

— Ну, какой я солдат! Я и в армии-то не служил.

— Все равно, ты сидел, а солдат и зека всегда друг друга поймут... Давай блатные песни петь!

Пели блатные песни. Допивали водку. Брынский опять читал стихи.

Слова, как пули, ложатся кучно  
В сердце, прикрытое только кожей.  
Кто пожалеет меня, измученного?  
Ну, не стреляй же хоть ты, прохожий!

Когда мы вышли на улицу и Феликс, поймав такси, стал усаживать в него Игольников, я тронул его за локоть и сказал:

— Феликс, давайте увидимся на днях. Поболтаем, старину вспомним. Вот, — я вырвал листок из записной книжки, — вот мой телефон. Позвоните мне, ну, хотя бы в четверг после шести.

Феликс взял бумажку и сказал — очень медленно:

— У вас потрясающая выдержка, Виктор Вольский. Прямо зависть берет. Ну, что ж, я позвоню.

Я смотрю на мое прошлое сквозь цветные стеклышки прожитых лет, и оно непостижимо окрашивается в радостные зеленые, синие и розовые тона. Я должен сделать усилие над собой, чтобы восстановить истинный колорит событий и впечатлений, людей и времени. Но даже если мне это удастся, я не могу восстановить свое тогдашнее отношение. Я помню демонстрацию где-то около Сретенских ворот, ликующую демонстрацию по поводу смертного приговора героям процесса не то 37-го, не то 38-го года. Люди шли с лозунгами и портретами Ежова, шли от Колхозной площади к Лубянке. Странно, кстати, как все перевернулось: Лубянка тогда уже называлась площадью Дзержинского, а Колхозная площадь, кажется, еще не была переименована, а вот ведь никак не могу вспомнить старое название. Слово «Лубянка»-то не забывается. Так вот, я посмотрел на демонстрацию, пришел домой и процитировал (я был начитанный мальчик): «Пристойно-ли, скажите, сгоряча смеяться нам над жертвой палача?» Я ничего особенного не имел в виду, просто цитата показалась мне подходящей. Родителей так и перекосило... Какого цвета была эта демонстрация? Наверное, черного, а мне она помнится ярко-желтой — был солнечный день. Я упорно и много раз восстанавливал серый осенний денек, поникшие кресты деревенского кладбища и себя, шестнадцатилетнего, первый раз в жизни берущего женщину. Как все это было серо и непохоже на книжки! Но время, доброе время зеленил траву и проясняет небо, в нежный румянец окрашивает щеки двадцатичетырехлетней распутной бабенки. Ах, какой он колорист — сегодняшний день! Как он все переиначит, переделает!

Тогда, на Селигере, все было сине, зелено, оранжево, а после встречи с Черновым воспоминания подернулись странной черно-багровой дымкой, тревожной и нерадостной. К чему была эта загадочная фраза о моей выдержке? Почему он себя так странно держит?

В четверг я ловил себя на том, что с нетерпением жду, когда наконец часы отстукают шесть. В конце концов, что это за манера? Если я ему неприятен, если он не хочет видиться со мной, пусть скажет прямо. А эти многозначительные ужимки. На кой ляд они нужны?..

Феликс позвонил в полседьмого. Когда я пригласил его прийти, он отказался. К себе он тоже не позвал, а сказал, что можно встретиться через час на Арбате, у памятника Гоголю.

Около Гоголя шумели дети. Я оглянулся. Феликса еще не было. Я закурил и не спеша пошел вокруг памятника. Я остановился, разглядывая надпись, выбитую на постаменте, когда вдруг услышал женский голос, сказавший по ту сторону каменной фигуры:

— Фелька, ты все-таки с ним поосторожнее...

— Не беспокойся,— ответил голос Феликса Чернова, и в то же мгновение он и его жена вышли мне навстречу. «С ним» явно относилось ко

мне, но они ничуть не смутились, а, наоборот, уставились на меня так, как будто это я должен смутиться.

— Здравствуйте,— сказал я.

— Привет,— отозвался Феликс.— Ася, ты иди. Я долго не задержусь.

Она, так и не поздоровавшись и не попрощавшись, ушла. Мы оба глядели ей вслед. Она была очень красивая, и, хотя я уже давно не писал портретов, мне захотелось попросить ее попозировать.

— Ну-с, где мы устроимся? — произнес Феликс.

Я молча глядел на него.

— Видите ли, я подумал и решил, что нам действительно нужно поговорить. Причем наедине. Это, кстати, в ваших интересах.

— Вы держите себя, как дипломат, собирающийся предъявить ультиматум,— сказал я.

— Это так и есть,— ответил Феликс без улыбки.

Мы сели на свободную скамейку. Недалеко от нас толстая девочка в комбинезоне воздвигала какое-то сооружение из песка. «Нюр-р-ра, смотр-ры!» — кричала она, раскатываясь на букве «р», и дергала за рукав няню. Мы некоторое время следили за девочкой. Песок осыпался. Феликс потер лоб и заговорил:

— Я вам уже сообщил, что меня арестовали в октябре 51-го года, вскоре после нашего с вами знакомства. Само по себе это совпадение не имеет значения. «После этого» не значит «вследствие этого» — так утверждают логики. Но дело в том, что на следствии мне были предъявлены обвинения в злостной антисоветской агитации и был процитирован целый ряд моих высказываний. Источником такой доскональной информации могли быть только вы, Виктор Вольский. Подождите, не вскакивайте. Вы же человек с самообладанием. Я поясню вам. Мне предъявили почти дословную запись моих суждений о логической стороне выступлений и статей Сталина, о приемах его доказательств. Ну, вы помните: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» — и прочее, в том же духе. Мы с вами знаем, чем это пахло. Я помню вечер, когда мы разговаривали, когда я разглагольствовал, цитировал учебник логики Асмуса и шеголял латынью. Я помню даже то, что говорили вы, Виктор Вольский, о внешности Сталина: о том, что у него мало лба и мало ног, что единственный похожий портрет — это рисунок Андреева в Третьяковке — там видно, какой он рябой и какие у него мутные глаза. Я бы мог все это сказать следователю, вы бы тоже загремели в лагеря, таких вещей даже сексотам не прощали. Ну, что вы опять? Потерпите, я больше терпел. Я вас не посадил не потому, что пожалел,— я вас ненавидел тогда... Просто я — брезгливый, мне противно было мстить при помощи эмгебешников. Так вот, в этот вечер кроме нас с вами было еще трое. Одною из них тогда же арестовали, и он сидел все эти годы. Другой — он был моим другом с детства, он вне подозрений — он умер, а третья, девушка,— вы помните ее? — эта девушка была моя девушка, моя возлюбленная, моя жена. Мы жили с ней,



понимаете. Мы спали с ней, понимаете? Мы любили друг друга. Вы поняли, Виктор? Вам незачем сейчас и когда бы то ни было отпираться и оправдываться. Да. Вы единственный человек, которому я мог бы рассказать все, что я перенес,— чтобы вы поняли, чтобы вы почувствовали хоть в какой-то мере, что вы сделали. Вы понимаете, что у вас нет оправданий? Если вас запутали, запугали, вы должны были любить себя, уйти добровольно, а не становиться тем... тем, чем вы стали. Вы предатель, Виктор. О, я все это обдумал! Там, в лагере, я решил, что убью вас. Убью — за свою испоганенную жизнь, за то, что мы едим баланду, за то, что спим с мокрыми ногами, за то, что следователь плевал в меня и я не имел права стереть его слюну с лица, за то, что Люда вышла замуж за другого — не любя, плача,— чтобы ей, выгнанной отовсюду, было чем кормить ребенка, моего ребенка, он родился уже после того, как меня взяли. Слава Богу, муж ей попался хороший, очень хороший человек, теперь уже и она любит его. Понимаете, Виктор,— вы же умный человек, вы можете и должны это понять — я не мог мечтать о том, чтобы свернуть шею всему режиму, но вас я мог бы убить даже голыми руками, ведь я раза в два сильнее вас, и теперь могу — вот просто могу взять и задушить, здесь, на скамейке, около Гоголя... Что вы смотрите так? Не боитесь? Это хорошо, что вы вздрагиваете от слова «сексот» и не трусите, что я убью вас. Значит, вы поймете и сделаете то, что я хочу. Я раздумал убивать вас. Я очень переменялся с тех пор, Виктор. Мне стала противна мысль об убийстве. Я уже не говорю о том, что у меня есть семья, друзья, работа, много моря и много солнца в моих экспедициях и мне было бы жаль все это потерять. Нет, я не стану убивать вас. Но вы исчезнете. Вы не должны ни с кем общаться, вы не имеете права ни с кем дружить, вы не должны спать с порядочными женщинами, вы не смеете жениться — слышите? Лучше всего вам было бы уехать куда-нибудь на край света, на Дальний Восток или в Среднюю Азию, потому что я облегчу вам ваше исчезновение. Я вас предупреждаю открыто, Виктор: я позабочусь о том, чтобы все знали, кто вы такой. Мне вас жалко, Виктор, почти так же, как было жалко самого себя, но другого выхода нет. Вы спросите: почему я не встретился с вами раньше? Я ждал, что вы придете ко мне, что вы хотя бы попытаетесь объяснить со мною, и, честное слово, если бы я заметил, что вы хоть немного страдаете, что вам неудобно, неуютно жить от того, что вы сделали,— честное слово, я простил бы вас. Но вы спокойны, Виктор, вы ходите в гости, вы пьете вино и, наверное, встречаетесь с женщинами. А ведь вы не имеете на это права, Виктор, вы не имеете права! Раз вы так спокойны, раз вы так хладнокровны, значит, вы — подлец, Витя. Значит, вы не только марионетка сталинских времен — с тех пор многим «винтикам» стало не по себе. Вы спокойны, вы — негодяй; это я не оскорбляю вас, нет, я классифицирую, ведь я же зоолог. В нас негодяйское, черное начало. Будь я верующим, я бы сказал: антихристово начало. Оно встречалось у людей и до Сталина, и до Гитлера, и до Ивана Грозного, и до Лойолы. Таких людей надо обезвреживать,

самое лучшее — убивать, но я не могу убить. Вы поняли меня, Виктор? Не отвечайте мне, мне не нужно ответа, я вам все сказал и обо всем предупредил. Мой вам совет — уезжайте; лучше лечиться самому в одиночестве, чем ждать, пока вас начнут лечить другие. Прощайте, я надеюсь, мы больше никогда не встретимся. Мне очень вас жаль, Виктор.

Он встал, постоял немного надо мной, протянул руку и тронул ладонью мое плечо. Потом повернулся и зашагал прочь. Я смотрел ему вслед и, помнится, подумал: «А ведь это ему только кажется, что он вдвое сильнее меня. Как он сугулится...»

Я зажег потухшую папиросу и пошел домой. Добредя до подъезда, я остановился и оглянулся. Улица шумела, но этот уличный шум был как-то отдельно от моего слуха. Сам по себе вздрагивал какой-то дурацкий мускул на плече. Я стоял и смотрел, как задним ходом плывут отражения домов в окнах троллейбусов, как, низко пригнувшись, едут велосипедисты — единственные, кому не возбраняется одеваться эксцентрически: они натягивают на себя женские шапочки, фуфайки немислимых фасонов и расцветок, и никакие дружинники не трогают их. Девочки, болтая косичками, играли на тротуаре в «классы».

Но, Господи Боже мой, я же не доносил на него! Я никогда ни на кого не доносил!

.....  
*Они сидели за шахматной доской где-то над городом, а может быть, и в самом городе, но все равно — вокруг было пусто, и холодный синий воздух отделял их ото всего. Добро было в белой одежде, а Зло — в черной, как и положено. Они кончали одну партию и тут же начинали другую. Добро играло напористо, темпераментно, с азартом; Зло медленно обдумывало ходы. Их силы были примерно равны, но Добру не хватало выдержки: оно торопилось, хваталось за разные фигуры и часто просило дать ход назад. Зло всегда соглашалось, ему незачем было спешить. Оно продвигало пешки, укрепляло позиции, неторопливо развивало фигуры. Наискось, стремительно, как шаги, разили слоны Зла. С фантастическим, ненатуральным вывертом прыгали кони Зла. Гремя, скатывались в никуда фигуры. Чаще это были фигуры Добра. Оно охотно жертвовало ими в надежде на скорый выигрыш. Зло щадило своих. Постепенно пустела доска, разыгрывался эндшпиль, звучало «Шах и мат!» — и снова, для новой партии выстраивались фигуры. «Ну, последнюю», — говорило проигравшее Добро. И Зло всегда соглашалось. И снова выдвигались вперед пешки, и происходили рокировки, и готовились «вилки», и снова игроки заслоняли своих королей другими фигурами — своих почти беспомощных королей, носителей идеи победы, добиваться которой приходилось другим. Когда побеждало Добро, оно бурно ликovalo и требовало продолжать игру, чтобы упрочить успех. Зло всегда соглашалось. И партия следовала за партией, и холодный синий воздух, прослоенный белыми облаками,*

*клубился вокруг шахматистов, и Зло курило сигареты с фильтром, а Добро сосало карамельки, и они играли, играли, играли, и оба знали, что в любую минуту может зазвучать властный голос: «Хватит! Кончайте игру! Уступите другим доску!», и поэтому Добро торопилось увеличить счет в свою пользу, а Злу незачем спешить.*

.....

#### 4

Мне хотелось побыть одному, а вся наша шайка-лейка как на грех решила пообедать бутербродами с пивом тут же, на работе. Один побежал за припасами, а остальные сидели на столах и рассказывали о летних приключениях. Я вышел из комнаты и пошел в мастерскую трафаретчиков. Там никого не было, все ушло обедать в ближайшую столовку. Я лег на скамейку и подложил под голову чей-то портфель. Прислоненные к стенке, стояли неоконченные рекламные щиты. Это были изображения элегантного мужчины, сообщавшего, что до Сочи можно долететь за три с половиной часа. Я знал этот заказ, я сам набрасывал эскизы. Щиты были почти готовы, не хватало только красной краски — ее накладывали в последнюю очередь. Красным делали текст, полоски на галстук и рот. И вот теперь они стояли, безгубые, безротые, что-то хотели сказать и не могли: нечем было. Глаза у них были страдальческие, как у собак. И хотя я точно знал, что ничего, кроме дурацкой фразы о полете в Сочи, они мне сказать не могут, мне почудилась в их лицах просьба о важном разговоре.

— Вы что-нибудь знаете? — спросил я их. — Что-нибудь нужное мне?

Они многозначительно молчали.

— Ведь у вас в башках всего одна мыслишка: о трех с половиной часах полета.

«Как знать!» — ответили они мне молча.

— Даже если есть и другие мысли, так они такие же пошлые, как и эта.

«А ты дай нам речь — тогда услышишь», — сказали они.

— А стоит ли? — спросил я. — Много ли радости от слов?

«Никакой радости, — сказали они, — но все равно: люди должны говорить».

— Так вы же не люди.

Они посмотрели на меня укоризненно. Я встал, оглянулся. На подоконнике лежала губная помада. Я взял ее, сделал одному из них рот и сказал:

— Ну?

Он пожевал губами, разминая их, и произнес:

— Главное — это то, что ты сам знаешь, что ни в чем не виноват.

— Я-то знаю, а разве мне от этого легче?

— А кто сказал, что всегда должно быть легко? Хватит с тебя, тебе тридцать семь лет легко жилось.

— Но как же я буду жить среди людей?

— Страдай.

— Не хочу.

— Мне жаль тебя,— сказал он голосом Феликса Чернова.

Я взял тряпку, стер ему рот и подошел к другому. Этот другой был очень деловит:

— Ты должен встретиться с Феликсом и объяснить. Ты должен найти убедительные слова. Напомни ему, что лучше оправдать виновного, чем осудить невиновного.

— Да разве ты не слышал, каким тоном он со мной разговаривал? — спросил я, тоскуя.

— Это все равно. Ты человек, и он человек. Оба вы — Homo Sapiens. Человеческий разум...

Я ударил его тряпкой по лицу и заставил замолчать.

Третий сказал:

— Виктор, тебе придется смириться. Тебе придется сделать все, как сказал Чернов.

— Почему? — закричал я.

— Потому что ты виноват. И ты сам это знаешь.

— Ничего я не знаю! Я не доносил!

— Я не об этом. Ты виноват. Подумай, и ты сам поймешь. Ты виноват в том...

В это время в коридоре захлопали двери. Я едва успел лишиться его речи, как в мастерскую ворвалась банда трафаретчиков. «О, Витя! Виктор! Виктор Львович! — зашумели они. — К нам приехал ненаглядный Виктор Львович дорогой!» Они все были много моложе меня — студенты и студентки, халтурившие на летних каникулах, — но мы были на короткой ноге, вместе выпивали, играли в пинг-понг и ездили за город. Отношения были самые свойские. Троицким из них я, правда, показал как-то свои работы, попросив не говорить другим; но они, конечно, растрепались, и теперь я иногда ловил на себе почтительные взгляды. «Банда» явно гордилась знакомством со мной и короткостью. Иногда, по молодости, они пересаливали, но я терпел, они мне тоже нравились.

Мы поболтали немного об абстрактной живописи и о «левых» стихах, выяснили, что хорошая абстрактная живопись — это хорошо, а плохая — это плохо. Потом я сказал:

— Ну, мальчики и девочки, делайте деньги, — и ушел.

Работа не ладилась. Надоели мне эти чертовы рекламы. Я вяло водил карандашом, набрасывая контуры, шаркал резинкой по бумаге. Все это дурной сон. Какое право он имеет распоряжаться мной, моей жизнью? Как будто он Господь Бог. Навалился на меня, командовал и ушел. Нет, он не посмеет сделать то, чем угрожал. И вообще я могу сам рассказать об этом разговоре. Рассказать своим друзьям и знакомым. Ирине надо рассказать. Мы с нею не виделись с того дня, как за город ездили. У нее мать

заболела, и она сидела дома, даже на работу не ходила — взяла бюллетень. После работы позвоню ей, может быть, она уже свободна. «Предатель!» Это я-то предатель! Как будто я не знаю, чего стоит свобода. Слава Богу, навидался и наслушался, только что сам не сидел. Впрочем, армия и тюрьма — родные сестры. Игольников прав: солдат и зека всегда друг друга поймут. А что же ты с Черновым общий язык не нашел? Попроубай найди, когда он так предвзято... Я бы мог рассказать ему, когда я впервые понял, что такое несвобода, я рассказал бы ему о том человеке, который заставил меня понять. Это было на фронте, на Украине, меня, автоматчика, после ранения сунули к связистам, и я тащил по дороге все их связистское снаряжение. Каждая катушка весила по восемь килограмм, их было две — шестнадцать; стационарный аппарат — килограмма четыре, полевой, чтобы бегать на линию, — около полутора, автомат — четыре с половиной, да еще запасной диск, котелок, кусачки, всякая мелочь... Всего набиралось пуда два. Если бы все это было в одном месте, компактно, тогда бы еще ничего, а то перекрещивающиеся ремни давили на грудь, прижимали к шее жесткий и мокрый воротник шинели. И грязь. Тугая, как резина, хищная, как болото, она хватала за ноги, разувала. Иногда я сбивался с танковой колеи. Я уже не радовался тому, что немцам еще хуже. Я яростно выдираю ноги из этой гнусной квашни, цепляясь за измызганные и покалеченные прутья придорожного кустарника. Выбравшись на сухое место, я садился и, стараясь не торопиться, счищал щепкой, а то и пальцами, грязь с ботинок и обмоток. При этом ругался — устало и механически. И только потом, когда усталость чуть отпускала меня, — по-настоящему она никогда не исчезала, она была всегда, и война была прежде всего усталостью, — только немного погодя я начинал смотреть на все, что меня окружало, так, как смотрел до войны, видел бурую, разбухшую пористой грязью дорогу, детали: прямоугольники грязи, отлетевшие от гусениц, керосиново-глянцевые в тех местах, где они соприкоснулись с металлом, бледное пятно потерянной пилотки, походная кухня с сорванной крышкой, налитая вровень с краями мутной дождевой водой, и неожиданно яркий, радостный колер трофейного кабеля — красные и желтые нитки, протянутые метрах в десяти от дороги. Из такого кабеля деревенские девочки делали «намысто» — бусы. Если посидеть подольше, взглядеться пристальнее, все это обретало особую точность, каждый предмет как бы сам собой приближался к глазам, громко заявляя о своем цвете, о форме, о самом главном в себе. Но долго сидеть было нельзя... На одном из таких привалов я заметил, что в стороне, метра за три от дороги, валяется альбом — большой, красивый, с обтянутой целлофаном крышкой. Я смотрел на него и колебался. Чтобы взять его, надо было сделать несколько шагов в сторону, в топкое месиво. А вдруг в нем есть чистые листы? Я пересилил себя и пошел за альбомом. Я поднял его и сразу же заглянул в конец — чистых листов не было. Последняя страница была перечеркнута трехбуквенным ругательством. «Братья-славяне, — усмехнулся я, — резо-

люцию наложили». Надпись была сделана химическим карандашом, должно быть огрызком,— бумага была поцарапана. Сначала я хотел бросить находку, а потом все-таки сунул альбом под ремень и побрел дальше.

Вечером, на ночлеге, я раскрыл альбом и придвинул его к светильнику, сделанному из гильз.

Я увидел немецких мотоциклистов, мчащихся в ночь по залитой водой дороге, фары прорывались сквозь дождь; я увидел картину атаки: солдаты бежали вперед, выставив автоматы, а под землей в обратном направлении ползли мертвецы; Иисус в мундире с нашивками фельдфебеля нес крест на Голгофу, изрезанную траншеями; дальше был портрет человека с измученным ртом, со шрамом на лбу, внизу было написано по-немецки: «Я еще жив. 1943, февраль»; на следующей странице — человек с тем же лицом, он стоял у стены, его расстреливали, внизу надпись «Расстрел дезертира»; рисунок повторялся, только на этот раз художника расстреливали не немцы, а наши, он же лежал, как младенец, на руках Богоматери, а она стояла на коленях перед офицером; опять автопортрет: художник гладит оторванную женскую руку с обручальным кольцом; группа зенитчиков стреляет в ангелов, спускающихся на парашютах; солдат, стоящий под виселицей, на которой раскачивался труп человека в нижнем белье, надпись: «Я тоже хочу быть свободным».

Все рисунки были сделаны карандашом, только автопортрет 43-го года — пером.

Я смотрел этот альбом, пока мне не крикнули, чтобы я прикрутил огонь. Я лег, но и в темноте видел рисунки немца. Потом я заснул.

Я таскал с собой альбом почти до самой демобилизации, пока замполит не отобрал. Нет, я не относился к войне так, как этот Фриц или Ганс. Я должен был воевать, и не только потому, что меня призвали. Эта война была моей войной. Я не жалел, что воюю. И не о войне думал я, снова и снова рассматривая альбом. Я понял, что немец боялся не смерти: он был в ужасе от того, что кто-то взял его за глотку и заставил подчиниться, сделал его несвободным. Может быть, с этого-то немца, брата моего во Искусстве, и начались мои мысли о свободе и несвободе. Может быть, тогда-то и пришло мне впервые в голову, что умирать легче, чем быть в тюрьме. Может быть, именно с тех пор я стал осторожнее в разговорах, оберегая свою свободу. Свободу? Да, свободу: я писал картины, я пил вино, я купался в море, я ласкал женщин...

— Виктор, эскиз готов?

Он хочет наказать меня за несовершенный грех. Он хочет обречь меня на одиночество, высадить на необитаемый остров. Ну, что ж, пусть попробует: я не дамся, я буду сопротивляться, меня так легко не сломишь. Я буду звать на помощь, я брошу SOS, как бутылку в море...

— Виктор, как с эскизом?

Бутылка в море, Мишкина «Бутылка в море»!

Плещет в море волна ласковая,  
Плещет, плещет и бутылка шевелит,  
Потихоньку ополаскивая,  
Осьминогам ее трогать не велит.

Ветер носится, посвистывая,  
Вести носит от земли до земли,  
Синева глядит неустоявая,  
Не заметят ли бутылку корабли.

- Виктор!
- Чего тебе?
- Эскиз готов?
- Сейчас.

А что, если все будет, как в Мишкиной песне? Как в печальной песенке, вызывающей задумчивые вздохи после ужина? Как в грустной песенке о людской беспомощности, о приветливом равнодушии мира?

Цепи с грохотом потравливая,  
Соберутся корабли всех морей:  
Вон плывет письмо отправленное,  
Подбирайте-ка бутылку поскорей!

У судьбы моряцкой выпрошенный,  
Открывается конверт из стекла:  
Ждет моряк, на скалы выброшенный,  
Два столетья, чтобы помощь подошла.

— Ребята, шабаш! Пошли до дому, до хаты. Витя, черт с ним, с эскизом. Завтра докончишь. Двинулись?

- Идите, я еще поковыряюсь.
- Ну, как хочешь. Салют!
- Пока.

Когда все ушли, я откопил ватман, собрал карандаши, взял свою папку и пошел домой. Проходя по коридору мимо трафаретчиков, я замедлил шаг. Потом раскрыл двери и вошел. «Банды» уже не было. Мои давешние собеседники стояли у стен и улыбались свежими ртами. Я подошел к тому, с кем не договорил.

— Ну, так как же, дружище? В чем же я виноват?

— «Пользуйтесь авиатранспортом! — ответил он. — До Сочи вы можете долететь за три с половиной часа».

— Не дури! — сказал я. — Ты вроде бы умней своих братьев. Что ты хотел мне сказать?

— «Пользуйтесь авиатранспортом...»

— Слушай, не будь сволочью. Говори!

— «...до Сочи вы можете долететь...»

— А пошел ты к...

— «...за три с половиной часа».  
Я хлопнул дверью.

5

У Ирины была плавная фамилия — Иевлева. Каждый раз, когда я звонил ей по телефону, мне казалось, что я пою, произнося: «И-Р-И-Н-У-И-Е-В-Л-Е-В-У». И каждый раз я вздрагивал, слыша в ответ вопросительное «Да-а?»

— Иринка,— сказал я,— как дела?

— Витенька, я свободна! Мама решила, что ей удобнее болеть у тетки, и я ее утром отвезла на Фили. И теперь я свободна! Ты видишь, как я танцую у телефона?

— Конечно,— сказал я.— Ты встаешь на носки и шелкаешь пятками. А левой рукой ты придерживаешь халатик.

— Витька, ты ослеп! На мне нет халатика. И вообще почти ничего нет — так, самая малость.

— Ох ты! Тогда я сейчас примчусь.

— Сударь, я вас не задержу: вы застанете меня вполне одетой, готовой к выходу.

— А куда?

— Куда-нибудь махнем, Витя. Приезжай.

Я взял такси. Водитель попался молодой и напористый. Мы лихо проскочили перекресток на желтый свет. Милиционер в стеклянной будке погрозил нам.

— Ладно, ладно, сиди в своем подстаканнике,— пробормотал шофер. Некоторое время он гнал машину молча, потом попросил у меня закурить и доложил:

— Вернулся я сейчас из Наро-Фоминска, возил туда инженера одного. Когда брал его, спрашиваю: «Один едете?» — «Один»,— говорит. И правда, ехал один. А свободных мест в машине не было.

Он замолчал, ожидая, что я спрошу. Я спросил:

— Как так?

— А вот так: всю машину продуктами завалил. Я говорю: «Что это вы все московские магазины скупили?» А он: «Милый,— говорит,— жрать-то надо? У меня,— говорит,— семья большая. У нас,— говорит,— в Наро-Фоминске один лозунг: «Пей вино, смотри кино, закусывай радио».

Он захохотал.

— Ну отвез я его, выгрузил, дай, думаю, в магазины загляну. Зашел, а там и в самом деле — ни хрена! Вам сюда? К подъезду... Спасибо. Будьте здоровы!

Я вбежал на второй этаж и позвонил.

— Витька, это ты?

— Ага.



— Подожди за дверью, я оденусь.

— Открой, Ирка, здесь страшно, волки воют...

— Ну, ладно, входи, только не смотри на меня...

Я вошел с закрытыми глазами. Ирина засмеялась, взяла меня за руку и повела в комнату.

— Ирка, а что же ты в непристойном виде по коридору разгуливаешь?

— А никого нет. Была соседка — и та только что ушла.

Я открыл глаза. Ирина стояла в старом купальном халате, кое-как стянутом в талии пояском от плаща. Она смотрела на меня и улыбалась.

— Какой ты нарядный,— сказала она.— Каким ты франтом на работу ходишь. В голубенькой рубашечке пришел к своей милашечке.

Халат на плече был разорван. Я поцеловал ее сквозь дырку.

— Витька-Витька,— сказала она,— Витька-Витька.

...Мы никуда не пошли. Позже, под вечер, я сбежал в магазин, купил бутылку вина и еды. Мы ели и пили, сидя на постели, и она немножко опьянела, и смеялась, проливая вино, и прижималась ко мне растрепанной головой.

— Витька-Витька,— твердила она.— Виктор-победитель... Какая я дура, что столько времени оттягивала это. Я тебя больше никуда не отпущу. Слышишь?

Снова смешалось наше дыхание. Белели ее плотно опущенные веки, рот казался черным. Это было, как плаванье в беспокойном море. Нас с головой захлестывало волнами, мы задыхались под тяжелыми, сотрясающими тело ударами, нас выносило вверх, к ослепительному солнечному свету и снова швыряло вниз, в черные провалы беспамятства. Переводя дыхание, мы могли выговорить, простонать только имена друг друга...

Я выбрался из постели потихоньку, чтоб не разбудить Ирину. Я сел у нее в ногах и закурил. Огромная, никогда раньше не испытанная нежность властно овладела мной. Ирина лежала, подтянув к животу мерцающие колени, смешно вывернув руки кверху ладонями. Я глядел на нее и думал, что сейчас мне уже безразлично, красива ли она, умна ли; сейчас она мне близка — и это самое важное. Я ее люблю, и я любил бы ее теперь с кривыми ногами, или с черными зубами, или плохо острящую. «Жена моя»,— подумал я и сжал челюсти, чтобы не заплакать. Такого у меня еще никогда не бывало. Я ни на секунду не осуждал себя за то, что много распутничал раньше, и думать о женщинах не казалось мне кошунственным рядом с нею. Я знал, что жил так же, как десятки моих знакомых, так же, как они, сходиллся и расходился с женщинами, так же думал и говорил о них. Может быть, мы говорили пошлости. Пошлость! Нет, не то. Наверное, все-таки это был поиск — поиск, сам по себе доставляющий наслаждение. Кто ж виноват, что самоутверждение мы ищем в запретных и стыдных потемках, что слова, которые мы произносим, зазем-

ляют и снижают мудрую жажду красоты? Ира, Иринка, жена моя, я все-таки нашел тебя...

«Вы не смеете жениться». Я встал. «Вы не смеете спать с порядочными женщинами». Врешь! Я смею. Я сам порядочен. Я умен и талантлив. Ищи других, ищи настоящих нелюдей. Ищи пристально, не клюй на слишком яркую приманку. Ищи! Они живут среди нас, настоящие стукачи, — ездят в трамваях и метро, посещают филармонию и читают Солженицына, выходят на пенсию и разводят цветы, заседают в товарищеских судах, пишут научные работы! С ними своди свои счета.

«Своди свои счета, — повторил голос Чернова. — Если ты такой честный, то это и твои счета. Ты уходишь от ответственности, ты хочешь, чтоб другие отскабливали грязь, а ты будешь щеголять в чистой совести, как в чистых ботинках. Взамен мелкой монеты ты кинешь чистильщику: «Я с вами совершенно согласен!» И будешь гордиться своей гражданской смелостью. «Дело делать надо!» Дело делать? А что сделал ты, Феликс Чернов? За что ты сидел в тюрьме? Ты и девяносто девять процентов всей 58-й? Вы же сидели ни за что. Вы тоже ничего не делали. Ни плохого, ни хорошего — ничего; мне до слез, до крови жалко вас, но передо мною вам гордиться нечем — вы тоже бездействовали. Я виноват только в том, что ничего не сделал — если это можно считать виной. Если это считать виной... Если считать виной...»

## 6

Я так и не сказал ничего Ирине. Мне не хотелось зряшными разговорами портить наши первые часы, первые дни.

Прошла неделя. С работы я ехал прямо к ней, а иногда она встречала меня у дверей наших мастерских, и мы шатались по Москве, бродили по набережным, глаза на неоновых пингвинов, рекламирующих мороженое. Мы очень заботились друг о друге: я объяснял ей, что Пиросманишвили гениален, а она то же самое говорила о Шостаковиче. Все было чудесно.

Я сидел на работе и насвистывал, затачивая карандаш, когда меня позвали к телефону. Это звонила Ирина. Она сказала мне, что мать вернулась домой и поэтому я не смогу прийти к ней сегодня.

— Ну, так приходи ко мне.

— Витенька, сегодня мне надо побыть с нею. Первый день.

— Какого лешего! — завопил я. — Жена ты мне или не жена?

— Милый, не скандаль. Во-первых, еще не жена... Что? Не рычи — жена, жена. А во-вторых, я в самом деле совсем запустила хозяйство. Надо прибрать, постирать кое-что... Завтра увидимся. Ну, целую тебя.

Я повесил трубку. Рядом стоял и ухмылялся сослуживец:

— Ты, значит, женился? А свадьба где? Зажал?

Я хлопнул его по плечу:

— Не горюй, не грусти! Будет вам и белка, будет и свисток.

Но когда я кончил работу, я вдруг задумался: куда деваться? За эту неделю я привык быть с Ириной ежедневно, и сейчас мне было как-то не по себе. Я пошел к Мишке Лурье.

Мишка жил недалеко от меня, на Трубной площади. Дверь в квартиру открыла соседка. Я постучал в Мишкину комнату и, не дождав-шись ответа, вошел.

Мишка, его жена и Нина Ряженцева сидели за столом. Еще за дверью я услышал, что они о чем-то спорят, а когда вошел, увидел, что Мишка зол как черт, и у Нины красные пятна на лице. Мишкина жена села, поджав губы.

— Здорово, служивые! — сказал я. — Чего вы тут не поделили?

— Здравствуй, — сказал Мишка хмуро.

— Что случилось?

Они молчали. Потом Нина встала.

— Мне пора идти, — сказала она.

— Я вас провожу, Ниночка, — отозвалась Мишкина жена.

— До свидания, — сказала Нина, и они ушли.

— Мишка, в чем дело? — спросил я. — Что-нибудь стряслось?

— Стряслось.

— С кем?

— С тобой.

Я понял.

— Ага, — сказал я. — Чернов. Мне следовало всех предупредить. Ну что ж, рассказывай. Жаль, я опоздал. Мне не до того было.

— А до чего тебе было?

— До любви.

— Мог бы ради такого случая отложить кобеляж.

— Это не кобеляж, Мишка. Я женюсь.

— На ком?

— На Ирине Иевлевой.

— Ого! — Мишка заулыбался. — Вот это да! Ну и ну!

— Может, ты прекратишь эти междометия? Рассказывай, что произошло.

— Что произошло, что произошло! Произошло то, что к Нине пришел этот Феликс Чернов и сказал, что ты стукач, что ты его посадил, что у него есть неопровержимые доказательства.

— Он изложил эти неопровержимые?

— Да.

— Ну и что? Ты-то что думаешь?

Мишка отвернулся и усталился в стенку, где пестрела репродукция «Танцовщиц» Дега.

— Мишка, что же ты молчишь? Ты тоже считаешь, что я гад? Мишка, мы же друг друга со школы знаем.

— Слушай, Виктор, — Мишка выпрямился. — Ты должен пойти к

Чернову. Вы должны с ним объясниться. Вы же оба разумные люди. Он ведь должен понять, что лучше молчать, чем обвинять, ошибаясь. Хочешь, мы вместе пойдем?

— Погоди, Миша. Ты-то, ты — что думаешь?

Мишка молчал.

— Я верю тебе, Виктор, — сказал он медленно, — верю...

— Но... Ты ведь хотел добавить «но»?

Он молчал.

— Мишка! — заорал я.

— Как будто ты сам не понимаешь, — выговорил он нехотя.

Я поднялся:

— Ну, что ж. Спасибо и на этом...

## 7

«Узбекистан» гудел, как бесплацкартный вагон. Запарившаяся прислуга моталась между столиками, отмахиваясь салфетками от нетерпеливой публики. Пьяная девка за моим столиком все время пыталась говорить со мной по-английски, но кроме «спик ю инглиш» и «ай эм гёрл» ничего выдать не могла. Ее кавалер, высоколобый зануда с университетским значком, говорил: «Люда, погоди!» Она на какое-то время умолкала, и тогда он, перегибаясь через столик, пачкая рукава салатом, убеждал меня:

— Самая объективная газета у американцев — это «Нью-Йорк геральд трибюн». Читайте «Нью-Йорк геральд». Они всему цену знают...

— Вы что — агент по рекламе? — спросил я, отпихивая его влажную руку, хватавшую меня за плечо. Но он не давал сбить себя:

— Нет, я — доцент Вашечкин. Семен Алексеевич Вашечкин. А вас как зовут?

— Фра-Дьяволо.

— Ха, вы шутник. Я говорю: читайте...

Он остановился и посмотрел на меня любящими глазами. Девка завопила:

— Спик ю инглиш?

— Люда, погоди! Вот я вам сейчас расскажу: сели мы в покер, и я проиграл восемь рублей, а? Вы играете в покер?

«В покер? Сукин ты сын! Встретился бы ты мне на улице, я б тебе показал покер!»

Я перевернул графинчик над стопкой. И полстопки не набралось. Доцент засуетился:

— Разрешите, я налью. Пожалуйста...

— Ай эм гёрл!

— Люда, погоди! Вы мне очень нравитесь, уважаемый — хе! — Фра-Дьяволо!

— Ладно, лейте. Официантка, еще триста грамм!

Официантка по-матерински поникла надо мной:

— А не хватит ли? Не сердитесь, вы уже много выпили.

— Ничего, ничего, девушка! Вы же видите: я в полном порядке.

Но я не был в полном порядке. Хотя я и чувствовал себя трезвым, зал расплывался, в голове стучало, и страшная сухость стягивала рот.

— Слушайте, Вашечкин! Слушайте, доцент! Я хочу вас спросить вот о чем. Только скажите ей, чтоб она не лезла со своим «инглишем», а то я ее по-русски пошлю! — добавил я раздраженно. Я был уверен, что трезв: я фиксировал свой тон, я позволял себе раздражаться.

— Люда, погоди! Я слушаю вас, дорогой друг. Я — доцент Вашечкин...

— Спик ю... — пискнула Люда и печально умолкла.

— Слушайте, Вашечкин. Кстати, что за дурацкая фамилия: Вашечкин, Нашечкин... Ладно, не сердитесь. А, принесли. Спасибо, поставьте сюда. Так вот, представьте, что вас обвинили в грязном поступке, в подлости. И вы не можете доказать, что не виноваты, вы беззащитны против клеветы. Вы слушаете меня? Вы слушайте, а то... Что вы будете делать, доцент? Как вы будете жить?

— Я... Спасибо, спасибо. За ваше здоровье! Кха. Да. Если бы меня обвинили в чем, в том... в том, в чем я не виноват, то я был бы спокойным! Спокойненьким!!! Потому что я сам знал бы, что я ни в чем не виноват. А?

— Здорово! Ай да доцент, ай да молодчина! Слушай, сколько лету от Москвы до Сочи?

— Что? До Сочи? Кажется, часа три, три с половиной.

— Ух, Вашечкин, опять угадал!

В это время Люду замутило. Она встала и посмотрела на нас трагическими и бессмысленными глазами.

Вашечкин вскочил, подхватил ее за талию и повел, оборачиваясь ко мне и вскрикивая:

— Погодите! Не уходите! Договорим!

— Здесь свободно?

Одно место за нашим столиком было не занято, но к нам никто не садился, потому что на стуле лежала Людина сумочка. Вашечкин, уходя, подхватил ее.

— Да, одно место, — сказал я.

— А мне больше и не надо. Я не люблю, знаете ли, на двух стульях сидеть. Я всю жизнь на одном стуле просидел. Чего и вам желаю.

Он был совсем пьян, этот человек лет пятидесяти, с осоловелым добродушным лицом, с маленькой лысинкой в белокурых седоватых волосах — я увидел ее, когда он нагнулся, садясь.

— Ну, что пьем? — спросил он, потирая руки. — Девушка, графинчик, салатик, шашлычок по-карски, пару бутылочек минеральной. Вот

так. Молодой человек, разрешите воспользоваться пепельницей. Вот так. Спасибо, коллега.

— Какой я вам коллега,— буркнул я.— Я художник.

— И я художник,— подхватил он.— Художник в своем роде. Шучу, шучу. А с художниками я был знаком. С художниками я много встречался. Ночи напролет, бывало, беседуем.

— Вы кто же? Искусствовед? Критик? Министр культуры?

— У-у, горяч, горяч. Молодой еще, ничего.

— Вы лучше выпейте. А то пока вам еще принесут...

— Выпью, сынок, выпью. Разочтемся. Будь здоров. Я им говорю: «Что ж вы,— говорю,— художники? Жалко мне вас,— говорю». Та-акой народ! «Присаживайтесь»,— говорю. Да, а сейчас я на пенсии. Вот так.

— Что-то я не пойму, какие у вас с художниками дела были?

— Да одни ли художники? Профессора, академики! Химики! Я тут, а они — вот они, голубчики мои. Ну, чего ты смотришь, чего глазами моргаешь! Кто я такой? Пожалуйста! Я — майор. Я в органах работал. Двадцать семь лет, как одна копеечка. А теперь на пенсии.

Он вдруг заговорил шепотом:

— Не нужен, говорят, стал. Образования, говорят, мало. Отдохните, говорят. А на мое место — мальчишку, сопляка. Только — тсс, молчок! Я тебе, как своему...

— Что?!

— ... как своему брату говорю, как младшему брату: придут! Придут, позовут. «Выручай,— скажут,— майор!» Ты думаешь, все эти штучки — надолго? Все эти манежи, ентушенки, совнархозы, мать вашу... Молчи, молчи. Зубы стисни, молчи, не тушуйся. Думаешь, я один такой? Думаешь, я сопьюсь на большой-то пенсии? Врешь! Я иду по Кузнецкому, а они навстречу, навстречу. Здраваться не положено в штатском, так они глазами приветствуют! Нет! Шалишь! Без меня не обойдешься! Придут, позовут, а я умоюсь, побреюсь, выйду к ним — и мы такое покажем! Тсс! А то, понимаешь, слабаки: «Я,— говорит,— угрозыния совести испытываю, я неправильно сообщил». А какое ты право имеешь рассуждать, что правильно, что неправильно? Ты долг свой исполнил! Перед родиной, перед партией! Перед... впрочем, о Нем молчу. О Нем другие скажут. Вот так. Мало ли, что неправильно, а сообщить надо. Мы разберемся. Ты хороший малый, молодой только, в глазах задумчивость. Ты это брось, не задумывайся. Не тушуйся! И правильно сообщил. То есть, это не ты сообщил, я слутался... Но и ты мог бы. Ты настоящий человек. На каких фронтах воевал? В окружении, в плену был?

Он вдруг замолчал и подозрительно уставился на меня.

— Ты мне смотри-и,— прошептал он.— Ты подписку дал. Вот так.

За соседним столиком освободилось место. Майор встал и перебрался. Туда ему и заказ принесли, оттуда он грозил мне пальцем и шипел: «Вот так!»

Вот так! Так и никак иначе! Он распухал у меня на глазах, двоился, тронлся, переодевался в серые плащи, обрастал погонями и орденами, размножался по всему ресторану. Вот так! Да нет же — не так! Не будет так, майор, эмгешник, сволочь проклятая, не будет так! Я сдохну, чтобы так не было.

Я не помню, как и откуда появился Брынский. Кажется, он сначала звал меня с другого конца ресторана, но я не вставал, и он сам пришел ко мне. Водки у меня уже не было, и я пошел требовать долг с эмгешника, а Брынский твердил:

— Плюнь! Я тебе стихи почитаю.

— Сейчас,— сказал я,— сейчас.

Я пошел в уборную и подставил голову под кран. Ко мне подошел служитель:

— Молодой человек, хотите, через пятнадцать минут трезвым будете?

— Хочу,— сказал я.— На всю жизнь...

— На всю не выйдет,— ответил он деловито.— Три рубля пожалуйте.

Я дал ему трешку. Он отвел меня за перегородку, усадил на стул и сунул в руки флакон с витамином Б-прим.

— Ешьте,— сказал он.— Только не засыпайте.

Я глотал драже, давился и не верил. Однако минут через двадцать на слабых ногах, но почти трезвый, я вышел в зал.

Брынский ждал меня.

— Слушай,— сказал он.— И вы слушайте,— он повернулся к Вашечкину и его Люде — они уже вернулись. Лицо его стало каменным, он взялся за щеки и прочел:

Пройдут века, прекрасны и суровы,  
Чтоб мы смогли все знать и все уметь,  
Тогда спадут небесные покровы  
И завопит архангелова медь.

Народ завоет: «Как же так? До срока?»  
И взмолятся: «Немного погодя...»  
Народ, спеша, отыщет лжепророка,  
Народ, бляя, создаст себе вождя.

И побежит бессмысленно куда-то,  
А вождь наморщит мудрое чело —  
И вот восстанут снова брат на брата,  
Рассудок на рассудок, зло на зло...

И черный конь сверкающей подковой  
Ударит о заждавшийся гранит —  
И землю всю период ледниковый  
В миллионный раз, кряхтя, оледенит.

...Доктрины строя, лезя в поднебесье,  
Глупцы, глупцы, не увидали мы,  
Что стержень жизни — только в равновесье  
Добра и зла, сияния и тьмы.

— Поэт! — воскликнул Вашечкин. — Настоящий поэт! Напишите мне автограф. Я — доцент Вашечкин.

На другое утро я нашел листок со стихами у себя в кармане. Не знаю, как он туда попал. Может быть, я отнял его у Вашечкина? Ведь я снова наполнил.

*Брат мой! Я вечером выйду из дому и спущусь в преисподнюю, где станции нанизываются на грохотание составов, в чванную бессмысленность мрамора и бронзы, в угрюмую усталость толпы. Я промчусь под городом, под людскими рожденьями и смертями, под нежностью и разворотом, под пестрой мешаниной жизни. Я выйду наверх, неся на сутулых плечах весь этот груз. Я постучусь в твои двери, свалю ношу у порога и спрошу тебя: «Что мне делать со всем этим?» Ты ухмыльнешься лукаво и грустно, как будто тебе ведомы привалы и провалы дороги, победы и побеги в пути. Ты процитируешь мне тоскливых мудрецов, длинными пальцами вылепишь из воздуха чудищ Апокалипсиса и скажешь: «Это будущее». Я не поверю тебе, брат мой. Я не захочу голой души сунуться в лед и пламень твоих пророчеств. Я скажу тебе: «Что мне делать сегодня, сейчас?» Я вытащу из вороха и положу на осыпанный папиросным пеплом стол Виктора, моего героя. И я спрошу тебя: «Чем ему помочь?» Ты ничего не ответишь, и мы будем печально смотреть, как он корчится на липкой клеенке, рядом с недоеденным куском хлеба, на краю стола, с которого так легко упасть. Мы будем смотреть на него так, как смотрим в зверинце на обезьян, умиляясь и ужасаясь сходству с нами. И ты спросишь меня: «А много ли тебя в нем?» — «Не знаю, — отвечу я, — не знаю. Наверное, много».*

*Мы допьем вино, оставшееся от позавчерашнего кутежа, обменяемся новостями и анекдотами, и я уйду, провожаемый твоим взглядом, — уйду бродить по улицам и заглядывать в лица прохожих и в освещенные окна первых этажей.*

*Я доберусь до твоего переуллка, женщина, друг мой, и войду в твой дом. Мы вместе подберем обломки нашего прошлого, и сложим их маленьким костром, и будем греть над ним озябшие ладони. И я не спрошу тебя, что мне делать, потому что в твоих глазах я увижу бегство — от раздумий, ты спрячешься в своего ребенка. И что ты можешь мне посоветовать, как можешь спасти меня и моего Виктора?*

*И я вернусь домой, и молчаливое сочувствие встретит меня на пороге, и я ткнусь губами в теплые ключицы, и медленно буду воскресать для новых дней и ночей. И я не услышу вопроса: «А много ли тебя в нем?», потому что только здесь знают — сколько.*



*Я снова останусь один на один со своим героем и скажу ему,  
лежащему в пьяном забытьи:*

*— Я ничем не могу тебе помочь. Ты обречен, Виктор...*

.....

8

Я шел на работу с тяжелой головой, изломанный, измученный. Я заставил себя пойти не потому, что не мог пропустить — у нас с этим довольно свободно — мне нужно, мне необходимо было знать, известно ли что-нибудь на работе. Кажется, мне хотелось, чтобы уже все наконец узнали, чтобы все для всех стало ясно, чтобы я перестал висеть между небом и землей.

На работе все было тихо. Сослуживцы подсмеивались над моим помятым видом — я спал не раздеваясь — и над тем, что я через каждые десять минут пил воду.

Шел срочный заказ: рекламные щиты для Союзпечати, и, как всегда, расцвела обычная бестолковость нашей шарашкиной конторы. Никак не могли распределить задания, терялись тексты, кто-то уже вопил, что ни одного дня в этом сумасшедшем доме не останется.

Сумасшедший дом! Посмотрели бы они, как там на самом деле. Чистота, порядок, телевизор, стенгазета. Я, правда, у буйных не бывал, я приходил с визитами только в тихое отделение. Там все были очень деловитые, очень сосредоточенные. Прямо не психбольница, а читальный зал Ленинской библиотеки. Вот только двери там открывают треугольными ключами, как в железнодорожных вагонах. Идиллия, мирный приют. Заповедник раскрепощенной мысли...

У меня кончились папиросы, а курящих в нашей комнате, кроме меня, не было. Я пошел к трафаретчикам.

Дверь в мастерскую была полуоткрыта. Оттуда слышался галдеж:

— Зинка, не трещи!

— Алло, Эдик, кинь тряпку!

— Ребята, новые стихи!

— Левушка, Левушка, когда ты побреешься?

— Вайс утверждает, что критическая точка...

— Эй, босяки, тихо! Читай, Ленек!

Они всё бубнят про политику,  
Про договоры долдонят,  
А у девочки — слезы по личику  
И подбородок в ладонях.

Они нажрались до отвала  
Доктринами США и Россий.  
А снег как ни в чем не бывало  
Декоративно красив.

Как высушить сердце ни целься,  
Но сыплется звезд фейерверк,  
И прет по-весеннему Цельсий,  
И гонит подснежники вверх!

— Слабо, Леночка, слабо!

— Ну что за наивное противопоставление!

— Девочки, а мне нравится!

— И мне...

— А кто это, собственно, «они»?

— «Они» — это мы, те, кто газеты читает. Так ведь, Леночка?

— Вадим, ты шкаф. Бесчувственный несгораемый шкаф, в двести килограммов весом. И не разговаривай со мной, пожалуйста.

Я вошел. Все замолчали. Ко мне обернулось с десятков лиц — смущенных, любопытных, вызывающих.

— У меня кончились папиросы,— сказал я. Они молчали, не двигались. Потом Вадим, тот, кого назвали шкафом, положил передо мной на стол пачку сигарет. Я вынул одну, поблагодарил и вышел, плотно закрыв за собой дверь. В комнате сразу зашумели. Не успел я пройти и пяти шагов, как меня догнала Леночка. Я остановился. Она стояла передо мной, испуганная, решительная, и вдруг выпалила, как в воду кинулась:

— И мы просим вас, Виктор Львович, приходить к нам только по делу!

Я молча смотрел на нее. Она всплеснула руками и зашептала:

— Как вы могли, как вы могли... Вы, такой... И что вы с собой сделали!

Ах, ты, Сонечка Мармеладова! Я захохотал.

— Успокойтесь, Леночка, я не убивал старуху.

— Что? Какую старуху?

Но я уже бежал к выходу. Я вылетел на улицу и бросился к автомату.

— Нина? Нину Васильевну Ряженцеву. Нина, это говорит Виктор Вольский. Погодите, не бросайте трубку! Мне нужен адрес Феликса, Феликса Чернова. Что? Я хочу остановить его, пока не поздно. Что? Нет, я не угрожаю... Потом, потом, дайте сперва адрес. Что? Что? Дом 45. А квартира? Ага. Не будьте дурой, Нина! А, Господи, какая разница, хам я или нет!

Я шел на людей, на машины, на красные огоньки светофоров. «Пьяный! Хулиган!» — кричали мне вслед. Я шел, как вал, как волна, закипая по дороге. Я нес в себе проклятья и просьбы. Я шел, чтобы обрушиться на него. И я зазря расплескал все это в чистой прихожей квартиры Черновых, где красивая Ася брезгливо сказала мне:

— Феликса нет дома. Но мы предполагали, что вы придете. Поэтому Феликс поручил мне передать, чтобы вы выполнили то, о чем он вам

говорил. Он свое решение не изменит. И я думаю, что он поступает правильно и справедливо. Такие, как вы, не должны встречаться с людьми. Мне даже страшно думать, что какая-нибудь женщина может любить вас. Разве что шлюха...

Я шагнул к ней. Я ударил бы ее, если б она вздрогнула, отшатнулась. Но она осталась стоять на месте и по-прежнему с гадливостью смотрела на меня...

Дома я лег на диван. «Он поступает правильно и справедливо!» Он поступает правильно и несправедливо! Ведь я же не виноват. Ведь я же безгрешен. Нет на мне вины!

Есть на мне вина. Я не сидел в тюрьме. Я должен был сидеть в тюрьме. Но не так, как Феликс. Не дуриком. Я должен был что-то сделать, за что мог попасть в тюрьму, в лагеря, в рудники, к стенке!

Зазвонил телефон.

— Да, это я... Что? Считать, что мы... Повторите! Считать, что мы незнакомы? Ладно, буду считать!

Господи, грешен! Виноват в несодеянном, виноват в несовершенном, в равнодушии, в трусости виноват. В том же, в чем и вы! Только я один за всех буду расплачиваться.

Звонок.

— Да, да. Да, конечно. Не беспокойтесь, не приду. Будьте здоровы!

Ладно, черт с вами. Вы меня одолели. Вы — справедливые и честные, вы — храбрецы образца 63-го года. Куда мне от вас деваться? Ладно, я уйду. Я возьму только одного человека, которому я нужен. Это вы мне можете подарить, мне — побежденному — жизнь... Мы с нею уедем от вас. Куда-нибудь, где она сможет заниматься музыкой, а я хоть малярить. Нам хватит друг друга на всю жизнь...

— Да, это я, мне все понятно, идите к черту!

Я буду жить с нею далеко, а вы оставайтесь здесь. Будьте честны, будьте справедливы, будьте счастливы, будьте прокляты.

Звонок...

Звонок...

Звонок...

Ирина, позвони же мне! Или хотя бы ты позвони, Господи!

## 9

Дверь распахнулась, и в комнату без стука вошел Игольников. Я приподнялся на локте.

— Витя, можно мне к вам?

— Ко мне нельзя, Володя. Ни вам, никому другому. Я вне закона, вне игры. Я для вас кончился.

— Витя, перестаньте! Да не верю я ничему, поймите. Можете вы мне

поверить, что я не верю, что я вам верю... тьфу, черт, запутался! Бросьте, не хочу даже говорить об этом.

— Слушайте, Володя, не надо мне примочки прикладывать. Вы же никогда у меня не бывали, чего же вы сейчас примчались? Утешать? Уговаривать?

— Ничего подобного! — окрысился он. — Тоже, нашли утешителя. Я к вам пообщаться пришел... Ладно, не буду врать. Вам сейчас скверно, а я к вам хорошо отношусь, ведь вы сами это знаете. Ну, так как — уйти мне или остаться?

— Останьтесь.

— Ага! А ежели я остаюсь, то извольте принимать меня как положено. Скажите: «Будьте гостем дорогим!»

— Будьте гостем дорогим.

— Не слышу энтузиазма в голосе. Ладно, Бог вам судья, я сам буду хозяйничать. Где у вас штопор? Дайте нож — колбасу нарезать. И какие ни на есть тарелки. Рюмки? Вот они. Ну, поехали!

Мы выпили.

— Витя, дорогой мой, я вам сейчас одну тайну открою. Все ерунда, не обращайте внимания. Все объяснится, все войдет в свою колею. С вами не произошло самого страшного. Вас обвинили в измене? Пусть! Мы с вами знаем, что это не так. Я с Черновым из-за вас поругался. Плюньте! Главное — что вам не изменили.

— Как «не изменили»? Все отвернулись, все поверили...

— Но вот я же не поверил! Но я — это ладно, это пустяки. Вам не изменила женщина, которую вы любите. Я, брат, все знаю. И душевно вас поздравляю — Ирина замечательный человек. Мы ведь с ее братом, с Леонидом, друзья были. Он в 44-м на фронте погиб. Какой пианист был, эх! У них вся семья музыкальная.

— Подождите, Володя. Она — знает?

— Знает. Ну, чего вас затрясло? Вы слушайте: был я вчера у Оксаны Ямпольской — вы ее не знаете, она в издательстве корректором работает, разбитная такая бабенка. Народ там разный собрался. И вдруг является Ирина. Они с Оксаной, оказывается, приятельницы, даже родня какая-то по первым мужьям. Ну, я, понятно, обрадовался, о матери стал расспрашивать. Хорошо. Вечер как вечер. Только смотрю я — Ирина какая-то смутная. «Что ты, — говорю, — деточка, что с тобой?» А она: «Отказалась я, — говорит, — от одной встречи сегодня, а потом обстоятельства переменились, я стала звонить, а его нет». Я говорю ей: «Пустяки, мол. Погляди, какие парни бравые. Да и я еще хоть куда». Смеется. «Я, — говорит, — Володечка, замуж собралась. Можно мне по второму кругу замуж выйти?» Только мы собралась выпить с ней по этому поводу, вдруг слышим — ваше имя назвали. Я возьми да и пошути: «Кто это там о моем знакомом мазиле говорит?» И какая-то чертова баба выкладывает всю эту ахинею. Я, признаться, так растерялся, что даже дар

речи утратил. И вдруг встает Ирина и говорит... В общем, неважно, что именно она говорила. Вложила им по первое число. И я немного добавил. И мы с нею гордо ушли, к великому огорчению хозяйки. Так что салон остался без музыки и литературы. Проводил я ее домой, а сам к Черновым. Там... поцапались. Вот и все. Хорошо, что я вас застал. К вам никак не могли дозвониться эти вот — благородные либералы. Где вы пропадали?

— Я всю неделю у нее жил.

— Голубчик, Витя, Ирочка с вами, и вам все — трын-трава! Вот когда женщина уходит — тогда дело плохо. Ведь было со мной, было. Поверите ли, Витя, Богу молиться стал. Господи, твержу, что ж это? Господи, помоги! А ведь я безбожник, язычник, я толстяк, я член ССП, чтоб ему провалиться! А тут как за горло взяло — взвыл! И ревность, ревность. Как вспомню этого человека, к которому она уйти хотела, так меня трясет от ненависти, от отвращения. Мне в нем все противно было: и голос, и фигура, и манеры. Сейчас-то я понимаю — человек как человек, неглупый, занимательный, работник дельный, честный. А тогда! Меня мутило от одного его вида. А уж представить ее с ним вместе, с руками его волосатыми — какая это мука... Погляжу на него — и всего передергивает, как будто он не ей, а мне плечи целовал. Какая мука, Витя, какое несчастье...

Он замолчал, налил водку в стаканчики. Мы выпили.

— Володя,— сказал я.— Я позвоню ей?

— Не надо. Я сам позже позвоню...

— Да, так и страдал. Уехать хотел. Я тогда в газете работал. Пришел к главному: отпусти, мол. «В чем дело?» — «Бога,— говорю,— искать пойду». А он: «Ищи,— говорит,— царство Божие внутри себя, а общественность тебе поможет». Н-да, было — бытьем поросло. Я к чему это все? К тому, что вам, Витя, грех жаловаться, у вас есть стержень, арматура, вы не рассыплетесь.

— Володя,— сказал я,— налейте мне еще, давайте выпьем. Вы удивительно добрый человек, Володя.

— Нет, это не я, это климат такой. Мы, россияне, добрые от безволя, от обреченности, оттого, что все вокруг, все, что было и есть,— мираж, фантомы. Все зыбко и шатко. И злые мы оттого же.

Как все алкоголики, он быстро пьянел.

— Американец или швед — я об обыкновенных людях говорю — без нужды не будет добрым или злым. У них есть конкретное, утилитарное представление о справедливости. Они не швыряются эмоциями. Они экономят себя и время. А мы гордимся сдуру, что не минуты, не сутки, не годы, а целую жизнь, целую эпоху бросаем псу под хвост. Сами знаем, что дураки, а гордимся. Как мы огрызаемся, когда нас иностранцы жалеют! Один мой приятель даже стишки сочинил по этому поводу —

его какой-то француз уговаривал, какие мы несчастные. Там такие строчки есть:

А ты, француз, ты ни при чем,  
Не лезь и наших душ не трогай,  
Мы двое — жертва с палачом,  
И мы идем своей дорогой.

Нет, мы с вами там жить не смогли бы. И не потому, что не сумели бы на жизнь заработать, нет! У меня профессий двадцать есть, у вас одна — но интернациональная. Нет, дело не в том. А вот смог бы я в одиннадцать вечера вломиться в дом к не очень близкому человеку и начать выкладывать ему то, что я вам выложил? Нет! Задушевность, Витя, это такая валюта, на которую за границей ни фиги не купишь. А мы в России сидим по уши в дерьме и такие задушевные разговоры ведем! Прячемся, как страусы, в многозначительность... Кстати, о страусах: вот вы, Витя, художник. На кого похожи страусы?

— Не знаю, — пробормотал я.

— На балерин. У этих дурацких птиц позиция классического балета. И хвосты, как балетные пачки... О чем мы говорили? А, ругали Россию! А мы ее всегда ругали, всю дорогу, со времен Владимира Красное Солнышко. Газетчики пишут, что кто, мол, ведет подобные разговорчики, тот кусает руку, которая его кормит. Идиоты! Рука-то моя! Я хочу побриться, — неожиданно заявил он. Я включил бритву.

— Бритье — ежедневный обряд отречения от варварства. Петр это понимал, жердь голландская. Он этим бояр крепче, чем стрелецкой казнью, связал...

Я уже не слушал его. Тоска по Ирине погнала меня к телефону. Я набрал номер.

— Ее нет дома, — ответила мать. — Нет, не знаю... Хорошо, передам... До свидания.

Ирка, где же ты? Ты где-то в одном городе со мной, в одной стране, на одной планете. Почему ты не отзываешься? Не надо, не ходи к знакомым, не ломай копыя из-за меня. Приходи сюда, мы выставим этого милого, этого смешного толстяка и останемся одни. Ирка, приходи!

## 10

Она пришла. Она пришла через два дня, через два долгих дня, наполненных рвущими душу телефонными звонками и письмами. Я шел сквозь строй. Люди, с которыми я раньше разговаривал, пил, ходил в кино, дружил и ссорился, — эти люди стояли теперь с палками наготове. О, это были разные палки: молчание, вежливое презрение, осторожный интерес, безразличие. Я блуждал, я тонул в плотном тумане того знания, которое, как им казалось, было у них.

Я застал ее у себя дома.

— Меня твои соседи впустили, — сказала она.

— Ирина? Ты... с чем ты пришла?

— Витя, я пришла сказать... Я не верю тому, что о тебе говорят.

— Иринка!

— Погоди. Я не верю, но я больше не могу. Эти три дня я разговаривала, я отбивалась. У меня не было ни минуты свободной, потому что все время ко мне приходили, звонили домой, на работу. Удивительно, как много людей знало, что мы с тобой связаны. Витя, Витька, я боролась, как могла!

Она заплакала.

— Витя, я слабая, я плохая! Я не могу. Ведь это навсегда, ведь это на всю жизнь. Это — как клеймо. Витя, я знаю — нечестно оставлять тебя в беде, но у меня нет больше сил.

У нее похудело лицо, обуглился рот, тени легли под глазами. Но это были не те фиолетовые тени, которые я разглаживал по утрам кончиками пальцев.

— Ну, ударь меня, прогони, скажи что-нибудь...

— Ничего не надо, Ира. Ты права.

— Витя, когда это кончится...

— Это скоро не кончится. Я сейчас зачумленный. Любые жертвы были бы напрасны. Да, конечно, потом, когда-нибудь... Иди. Ты все равно не можешь спасти меня.

Она могла спасти меня.

Она улыбнулась мне от порога жалкой, пристыженной улыбкой. И ушла.

Да здравствует либеральная интеллигенция! Да здравствуют стойкие стражи морали! Да здравствует наша мыслящая молодежь! Вы правы, друзья мои. Ты прав, Феликс, ты прав, Мишка, вы правы, Нина, вы правы, юные мастера трафарета. Ты права, Ирина. И я прав. Все хорошо, все правильно. Нас с тобой двое, Виктор Вольский. Один из нас сидит здесь, в этой комнате, и принимает решения; другой из нас сидит там, у Лурье или у Ряженцевых, и с возмущением говорит о первом, о подонке, о стукаче. Стань на его место, Вольский номер один. Попробуй найди хоть какое-нибудь оправдание для доносчика, для себя. Нет оправданья. Ты обречен, номер первый. Номер второй вынес тебе приговор. И ты, номер второй, судья, тоже осужден. Мы можем теперь соединиться в одно и расплатиться за себя и за всех. За бездействие, за несодеянное. Слышите вы, поклонники Хемингуэя, Пикассо и Прокофьева, я расплачусь не за ту вину, которую вы выдумали, а за ту, что действительно есть, за мою вину и вашу! Вашу! Вашу!

.....  
— Но послушайте, вы же знаете, что я не вмешиваюсь в их дела, я только оцениваю их... Жалко, разумеется, жалко, но что я могу сделать?

*Порядок есть порядок, как говорят эти, как их?.. Да, немцы. А что там, собственно, произошло?.. Так... Так... Так... Ну, а кто же в самом деле виноват?.. Нет, я не об этом. Это ясно, что виноваты все, и он тоже. Я спрашиваю, чью вину — ну, эту, маленькую, глупую вину! — чью вину ему инкриминируют?.. А-а... Знаете что — конечно, если это можно устроить неофициальным путем,— пусть этот второй, сидевший, тоже поплатится. Как-нибудь объясните, они поймут, они же знают, что и среди пострадавших были провокаторы... Ах, предусмотрено? Видите, как хорошо. Это подтверждает мой принцип невмешательства. Я сейчас дал себе волю и стал советовать — и оказалось, что это совершенно излишне... Что? Умерший тоже? Это было самоубийство?.. Хороши, нечего сказать... А где он сейчас?.. У нас? Гм... Что? Нет, нет, никак не могу... Поймите: все идет своим чередом... И в конце концов, он действительно виноват, не в том, так в другом... Ну, что ж, что талантлив, какое это имеет значение... Ну, конечно, жаль... Очень, очень, очень жаль...*

.....

## 11

Я одеваюсь. Я натягиваю отглаженные брюки, скрепляю запонками обшлага рубашки, стягиваю галстук модным узлом. Я — франт, я — щеголь, я иду в концертный зал Чайковского. Пора мне приобщиться к музыке. Сегодня выступает — очереди у концертных кас! — известная американская — нет ли лишнего билетика? — певица-негритянка. Кто принес мне билет? Он лежал на столе, когда я проснулся. Я его не покупал. Кто принес билет? Дверь была заперта. Ладно, наплевать. Я иду на концерт.

Кондуктор, сколько до площади Маяковского? Ага. Что, нет сдачи? Ничего, не беспокойтесь, давайте билет до Киевского, я пройду пешочком на лишние деньги, это даже полезно. Что, шутник я? А чего мне унывать? Кто принес билет? Глупости, я, наверно, сам его купил, мне его дали вместо сдачи в булочной.

Приехали, приехали! Ого, вот так ножки! Ай да ножки! Сука, ты думаешь, мне нужны твои ноги! Нет, это я не вам, я про себя.

Ух, как здорово! Тепло и пахнет пудрой. Да, это двадцать второе место. Что? Какие концерты объявлены? Не знаю, девушка, я здесь случайно, я не поклонник музыки. Нет, я москвич, а вы? Из Вольска? Как забавно, моя фамилия — Вольский, вы еще не слышали? Ничего, услышите. А где это — Вольск? В Саратовской области. Жаль, я никогда там не был. Нет, не побываю, даже если вы меня пригласите. Ну и что ж, что не люблю музыку? Случайно, случайно, мне кто-то прислал билет через запертую дверь. Ну, конечно, шучу. Мои шутки все московские кондуктора знают. А вы угадайте. Нет, не инженер. Не врач. И не учитель. Я работаю в тире, в парке культуры. Нет, не инструктором. Я работаю мишенью. Да-да. Вы понимаете, люди — особенно либералы — любят показать друг



другу, какие они меткие, стреляют в меня. А мне за это деньги платят. Серьезно? Пожалуйста, могу серьезно. Я работаю козлом. Ну, что вы, не знаете, что такое козел? С бородой, с рогами — ме-е-е! Девушка, куда вы? Чего вы испугались? Я имел в виду — козлом отпущенья...

А, это и есть знаменитая негритянка? А что голос хриплый — это так и надо? Молчу, молчу.

Ты говорил, что у тебя была свобода пить вино. Вино было отравленное. Свобода купаться в море — в море сидели слухачи с аквалангами. Свобода писать картины — они были написаны потом, пролитым в Магадане и Тайшете. Свобода любить женщин — они все были невестами, женами и вдовами тех самых... Свобода? «Маргарин по калорийности и усвояемости равен сливочному маслу и почти вдвое дешевле его». Отчего у меня так болит голова? Я же хорошо выспался.

Что это? Антракт? Антракта не будет!

Товарищи!

Да-да, сюда смотрите! Я буду говорить отсюда, а то я боюсь, меня схватят, пока я доберусь до сцены.

Товарищи!

Они продолжают нас ре-пре-ссировать! Тюрьмы и лагеря не закрыты! Это ложь! Это газетная ложь! Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные! Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! Вырежьте, выпустите лагеря из себя! Вы думаете, что ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство — это мы. Не пейте вино, не любите женщин — они все вдовы!..

Погодите, куда вы? Не убегайте! Все равно вы никуда не убежите! От себя не убежите!

Товарищи, стойте, может, вы знаете, это очень важно: кто принес билет? Не знаете?

Да зачем же вы так — вы же задушите друг друга в дверях... Эх, вы!..

Кто принес билет? Почему мне никто не отвечает? Сволочи, гады, братцы — кто же мне ответит? Ведь я для вас, подонки...

Мать твою, иже еси на небесех,— это Ты принес билет?!

## 12

На днях мне исполнилось тридцать восемь лет. В честь моего дня рождения устроили вечер. Было очень весело: пели, читали стихи, ставили шарады, играли в «испорченный телефон». Один из собравшихся так смеялся, что его пришлось отпавивать валерьянкой.

Я снова рисую. Особенно хорошо мне удаются заголовки и лозунги. Я делаю их акварелью. У меня много красок и карандашей, потому что всем нравится, как я рисую, и все мне дарят. На день рождения мне подарили коробку цветных карандашей. Иван Александрович подарил. Он был

в этот день очень занят, но все-таки зашел поздравить меня с днем рождения.

У нас есть телевизор. Недавно мы смотрели кинофильм в двух сериях — «Русское чудо». Один из смотревших так смеялся, что его пришлось отпаивать валерьянкой.

Я теперь чувствую себя хорошо. Только голова очень болит. И все время спать хочется.

На днях ко мне приходила Ирина. Она принесла мне цветы. Она была очень грустная и все время плакала. А потом пришел Иван Александрович и успокоил ее. Он очень хорошо умеет успокаивать. Он мне после сказал, что Ирина красивая.

Сейчас осень, уже холодно, но топят хорошо, и я не мерзну. Я каждый день, если нет дождя, хожу гулять. Сад замечательный, большой, только слишком яркий: много желтого и красного, от этого болит голова.

Сегодня 28 ноября 1963 года. Зовут меня Виктор Вольский.

Я нашел одну вещь. Я привязал эту вещь изнутри к кальсонам. Там, на кальсонах, есть сзади такие тесемочки, вот к ним я и привязал эту вещь.

Иногда, если не болит голова и на улице нет дождя, мне хочется уйти куда-нибудь далеко-далеко, где не так много людей. Они все очень умные и добрые, но я так устал, так устал, что они всегда со мной. Очень хочется побыть одному.

Теперь, после моей находки, я смогу это сделать. Но я не буду торопиться. Я дождусь зимы, когда будет идти снег, или еще лучше — метель, чтоб меня не могли найти по следам. Я дождусь метельной ночи, надену халат и отопру дверь треугольным ключом, который я нашел и спрятал в кальсонах. Между прочим, этот ключ похож на те ключи, которыми отпирают железнодорожные вагоны.

Я уйду и снова буду один.

# Руки

Ты вот, Сергей, интеллигент, вежливый. Поэтому и молчишь, не спрашиваешь ничего. А наши ребята, заводские, так те прямо говорят: «Что,— говорят,— Васька, допился до ручки?» Это они про руки мои. Думаешь, я не заметил, как ты мне на руки посмотрел и отвернулся? И сейчас все норовишь мимо рук глянуть. Я, брат, все понимаю — ты это из деликатности, чтобы меня не смущать. А ты смотри, смотри, ничего. Я не обижусь. Тоже небось не каждый день увидишь такие. Это, друг ты мой, не от пьянства. Я и пьюто редко, больше в компании или к случаю, как вот с тобой. Нам с тобой нельзя не выпить за встречу-то. Я, брат, все помню. И как мы с тобой в секрете стояли, и как ты с бялком по-французски разговаривал, и как Ярославль брали... Помнишь, как ты на митинге выступал, за руку взял меня — я рядом с тобой случился — и сказал: «Вот этими, сказал, руками...» Да-а. Ну, Сергей, наливай. А то я и впрямь расхлюпаю. Забыл я, как она называется, трясучка эта, по-медицинскому. Ладно, у меня это записано, я тебе потом покажу... Так вот — отчего это со мной приключилось? От происшествия. А по порядку если говорить, то расскажу тебе так, что когда демобилизовались мы в победившем 21-м году, то я сразу вернулся на свой родной завод. Ну, мне там, ясное дело, почет и уважение, как революционному герою, опять же — член партии, сознательный рабочий. Не без того, конечно, было, чтобы не вправить мозги кому следует. Разговорчики тогда разные пошли: «Вот, дескать, довоевались, дохозяйничались. Ни хлеба, ни хрена...» Ну, я это дело пресекал. Я всегда был твердый. Меня на этой ихней меньшевистской мякине не проведешь. Да. Ты наливай, меня не дожидайся. Только проработал это я с год, не больше, — хлоп, вызывают меня в райком. «Вот,— говорят,— тебе, Калинин, путевка. Партия,— говорят,— мобилизует тебя, Калинин Василий Семенович, в ряды доблестной Чрезвычайной Комиссии, для борьбы с контрреволюцией. Желаем,— говорят,— тебе успехов в борьбе с мировой буржуазией и кланяйся низко товарищу Дзержинскому, если увидишь». Ну, я — что ж? Я человек партийный. «Есть,— говорю,— приказ партии исполню». Взял путевку, забежал на завод, попрощался там с ребятами и пошел. Иду, а сам в мечтах воображаю, как я всех этих контриков беспощадно вылавливать буду, чтобы они молодую нашу Советскую власть не поганили. Ну, пришел я. Действительно, Дзержинского Феликса Эдмундовича видел, передал ему от райкомовцев, чего говорили. Он мне руку пожал, побла-

годарил, а потом всех нас — нас там человек тридцать было, по партийной мобилизации, — выстроил нас всех и сказал, что, мол, на болоте дом не построишь, надо, мол, болото сперва осушить, а что, мол, при этом всяких там жаб да гадов уничтожить придется, так на то, — говорит, — есть железная необходимость. И к этому, — говорит, — всем нам надо руки приложить... Значит, он сказал вроде басни или анекдота какого, а все, конечно, понятно. Строгий сам, не улыбнется. А после нас распределять стали. Кто, что, откуда — расспросили. «Образование, — говорят, — какое?» У меня образование, сам знаешь, германская да гражданская, за станком маялся — вот и все мое образование. Два класса церковноприходской кончил... Ну, и назначили меня в команду особой службы, а просто сказать — приводить приговоры в исполнение. Работка не так чтобы трудная, а и легкой не назовешь. На сердце влияет. Одно дело, сам помнишь, на фронте: либо ты его, либо он тебя. А здесь... Ну, конечно, привык. Шагаешь за ним по двору, а сам думаешь, говоришь себе: «Надо, Василий, Н-А-Д-О. Не кончишь его сейчас, он, гад, всю Советскую Республику порушит». Привык. Выпивал, конечно, не без того. Спирт нам давали. Насчет пайков каких-то там особенных, что, дескать, чекистов шоколадом и белыми булками кормят — это все буржуйские выдумки: паек как паек, обыкновенный, солдатский — хлеб, пшено и вобла. А спирт действительно давали. Нельзя, сам понимаешь. Ну, вот. Проработал я таким манером месяцев семь, и тут-то и случилось происшествие. Приказано нам было вывести в расход партию попов. За контрреволюционную агитацию. За злость. Они там прихожан мучили. Из-за Тихона, что ли. Или вообще против социализма — не знаю. Одним словом — враги. Их там двенадцать человек было. Начальник наш распорядился: «Ты, — говорит, — Калинин, возьми троих, ты, Власенко, ты, Головчинер, и ты...» Забыл я, как четвертого звали. Латыш он был, фамилие такое чудное, не наше. Он и Головчинер первыми пошли. А у нас так было устроено: караульное помещение — оно как раз посередине было. С одной стороны, значит, комната, где приговоренных держали, а с другой — выход во двор. Брали мы их по одному. С одним во дворе закончишь, оттащишь его с ребятами в сторону и вернешься за другим. Оттаскивать необходимо было, а то, бывало, как выйдешь за другим, а он как увидит покойника и начнет биться и рваться — хлопот не оберешься, да и понятно. Лучше, когда молчат. Ну, вот, значит, Головчинер и латыш этот кончили своих, настала моя очередь. А я уж до этого спирту выпил. Не то чтобы боязно мне было или там приверженный я к религии был. Нет, я человек партийный, твердый, я в эту дурь — богов там разных, ангелов, архангелов — не верю — а все ж таки стало мне как-то не по себе. Головчинеру легко, он — еврей, у них, говорят, и икон-то нету, не знаю, правда ли, а я сжигу, пью, и все в голову ерунда всякая лезет; как мать-покойница в деревне в церковь водила и как я попу нашему, отцу Василию, руку целовал, а он — старик он был — тезкой все меня называл... Да-а. Ну, пошел я, значит, за первым, вывел его. Вернулся, покурил ма-

лость, вывел второго. Обрато вернулся, выпил — и что-то замутило меня. «Подождите,— говорю,— ребята. Я сейчас вернусь». Положил маузер на стол, а сам вышел. Перепил, думаю. Сейчас суну пальцы в рот, облегчусь, умоюсь, и все в порядок придет. Ну, сходил, сделал все, что надо,— нет, не легчает. Ладно, думаю, черт с ним, закончу сейчас все и — спать. Взял я маузер, пошел за третьим. Третий был молодой еще, видный из себя, здоровенный такой попище, красивый. Веду это я его по коридору, смотрю, как он рясу свою долгополую над порогом поднимает, и тошно мне как-то сделалось, сам не пойму — что такое. Вышли во двор. А он бороду кверху задирает, в небо глядит. «Шагай,— говорю,— батюшка, не оглядывайся. Сам себе,— говорю,— рай намолил». Это я, значит, пошутил для бодрости. А зачем — не знаю. Сроду со мной этого не бывало — с приговоренными разговаривать. Ну, пропустил я его на три шага вперед, как положено, поставил ему маузер промеж лопаток и выстрелил. Маузер — он, сам знаешь, как бьет — пушка! И отдача такая, что чуть руку из плеча не выдергивает. Только смотрю я — а мой расстрелянный поп поворачивается и идет на меня. Конечно, раз на раз не приходится: иные сразу плашмя падают, иные на месте волчком крутятся, а бывает, и шагать начинают, качаются, как пьяные. А этот идет на меня мелкими шагами, как плывет в рясе своей, будто я и не в него стрелял. «Что ты,— говорю,— отец, стой!» И еще раз приложил ему — в грудь. А он рясу на груди распахнул-разорвал, грудь волосатая, курчавая, идет и кричит полным голосом: «Стреляй,— кричит,— в меня, антихрист! Убивай меня, Христа твоего!» Растерялся я тут, еще раз выстрелил и еще. А он идет! Ни раны, ни крови, идет и молится: «Господи, остановил Ты пулю от черных рук! За Тебя муку принимаю!.. Не убить душу живую!» И еще что-то... Не помню уж, как я обойму расстрелял; только точно знаю — промахнуться не мог, в упор бил. Стоит он передо мной, глаза горят, как у волка, грудь голая, и от головы вроде сияние идет — я уж потом сообразил, что он мне солнце застил, к закату дело шло. «Руки,— кричит,— твои в крови! Взгляни на руки свои!» Бросил я тут маузер на землю, вбежал в караулку, сшиб кого-то в дверях, вбежал, а ребята смотрят на меня, как на психа, и ржут. Схватил я винтовку из пирамиды и кричу: «Ведите,— кричу,— меня сию минуту к Дзержинскому или я вас всех сейчас переколю!» Ну, отняли у меня винтовку, повели скорым шагом. Вошел я в кабинет, вырвался от товарищей и говорю ему, а сам весь дрожу, заикаюсь: «Расстреляй,— говорю,— меня, Феликс Эдмундович, не могу я попа убить!» Сказал я это, а сам упал, не помню больше ничего. Очнулся в больнице. Врачи говорят: «Нервное потрясение». Лечили меня, правду сказать, хорошо, заботливо. И уход, и чистота, и питание по тем временам легкое. Все вылечили, а вот руки, сам видишь, ходуном ходят... Должно быть, потрясение это в них перешло. Из ЧК меня, конечно, уволили. Там руки не такие нужны. К станку, ясное дело, тоже не вернешься. Определили меня на склад заводской. Ну, что ж, я и там дело делаю. Правда, бумаги всякие, накладные сам не пишу — из-за рук. Помощница

у меня для этого есть, смысленая такая девчоночка. Вот так и живу, брак-ток. А с попом тем я уж потом узнал, как дело было. И никакой тут божественности нету. Просто ребята наши, когда я оправляться ходил, обойму из маузера вынули и другую всунули — с холостыми. Пошутили, значит. Что ж, я на них не сержусь — дело молодое, им тоже несладко было, вот они и придумали. Нет, я на них не обижаюсь. Руки только вот у меня... совсем теперь к работе не годятся.

# Человек из МИНАПа

1

Две молодые женщины, Анна Львовна Княжицкая и Вера Ивановна Кранц, сбросив туфли, забралась на тахту с ногами. Обе дамы чувствовали себя великолепно: они только что поужинали, выпили коньяку и закурили. Муж Анны Львовны недавно уехал в командировку, и, кроме них, в квартире никого не было. Все располагало к интимной беседе, к откровенному разговору. И как только подруги переключались на тахту, разговор действительно произошел.

Начала его Вера Ивановна.

— Анечка, ты не сердись на меня, но я должна спросить тебя об одной вещи.

— Спрашивай, — лениво отозвалась Анна Львовна.

— Ты думаешь обзаводиться детьми или нет? Тебе уже, извини меня, 28, годы идут, а чем позже, тем труднее будет. Чего ты ждешь? Зарабатываете вы прилично, жилищные условия — лучше и желать нечего, отдельная квартира. В чем дело? Или ты так и собираешься этой, как ее — бесплодной смоковницей? Ты у врачей была?

— А зачем мне ходить к врачам? Все дело в Леониде.

— Он что же — не может?! Бедная моя!

— Как же, не может! За последние два года я три раза аборт делала. — Зачем?!

— Леонид. Все дело в нем. Он, видишь ли, хочет мальчика. Ему, понимаешь, продолжатель рода нужен. Он гарантий от меня требует. А какие у меня гарантии?.. Ольга — знаешь, сестра двоюродная Леонида? — на хвосте принесла, что надо высчитывать.

— Что высчитывать?

— Понимаешь, организм у мужчин обновляется каждые четыре года, а у нас каждые три. В общем, у кого в это время организм обновленней, тот и родится. То есть не тот родится, а ребенок. Если мужчина обновленней, то мальчик, а если женщина, то девочка.

— Когда обновленней?

— Господи, ну что значит «когда»? В этот самый момент. Ну, зачатие когда происходит. В общем, все это ерунда. Мы стали знакомых детей вспоминать, и ничего не сходится. Давай выпьем еще по рюмочке?

Они выпили по рюмочке, и Вера Ивановна сказала:

— Анька, ты дура. Родила бы ему кого попало — небось обратно не запихнет.

Анна Львовна заморгала красивыми коровьими глазами и заплакала.

— Ты его не знаешь. Он только перед чужими такой тихонький. Он меня со свету сживет, если девочка. Он меня бросит с девочкой вместе. А он все-таки интеллигентный человек, вечернюю школу кончил. И зарабатывает прилично, ты сама говоришь. А второй раз замуж не выйдешь. Женщин на тридцать процентов больше. По переписи.

Против данных всесоюзной переписи Вера Ивановна спорить не стала. Она только налила плачущей Анне Львовне коньяку и выпила сама. Ей и так было жалко подругу, а тут коньяк взыграл, и очень захотелось помочь. Но это была тайна. Вера Ивановна смотрела на ревушую Анну Львовну и мысленно взвешивала — так ли уж несчастна ее подруга? Дело в том, что, помогая Анне Львовне, она вручила бы ей свою честь и свое семейное благополучие. Заветная тайна билась у нее под языком, как золотая рыбка в кулаке. И Вера Ивановна не выдержала:

— Аня,— сказала она наконец,— Аня, поклянись мне, что ты никому не скажешь. Поклянись всем, что есть у тебя святого!

— Клянусь,— сказала Анна Львовна, стараясь сообразить, что у нее святое, но, кроме ВЛКСМ, из которого она недавно выбыла по возрасту, она так ничего и не вспомнила.

## 2

Прощаясь, Вера Ивановна сказала:

— Значит, договорились: как только вернется Леонид, сразу же дашь мне знать, а я пока подготовлю почву.

И вот, наконец, возвратился из командировки Леонид Николаевич Княжицкий. Была радостная встреча на вокзале, веселый ужин вдвоем и счастливая содержательная ночь. А наутро, проводив мужа на работу, Анна Львовна бросилась к телефону.

— Верочка, это я. Леонид приехал. Да, вчера. Да-да, три раза. Да. Безо всего. Да? Уже? В два часа? Ох, как я боюсь! Приду. Нет, нет, приду обязательно. Что мне надеть? Ведь надо, наверно, одеться получше? Ой, Верка, как тебе не стыдно! Я же серьезно. На кнопках? Бежевое на кнопках — ну, ты знаешь, с круглым вырезом... Пока.

...Остановившись перед дверью, Анна Львовна суетливо открыла сумочку, попудрилась и нажала кнопку звонка. Дверь тотчас отворилась, и Вера Ивановна, подхватив гостью под руку, повела ее в столовую. Там, за столом, сервированным на троих, сидел молодой человек. Он сидел, небрежно откинувшись на спинку стула, поигрывая металлической крышкой от сахарницы. Он курил сигарету с фильтром.

— Знакомьтесь, пожалуйста,— сказала Вера Ивановна.— Это Воло-



дя Залесский. А это Анечка. Я вам обоим друг о друге рассказывала, вы уже заочно знакомы.

— Но очное знакомство превзошло все мои ожидания,— равнодушно сказал Володя.

— Анечка, Володя, ешьте, пожалуйста. Володя, наливайте вино. Ничего не поделаешь, вы единственный мужчина — придется потрудиться.

— Готов к труду и обороне,— тем же голосом вокзального диктора произнес Володя. Он разлил вино по рюмкам.

— А к нападению вы готовы? — спросила Вера Ивановна кокетливо.

— Всегда готов,— сказал Володя. Он не поддержал шуточного тона хозяйки: он просто ответил на поставленный ему вопрос.

Ел Володя без суеты и опрятно, заходя обдирая колбасную кожуру и обрезая лишнюю ветчину по краю бутерброда. Из обрезков он потом устроил себе отдельный бутерброд, крытый ветчинной мозаикой.

Закусывая, говорил об американском «Айс-ревью», а когда все почти съедено было и выпито, Вера Ивановна посмотрела на часы и ненатурально ахнула.

— Ах,— сказала она.— Ах, я совсем забыла. У меня в четыре примерка. Друзья мои, посидите тут, поразвлеките друг друга. Анечка, покажи Володе квартиру.

Она упорхнула. Гулко, как стартовый пистолет, хлопнул замок входной двери, и, словно повинувшись этому сигналу, Володя встал.

— Вы знаете Верину квартиру? — лепетнула Анна Львовна.

— Да. Спальня там,— ответил он, взяв ее за плечо и слегка подтолкнул к двери.

В спальне он деловито взял ее за обе груди сразу и приподнял их, как бы взвешивая. Потом повернул Анну Львовну спиной к себе и расстегнул кнопки на платье. На этом период ухаживания закончился. Он оставил ее, снял пиджак, поискал глазами плечики и, не найдя, повесил на спинку стула. Сняв брюки, он повернулся и рассеяно посмотрел на Анну Львовну.

— Ну? — сказал он.

Анна Львовна покорно, как на приеме у гинеколога, стала раздеваться. Уже лежа, закрывая глаза, она пролепетала в нависшее над ней Володино лицо.

— Мальчика...

— Знаю. Меня Вера предупредила,— ответил Володя.

### 3

С Володей Залесским Вера Ивановна познакомилась на курорте, в Крыму. Подобралась теплая компания, было весело и беззаботно. Вспыхивали и затухали бесчетные романы, любили усердно и не щадя себя, вкладывая в это мероприятие весь не растроченный на службе трудовой энтузиазм. Торопились все так, как будто непосредственно по окончании отпуска

наступит конец света. Самые остроумные говорили: «Все равно — атомная бомба!», прочие же сходились не мудрствуя, без ссылок на международную обстановку.

Однажды Вера Ивановна в перерыве между удовольствиями принялась рассказывать Володе о своей семье. Есть нечто фатальное в том, что на каком-то определенном этапе интимности любовники вдруг начинают выкладывать друг другу всю подноготную о своих женах и мужьях. Может быть, это традиция, неведомыми путями передающаяся из одного поколения курортников к другому, а может быть, потребность организма? Этого я, к сожалению, не знаю. Так или иначе, но Вера Ивановна подробно описала сокровенные привычки Семена Моисеевича, с похвалой отозвалась о его мужских достоинствах, рассказала о том, какой он заботливый («Все евреи, знаешь, замечательные семьянины!»), с умилением повторила забавные выражения своего четырехлетнего сына и между прочим сказала:

— Мы бы еще одного завели, но нам с Семей хочется, чтобы теперь была девочка...

— Был бы я твоим мужем, я бы тебе на заказ сработал. Раз — и готово! Хочешь — девочку, хочешь — мальчика...

Вера Ивановна засмеялась.

— Хочешь — двойню, — с пьяным упорством продолжал Володя (с вечера они с Верой Ивановной накачались массандровским вином), — хочешь — тройню: двух мальчиков и девочку, двух девочек и мальчика...

— А гермафродита можешь?

— Я серьезно говорю!

Володя обиделся и встал на постели во весь свой голый рост. Вера Ивановна смотрела на него снизу вверх.

— Ты не туда смотри! — воскликнул Володя. — Ты сюда смотри! И он хлопнул себя ладонью по лбу.

— Ну ладно, ладно, ложись, чего ты взвился, как ракета?..

На другой день, когда они возвращались с пляжа, Вера Ивановна вдруг засмеялась и сказала:

— Володя, а ты помнишь, что ты спьяну городил?

Володя, отвернувшись в сторону, буркнул:

— А я не спьяну.

Вера Ивановна остановилась.

— То есть как не спьяну?

— А вот так.

Он отколупнул кусочек коры пробкового дерева, машинально понюхал его и сказал:

— Я действительно могу... это... зачинать, кого хочу...

...Это было три года назад. Вскоре они уехали в Москву. Вера Ивановна вернулась в объятия мужа, но не забыла и Володю: он не раз навещал ее в рабочие часы Семена Моисеевича.

Сейчас у супругов Кранц была очаровательная двухлетняя Лидочка.

Но Вера Ивановна на этом не успокоилась. Необычайное дарование, выдающиеся способности Володи не должны были пропадать зря в ожидании того далекого, покрытого дымкой неопределенности дня, когда Володя на ком-нибудь женится. «Сколько семей страдает,— думала Вера Ивановна,— сколько браков были бы более счастливыми, если бы Володя... вмешался. Я должна, должна помочь людям. Это, если хотите, мой гражданский долг»,— спорила она с воображаемым оппонентом. Да, что и говорить, еще с пионерских лет была в ней такая общественная жилка. И когда она приступила к осуществлению задуманного, то чувствовала себя чем-то вроде Жанны д'Арк при аполитичном короле Карле Седьмом. Она стала убеждать Володю, что он не вправе зарывать свой талант, не для этого страна растила и воспитывала его! Володя колебался, но когда Вера Ивановна сказала, что он, Володя Залесский, призван осуществить на практике лозунг Мичурина «Мы не можем ждать милостей от природы», когда она, поправив бретельку комбинاشки, села на постели и воскликнула: «Ты же комсомолец, Володя!» — он не выдержал и согласился.

Чета Княжицких была седьмой по счету супружеской парой, по отношению к которой Вера Ивановна и Володя исполнили свой долг.

#### 4

Когда Вера Ивановна возвратилась домой, Володи уже не было. Анна Львовна убирала посуду со стола, и только самоуглубленное, сосредоточенное выражение ее лица говорило о том, что произошло нечто значительное. Вера Ивановна, полная жгучего сочувствия, принялась спрашивать ее. Выслушав подробный отчет, она обняла ее и поцеловала; с таким примерно чувством она обнимала своего сына первоклассника, когда он сообщал ей, что получил пятерку за чистописание. Правда, про себя она не без удовольствия отметила, что Володя не очень баловал ее подругу дополнительными знаками внимания, второстепенными, но приятными.

— На когда вы еще договорились? — спросила она.

— А мы не договаривались,— растерянно ответила Анна Львовна.

— То есть как не договаривались?! — возмутилась Вера Ивановна.— Ты, Анька, как ребенок, честное слово! Повторить-то ведь надо!

— А зачем?

— «Зачем, зачем»! Затем, чтобы наверняка было — вот зачем!

— Да,— задумчиво сказала Анна Львовна,— действительно. Когда случали Джильду — это соседская овчарка,— так ее два раза водили.

— Собак не случают, а вяжут,— наставительно сказала Вера Ивановна.— Но дело не в этом. Правда, Аня, ты какая-то неинициативная.

— Верочка, не сердись! Я же... как это... ну, в общем, в первый раз изменяю мужу.

— Все когда-нибудь в первый раз изменяют. Да это вовсе не измена.

— Но что же это?

— Как бы тебе объяснить... Ну, скажем, если у тебя холодильник испортился, ты же не к Леониду обратишься, а к мастеру. Мебель для кухни ты кому заказывала? Столяру. Он сделал, а уж потом вы с Леонидом вместе пользовались. Понимаешь, специалист делал. Вот и Володя тоже специалист.

Действительно, Анна Львовна холодильник мужу бы не доверила, и стеклянные кухонные шкафчики тоже делал не он, а мастер, специалист. И Анна Львовна успокоилась.

Отругав подругу за легкомыслие, Вера Ивановна снова созвонилась с Володей. Встреча была назначена через день, на среду; но во вторник в детском саду обнаружили коклюш, Вере Ивановне пришлось оставить дочку дома, и Анна Львовна вынуждена была пригласить Володю к себе. Конечно, она поступила опрометчиво, но что же было делать? Это на развратном Западе любовники запросто соединяются в любой гостинице — приходят и говорят: «Здравствуйте, мол, мистер дежурный администратор, мы, мол, супруги, я — Томас или там Альфред Гопкинс, а это моя законная жена, мадам Гопкинс. Разбудите нас через три часа». Паспортов у них никто не спрашивает, и они преспокойно отправляются в номер и там между делом хлещут коньяк. А которые побогаче, так те даже холостую квартиру снимают. А у нас в гостиницы только иногородних пускают, а если вы вдвоем и у одного из вас не те половые признаки, так сразу смотрят — есть ли в паспорте регистрация брака. А уж насчет квартиры... Тут дай Бог ее для законных отношений иметь, а не то что...

И все-таки надо как-то выходить из положения. Так вот, я советую: нужно нейтральную территорию подыскивать, нельзя к себе приглашать. И к ней или к нему тоже нельзя на дом ходить. Нельзя! Застукают жена или муж, а потом хлопать ушами, доказывай, что вы вдвоем программу КПСС обсуджали...

В среду Леонид Николаевич Княжицкий, сидя на службе, вспомнил, что он забыл дома, в ящике письменного стола, уникальные спичечные этикетки, которые собирался преподнести своему начальнику. Леонида Николаевича после долгих лет работы в отделе кадров перевели на крупную административно-хозяйственную должность, и необходимо было срочно установить личный контакт с начальником. Обеденный перерыв был на носу, и Леонид Николаевич решил быстренько смотаться домой, закусить там на скорую руку и привезти шефу подарок. Сказано — сделано.

Взобравшись на третий этаж, Княжицкий отпер своим ключом дверь, бесшумно притворил ее и на цыпочках двинулся по коридорчику. «Сейчас я ее напугаю», — с удовольствием подумал он. И действительно, он ее на-

пугал. Едва лишь под нажимом его руки скрипнула дверь в спальню, как оттуда раздался истерический крик Анны Львовны:

— Кто там?!!

— Анечка, это я!

И, спеша успокоить жену, Леонид Николаевич вовсе распахнул дверь...

...Мне в точности неизвестно, что именно почувствовал Леонид Николаевич, застав свою благоверную в ситуации, для которой, как пишут газеты, «комментарии излишни»; я в положении Леонида Николаевича, слава Богу, ни разу не был; а вот что переживал ни в чем не повинный Володя Залесский — это я очень хорошо знаю. Бр-р-р, вспомнить — и то страшно! Только что, минуту назад, было одно-единственное желание, а теперь — батюшки, сколько их! Да еще противоречивых, взаимоисключающих! И поскорей принять приличный вид хочется, и крикнуть: «Я не виноват! Это все гражданка ваша жена придумала!» И в окошко рад бы выпрыгнуть, и вспоминаешь, сколько этажей лифт отшелкал, пока ты поднимался, упрятав букетик в портфель, чтобы швейцар не заметил! И все думаешь: «Господи, только бы не по морде! ведь следы останутся!»

Леонид Николаевич стоял перед своим вдоль и поперек перепаханном ложем и молчал. Он краснел, он наливался гневным соком, и, когда, наконец, стал цвета полного собрания сочинений В. И. Ленина (но не в третьем, а в четвертом издании), он шагнул вперед и скомандовал:

— Документы на стол!

Путаясь в штанах, Володька побрел к пиджаку, висевшему на спинке стула.

## 5

Еще никогда за 30 лет существования МИНАПа актовый зал института не был так переполнен. Сюда собрались не только все учащиеся и вся профессура, но и представители райкома комсомола и райкома партии, и корреспонденты молодежных газет, и знакомые студентов и преподавателей. Стулья притащили из всех аудиторий и кабинетов, сидели на ступеньках эстрады и на подоконниках, толпились в дверях и проходах. Собравшиеся гудели: неизвестность распалая воображение. Скромное сообщение, написанное чертежным шрифтом на куске ватмана, гласило: «26 марта в 5 ч. вечера состоится открытое комсомольское собрание. Повестка дня: «Персональное дело студента IV курса комсомольца В. Залесского». Сначала никто не знал, что, собственно, произошло, но потом, неизвестно как, просочился слух: Володьку застукали с чужой женой! Легкомысленные соратники собирались устроить начальству obstruction. Уязвленные соратницы были полны решимости осудить Залесского по всем канонам комсомольской морали. Старики-профессора оживились и, молодецки крикая, шепотом рассказывали друг другу о грехах молодости.

Но когда в зале появился известный всей Москве журналист — узкий специалист по вопросам комсомольской любви и дружбы, когда на эстраде залоснились упитанные физиономии райкомовских деятелей, когда появился сам директор института — лауреат многочисленных премий и доктор разнообразных наук, академик Оглоедов,— тогда собравшиеся поняли, что готовится нечто из ряда вон выходящее.

Ах, эти последние минуты перед началом судилища, это затишье перед бурей! Уже собрались грозовые тучи в темно-серых костюмах и светлых галстуках, уже глухо зарокотали баритоны над столом президиума, уже смолкли свист и щебет в гуще зала. Сейчас, вот сейчас, бешено сверкнут чьи-то очки со стеклами — замороженной луговой травой полягут слушатели на спинки стоящих впереди стульев, грянет гром и на тезисы выступления прольются первые капли слюны...

Володя сидел у самой эстрады, и, несмотря на тесноту, рядом с ним с обеих сторон пустовали стулья... И вот — началось.

— Товарищи! В адрес комсомольского бюро института поступило заявление от работника одного из московских учреждений товарища Княжицкого. Разрешите огласить его: «Уважаемые товарищи члены бюро комсомольской организации! Я обращаюсь к вам с просьбой разобраться в антиобщественной деятельности вашего студента Залесского Владимира Альбертовича, 1935 года рождения. Указанный Залесский Владимир Альбертович в среду 17 марта сего года в 13 часов 30 минут по московскому времени был застигнут мною в моей собственной квартире в тот момент, когда он нарушил мою супружескую верность с моей женой Княжицкой Анной Львовной. Я как член партии с 1949 года не могу пройти мимо этого безобразного факта, что гражданин Залесский в этот момент должен был находиться на лекции по политэкономии социализма, что подтверждается расписанием лекций в вестибюле вашего института. А он вместо этого разрушал советскую семью, находясь в совершенно раздетом виде, за исключением трикотажной майки-безрукавки. Но это еще не все, товарищи комсомольцы из московского института. На мой вопрос, зачем она это сделала и как дошла до жизни такой, моя жена Княжицкая Анна Львовна сказала, что сделала только ради семьи, что гражданин Залесский специалист по зачатию новорожденных мальчиков мужского пола. Это обман, недостойный советского студента и тем более комсомольца, потому что я консультировался с врачом 18 лет стажа, и он сказал, что наперед ничего не угадаешь. И еще моя жена, в скором времени бывшая, созналась, что гр. Залесский нарушил ей супружескую верность во второй раз, а первый раз на квартире у своей знакомой Кранц В. И., муж которой занимается шахер-махерами по снабженческой части, а сало русское ест. И я считаю, что таким, как Залесский В. А., не место в советском институте и в рядах советского общества, идущего к коммунизму, как указывает программа. Княжицкий Л. Н. Прошу о решении сообщить по указанному адресу».

Невообразимый шум стоял в зале. Уже примерно с середины заявления читавшему пришлось напрягать голос, а к концу он просто кричал. Тщетно брякал пробкой по графину секретарь комсомольского бюро, тщетно воздевал он к потолку белые манжеты. Ревом, свистом, внеплановым весельем отозвалась аудитория на заявление оскорбленного мужа. Но всему на свете приходит конец, в слитном гуле, как в крепостной стене, стали появляться бреши, и в один из таких проломов ворвался старческий бас академика Оглоедова.

— Мне стыдно! — прогремел он. Аудитория утихла. — Мне странно! Мне, наконец, страшно слышать, как вы, советские студенты, вы, молодые люди, вы, кто будет жить при коммунизме, как вы нигилистическим смехом встречаете крик человеческой души! Оскорбили и унизили нашего товарища, нашего соратника в деле созидания светлого будущего, унизили и оскорбили человека и гражданина. На каких весах взвесим мы чувство горечи, переполняющей сейчас все его существо? Какою меркою измерим мы зло, нанесенное обществу распадом семьи?! Ах, друзья мои! Пусть не блещет литературными красотами заявление товарища Княжицкого, пусть грешит он против незыблемых законов русской грамматики, но... Он, простой советский человек, обращается к нашим гражданским чувствам, к нашей советской морали — и он прав! Мы, в первую очередь мы, несем ответственность за то, что просмотрели, прошляпили в наших рядах человека с чуждой нам идеологией. Вспомните, как сказал Владимир Владимирович Маяковский: «Их и по сегодня много ходит, всяческих охотников до наших жен!» И подумать только, на какие уловки идут эти любители легких побед, эти современные донжуаны! Он, видите ли, может регулировать пол имеющего родиться ребенка! Советская, самая передовая в мире наука не может этого сделать, а он, студент Владимир Залесский, — он может! Он постиг все тайны природы! Позор! Позор, товарищ Залесский, эти идеалистические ухищрения нас не обманут. Наша общественность, наш здоровый молодой коллектив вынесет — я уверен в этом! — суровый приговор проходимцу, опозорившему стены нашего МИНАПа!

Оглоедов кончил и сел, отдуваясь. В зале снова загудели, но уже без того веселого оживления, что раньше. Поступок комсомольца Залесского перед собранием встал во всей своей неприглядности.

— Слово имеет комсорг четвертого курса!

— Товарищи! — сказал комсорг. — Я буду краток. Посмотрите на него. Посмотрите на Владимира Залесского. Каков нравственный облик этого, с позволения сказать, комсомольца? Таков же, как и его внешний облик. А каков его внешний облик? Усики! Нейлоновая рубашка! Узкие брючки! А что скрывается под этими узкими брючками?!

— Что у всех, то и у меня скрывается, — мрачно сказал Володя.

— Нет, не то! Не то, товарищ Залесский! Мы не стилиаги! Мы не прикрываемся брюками! Нам нечего скрывать от общества!

— Это тебе, может, нечего скрывать! — раздался голос из задних рядов. В зале заржали.

— Я прошу прекратить эти демагогические выпады! Не ловите меня на слове! — обозлился комсорг.— Кто из студентов не явился на обсуждение романа Коженикова «Знакомьтесь, Балуев»? Залесский не явился. Кто на вечере 8 Марта в пьяном виде сказал преподавательнице английского: «Вы — милашка»? Залесский сказал. Это кто ж ему дал право называть женщину «милашкой», как в каком-нибудь Чикаго? Где вы были, товарищ Залесский, когда весь курс, как один человек, трудился на субботнике?

— Я был болен!

— А по чужим квартирам ходить — вы здоровы?! Я предлагаю: исключить Залесского из комсомола! Выжечь его каленым железом из наших рядов! Поставить перед администрацией вопрос о пребывании Залесского в институте! Я кончил.

— Разрешите мне!

Из первых рядов поднялась молодая женщина. Это была аспирантка Ниночка Армянова. Близоруко щурясь, она улыбнулась председателю.

— Я хотела бы задать несколько вопросов студенту Залесскому. Скажите, Залесский, что побудило вас сделать это странное антинаучное заявление? Я имею в виду предполагаемый пол ребенка. Меня это интересует чисто психологически. Ведь не может быть, чтобы вы сами верили в эту басню?

— Это не басня, — сказал Володя. Он оглянулся. На него глядело огромное многоглазое лицо собрания. Оно дрожало, дробилось, причудливо менялось, как стеклышки в калейдоскопе, переливалось насмешкой, сочувствием, злорадством и недоумением. «Сволочи, — подумал Володя. — Что делать? Ведь выгонят, с волчьим билетом выгонят...»

— Это не басня, — сказал он. — Никакой я не донжуан, а что брюки узкие, то это все носят...

— Не все, — перебил его комсорг. — Не все...

Но ему не дали говорить.

— Не мешай!

— Поговорил, и хватит!

— Рассказывай, Залесский!

— Ти-ше! — надрывался секретарь бюро. — Говори, Залесский. Только по существу — о брюках мы и в газете прочтем, если надо...

— Я не донжуан, — продолжал Володя, — а если женщины просят, я отказать не могу...

На аудиторию пала лекционная тишина.

— Я, товарищи, обладаю такой способностью. Но я сам первый никогда не лезу. Они сами звонят и телефоны оставляют. У меня свидетели есть, — взвизгнул он неожиданно. — Спросите сами, если не верите! — он выхватил из кармана записную книжку. — Кранц Вера Ивановна —



К6-32-11! Савченко Лариса Михайловна — Д7-11-81! Леселидзе Тамара Георгиевна — Ж2-37-19, добавочный 2-02! Хавкина Лия Эрнестовна... Ратнер Василий Сергеевич, спросить Ольгу Харитоновну... Все! не жалко... Мальчика, девочку — мне все равно...

Все время, пока читали заявление Княжицкого, пока гремел директорский бас, пока праведным гневом захлебывался комсорг IV курса и выкрикивал Володя Залесский, все это время парторг института, Дмитрий Петрович Бронин, сидел молча, чиркая карандашом в блокноте. То, что он услышал, не было для него новостью; недаром у него состоялся длительный разговор с обиженным Княжицким, недаром он беседовал с убитой горем Анной Львовной и посетил на дому Веру Ивановну Кранц.

С самого начала этой загадочной истории он чувствовал странное смятение и неуверенность — как поступить? Раньше чутье никогда не обманывало его, а сейчас он колебался, как колеблется игрок в «21», набравший пятнадцать очков: прикупать ли? Хорошо, если картинка или шестерка, а вдруг не то? Вдруг явится какой-нибудь туз и скажет: «Перебор! Перебор, товарищ Бронин! Недодумали, перегнули палку!» Он набрасывал тезисы своего выступления, но мысли его текли сбивчиво и непоследовательно: «В то время как партия и вся наша общественность уделяют всемерное внимание укреплению советской семьи — а эта самая Княжицкая совсем даже недурна, — поступок комсомольца Залесского находится в вопиющем противоречии со всеми этическими нормами — как же он все-таки это делает, черт побери?! — глупейший предлог, которым он воспользовался, чтобы обмануть бдительность молодой женщины, — надо было заставить парня выложить все его приемчики — нравственность — не пустое слово, и мы не позволим, в самом деле, родить мальчишку, а то «всем бы молодец, только девичий отец» — дело Залесского значительно глубже и серьезнее, чем это кажется с первого взгляда. Повторяя нелепую выдумку о своих сверхъестественных возможностях, Залесский льет воду на мельницу идеалистов, способствует распространению предрассудков, подрывает веру в правоту науки и, в конечном итоге, осуществляет идеологическую диверсию! — тоже неплохо устроился: бабы его кормят, поят; небось и деньжата переппадают? — я не сомневаюсь, что у Залесского была и материальная, денежная заинтересованность: такого рода типы ничем не брезгают, — а я этой шлюхе 50 целковых отдал — таким не место в советском институте — как же он это делает? — стилига и тунядец — молодчага-парень! — заклеить — эх, мне бы! Я бы это дело не так поставил... Я бы...»

И вдруг Бронин замер, застыл с полуоткрытым ртом, внезапно осененный блистательной, гениальной в своей простоте идеей! Стараясь не шуметь, он выбрался из-за стола, на цыпочках прошел к заднему выходу, у дверей опасно оглянулся на президиум — а вдруг еще кого-нибудь осенило?! — и, выскользнув за двери, бегом помчался по коридору к своему кабинету. Там он запер двери на ключи и набрал номер телефона.

— Попрошу товарища Волкова... Нет-нет, лично товарища Волкова. Да, срочно... Бронин говорит, парторг МИНАПа... МИНАП — Московский институт научной профанации... Да, да... Весьма срочно... Да, он меня знает... Благодарю вас...

Возвратившись в зал через десять минут, Бронин убедился, что успел вовремя: заведующий кафедрой истории партии, седовласый недоумок, говорил, благообразно разводя руками:

— ...пусть выйдет, пусть скажет. Раз он настаивает на своей, так сказать, избранности, пусть расскажет коллективу, в чем она, собственно, заключается. Прошу вас, товарищ Залесский.

Володя снова поднялся, но не успел он рта раскрыть, как встал Бронин и, выпрямившись во весь рост, отчеканил:

— Я категорически против! Пусть извинит меня многоуважаемый Валериан Викентьевич, но я считаю недопустимым предоставлять трибуну для пропаганды предрассудков! («Что, съел, старый дурак?!»). Нас, людей науки, совершенно не интересуют мистические домыслы Залесского. Сколько бы он ни бил себя в грудь, как бы ни стремился опорочить честных советских женщин-тружениц — это ему не удастся!.. Я предлагаю устроить перерыв,— неожиданно закончил он.— А вы, Залесский, пока пройдите ко мне в кабинет...

И, наклонившись к представителю райкома партии, он шепнул в его насторожившееся ухо:

— Собрание прервется прекратить. У меня только что был разговор с товарищем Волковым...

Через 20 минут к подъезду МИНАПа подкатил черный ЗИМ. Бронин и Залесский сели в него.

ЗИМ прижал уши, присел на задние лапы и мягкими прыжками помчался вперед, разбрызгивая снежную кашу на сапоги милиционеров.

## 6

— Ну что ж, товарищи, послушаем, что скажет наша медицина.

Профессор, высокий жилистый мужчина с загорелой плечью, откашлялся и, явно робея, начал:

— Мои коллеги поручили мне сказать вам, товарищи, результаты всестороннего медицинского обследования, произведенного нами над... простите, нам не сообщили фамилии и даже, м-м-м, рекомендовали не интересоваться ею...

— Называйте его человеком из МИНАПа.

— Благодарю вас... Итак, освидетельствованный нами, м-м-м, человек из МИНАПа, по нашему заключению, совершенно здоров. Сердце, легкие, кишечник, нервная система — в идеальном состоянии. Хорошо развит физически. Можно сказать, завидного здоровья молодой человек. Что же касается специфических особенностей, якобы проявляющихся при поло-

вых сношениях, то здесь мы, по всей вероятности, имеем дело с одним из видов психических заболеваний, связанных с сексуальным...

— Вы, товарищ профессор, скажите нам просто: допускает ли наука такое явление?

— Наука утверждает, что при совокуплении ни одна из сторон не может не только повлиять на пол будущего ребенка, но и не в состоянии предугадать его. Что же касается средств, при помощи которых человек, э-э-э, из МИНАПа регулирует, по его словам...

— Погодите, товарищ профессор. Ознакомьтесь вот с этими документами.

— Сию минуту... Простите, мои очки... Ах, вот они... Так-с. «Протокол допроса»... Простите?

— Ничего, ничего, читайте.

— «...девочку, как и было обусловлено заранее. Копия метрического свидетельства прилагается... Родился мальчик, как он и обещал... Копия метрического свидетельства прилагается... Две девочки и мальчик — итого трое, столько, сколько нужно для получения квартиры... Копия метрического... Копия ордера на квартиру... Я, как страдающий импотенцией, дал согласие... Лучше, чем на стороне... В моем присутствии... Копия».

— Что скажете, товарищ профессор?

— Простите, я ничего не понимаю... Эти документы...

— Будьте спокойны, профессор: нарушений социалистической законности не было. Товарищ Волков, кто подготовил материалы?

— Подполковник Сазан и майор Прохоров, Павел Петрович.

— Объявите им благодарность.

— Слушаю, Павел Петрович.

— Так вот, профессор, факты есть, а научных объяснений мы пока что не слышим?

— «Есть многое на свете, друг Горацио, что недоступно нашим мудрецам».

— Что? Какой Гораций?

— Простите, это из Шекспира. Цитата.

— А-а. Ну-ка, расскажите нам, как он это делает.

— Сию минуту. Итак, больной... простите — человек из МИНАПа утверждает, что каждый раз, когда происходит целенаправленный в смысле мужского пола coitus, то есть соитие, он усилием воли мысленно воссоздает облик...

— Ну?

— Облик, простите, Карла Маркса. Он — я только повторяю его слова — он так и выразился: «Основоположник научного социализма Карл Маркс»...

— Так. А если девочка?

— Тогда Клару Цеткин. Двум запланированным мальчикам соответствуют два облика Маркса, трем — три, и т. д. Мы провели ряд испытаний

зрительной памяти пациента и получили, знаете ли, удивительные результаты: после двух-трех минут сосредоточенного рассматривания совершенно незнакомого ему лица человек из МИНАПа дает абсолютно точный словесный портрет. Если принять за рабочую гипотезу, что он действительно может влиять на пол ребенка, то достойно удивления следующее: как он может в эти минуты думать о чем-то постороннем — Марксе? — То есть я, разумеется, хочу сказать — постороннем в данной ситуации. Трудно в такой момент отвлечься, так сказать, эмансипироваться от... предмета наших усилий — не так ли?

— М-да, трудновато... А что он говорит — как он додумался до этого?

— Видите ли, он объясняет это так: в раннем детстве, когда он спросил у родителей, как рождаются дети,— очень распространенный, знаете ли, вопрос у детишек! — ему сказали, что если упорно и настойчиво думать о мальчике или девочке, то они и родятся. Со временем он получил научные сведения о деторождении в популярной, разумеется, форме. И вот, когда он впервые сошелся с женщиной, в первое свое «взаимоотношение», как он выразился, он вспомнил это детское свое представление и шутки ради... попробовал. А так как воображать абстрактного мальчика было трудно, то он представил себе конкретного Маркса — с бородой, манишкой, лорнетом и прочим.

— А как он проверил это?

— Аборты. После трех месяцев плод имеет ярко выраженные половые признаки. Он — человек из МИНАПа — утверждает, что за все время у него была только одна ошибка: вместо Клары Цеткин ему представился писатель Федор Гладков. Конечно, мы отнеслись к его объяснениям скептически, но ведь мы не были знакомы с этими документами...

— Так. В общем, товарищ профессор, картина ясная. Спасибо, мы вас не задерживаем. Работайте, трудитесь, если что понадобится — обращайтесь прямо ко мне. Товарищ Волков, проводите профессора.

Профессор на негнущихся ногах зашагал к выходу. За дверью послышалось его громкое «уф!».

— Ну, что ж, товарищи, я думаю, надо делать практические выводы. Мы должны подойти к этому расчетливо, по-хозяйски. Первым делом надо выяснить, сумеет ли он обучать других. Если сумеет — тогда мы сможем перейти на планированное деторождение. Уточнить цифры выпуска одежды, обуви, бюстгалтеров и дамских велосипедов. В течение 18—20 лет устранить разницу в количестве женщин и мужчин. Чтобы всем было по потребности. А за безбрачие — под суд! Так я говорю, товарищи? Если не так — подскажите, поправьте. Иван Петрович — выскажись! Василий Семеныч! Правильно я говорю?

— Правильно, Павел Петрович! Грандиозные перспективы развития... А если, кроме него, никто не сможет?

— Волков бояться — в лес не ходить, а уж если... Что ж, подумаем, посоветуемся. У нас человек не пропадет, найдем ему место, используем.

В малых масштабах используем... в узком кругу. Мы ведь народ занятый, да и годы наши не те. А если у нас дети родятся — это будет иметь ба-альшее политическое значение! Это будет воспринято как новое свидетельство нашей силы, нашей мощи... м-да... А он парень наш, советский, комсомолец!.. Кормить его надо получше... Мяса, мяса ему! Товарищ Волков, распорядитесь.

— Слушаюсь, Павел Петрович.

— Трофим Денисович, а ты чего молчишь? Как тут с философской точки зрения? Идеализма нет? Я про методы его.

— Что вы, Павел Петрович! Тут диалектика: базис влияет на надстройку — то есть, социалистические условия жизни влияют на его сознание, а надстройка, то есть его сознание, влияет на базис — то есть на зачатие, на материальный, на биологический процесс. Опять же не кто-нибудь, а Карл Маркс...

— Итак, товарищи, организацию этого дела мы поручим...

## 7

Вот так и превратился Володя Залесский в «человека из МИНАПа». Из грандиозных экономических планов ничего, к сожалению, не вышло. Талант юноши оказался уникальным, вроде таланта Паганини. И хотя наверху уже представляли себе заголовки в газетах вроде «Проект поправок к семилетнему плану развития народного хозяйства, принятый на основе выдающихся достижений советской науки», «Впервые в истории человечества», «Советский человек управляет биопроцессами», «Новое торжество марксистской философии» — но от всего этого пришлось отказаться. Впрочем, ученые-генетики высказали предположение, что необычайные способности человека из МИНАПа могут передаваться по наследству. Что ж, поживем — увидим.

А пока Володя живет на подмосковной даче; там он ест, спит, занимается спортом и смотрит телевизор под наблюдением врачей. Время от времени за ним присылают машину, и он едет выполнять свои обязанности.

Одно время он интересовался: к кому его возят? Все спрашивал, спрашивал, пока один из охранников не сказал ему:

— Ты, парень, делай свое дело да помалкивай. Зачем тебе фамилии? Если что случится, с тебя и спросу нет. А будешь много знать — «а,— скажут,— слишком много знает, пожалуйста бритесь!». А так твое дело тельчье — пожрал и на бок!

И Володя замолчал.

Живется ему неплохо, хотя и скучновато. И лишь одна мысль омрачает его существование: что будет, если он утратит свое дарование? Институт-то он так и не закончил. А сейчас без образования — ой как трудно!

# В районном центре

Когда я вспоминал об этом рассказе, мною овладевало чувство неловкости. Вроде бы я что-то задолжал юстиции. В самом деле: пять лет заключения — не слишком большой (по нашим масштабам), но все-таки не такой уж малый срок. А припаяли мне его за две небольшие повестушки и за два рассказа, из которых один — совсем крохотный. Во время следствия и на суде я все время чувствовал эту свою непорядочность: мог бы и побольше дать материала судьям — за пять-то лет гонорара. С другой стороны, я не так уж и виноват. Рассказ этот я не прятал, открыто читал его в больших и зачастую полужнакомых компаниях, все пять лет моего отсутствия он мирно пролежал на книжной полке, и, право же, у меня не было возможности прийти из Лефортовской тюрьмы домой и вручить его милейшему подполковнику Кантову, старшему следователю КГБ. Пришлось ему, бедняге, расспрашивать об этом свидетелей. Из свидетелей же только один сказал, что это «злостный антисоветский пасквиль», а остальные уныло бубнили: «Да так, юмористический рассказ, смешной пустячок...» Может быть, и так — не мое это дело заниматься литературоведческой классификацией по УК РСФСР. Но мне все-таки хочется его опубликовать — по соображениям отнюдь не литературным или, упаси Боже, политическим. Нет, просто я люблю симметрию, которой не было в моем приговоре. Я бы за четыре произведения дал бы четыре года, по году за штуку. Это было бы и справедливо и красиво. А то как-то нескладно: произведений четыре, а лет-то ПЯТЬ! Так вот, я и хочу восстановить эстетическое равновесие. Тем более что расходов никаких: рассказ я написал уже двадцать лет назад и давно отсидел свои пять лет. Правда, тогда, двадцать лет назад, я требовал со своего друга литр водки за то, что допишу этот рассказ, и получил его, и выпил; но не будет же закон настолько мелочен! К тому же и водка тогда стоила дешевле...

Ю. Даниэль

## I

Василий Сергеевич Гайдуков, первый секретарь Ново-Опрошенского райкома партии, был человеком образованным. Он окончил сельскохозяйственный техникум и два курса пединститута. Кроме того, в свободное от работы время он читал художественную литературу и мог

в официальных докладах и выступлениях цитировать классиков. За это его всегда хвалили в обкоме и ставили в пример другим партработникам, не расширяющим всемерно свой кругозор. И самое главное — он овладел методом, и это давало ему возможность предугадывать события и представлять себе их ход — в районном, конечно, масштабе. И вот теперь он с ужасающей отчетливостью понимал, что произойдет утром, если обстоятельства, в которые он попал, не переменятся. Но на это никакой надежды не было. Чудес на свете не бывает. Он, как последовательный материалист, твердо знал это. И главное — ключ, ключ! Он оставил его в замочной скважине с внутренней стороны двери. Утром придет тетя Клаша подметать кабинет, поднимет шум, вызовут органы... Василий Сергеевич мысленно застонал и, еще отчаянней вцепившись в ветки яблони, покосился на собак, дружно бесновавшихся внизу. Надеяться было не на что...

## 2

Тетя Клаша действительно подняла тревогу. Произошло это так: она, как всегда, явилась на работу к семи часам утра и, не найдя ключа от кабинета у дежурного, поднялась на второй этаж двухэтажного здания райкома. Деликатно — костяшками пальцев — постучалась в краешек обитой черной клеенкой двери. Василий Сергеевич не отзывался. Тетя Клаша постучалась еще раз, настойчивей, громче. Ответа не было. По-прежнему не удивляясь, уборщица забарабанила кулаком. Нет, Василий Сергеевич, как видно, спал беспробудно. Тетя Клаша присела на корточки, глянула в замочную скважину и ничего не увидела. В двери торчал ключ. Тогда она вздохнула и, волоча за собой швабру, снова спустилась вниз. Оставалось еще одно средство добудиться Василия Сергеевича — позвонить ему снизу по телефону. Он просыпался мгновенно, и тогда тетя Клаша могла проникнуть в кабинет. Правда, в этих случаях он всегда очень сердился. Она осторожно обогнула спящего дежурного и сказала в трубку:

— Але! Первого секретаря мне дайте. Але!

Василий Сергеевич и тут не отозвался. Тетя Клаша испугалась. Она живо растолкала дежурного и сообщила, что «Василь Сергеевич к аппарату не подходит». Подобно своему начальнику, она называла телефон «аппаратом»; а он, в свою очередь, говорил так потому, что это слово напоминало ему героические времена революции; сам он, правда, в революции не участвовал, ему тогда было всего восемь лет, но все же...

— Может, он домой спать пошел? — непочтительно предположил дежурный.

— Какой там — домой! — рассердилась тетя Клаша. — Они вчера за полночь заседать кончили. Да и ключ-то изнутри торчит...

Услышав про ключ, дежурный тоже испугался. Поеживаясь от недосыпа и возбуждения, он быстренько соединился со вторым секретарем — и минут через двадцать все районные власти, от начальника МГБ до председателя райпотребсоюза, толпились в нешироком коридорном тупичке, ведущем к кабинету первого секретаря. Все были одеты аккуратно, по форме, неофициально одобряемой свыше: кителя, галифе, сапоги, белый полотняный или — у холостяков — желтоватый целлулоидный воротничок. Все вполголоса переговаривались, часто повторялось порхающее слово «гипертония». Каждый уже прикидывал мысленно, как, вернувшись домой, попивая чаек, заслуженный хлопотами сегодняшнего утра, он будет живописать: «...входим... на диване... одна рука свесилась... как живой... вчера только... как он Красовского... досталось Красовскому...» Гений сенсации носился над собравшимися, задевая прозрачными стрекотинными крылышками вдумчиво-приветливые лица на портретах. Портреты были разного возраста: одни уцелели еще с двадцатых годов, другие заняли освободившиеся вакансии. «Мертвый, в гробе мирно спи, жизнью пользуйся, живущий».

Только один человек помалкивал в этом всеобщем тихом ажиотаже. Это был второй секретарь райкома Вячеслав Афанасьевич Медынский. Телефонный звонок оторвал его от обычных утренних радостей. Он был фантазер и, несмотря на суровую внешность, имел душу нежную и ум, склонный к мечтательности. Еще в конце войны, будучи замполитом трофейной роты, он вместе с друзьями-офицерами просмотрел немецкую киноленту. Это было ревью — тридцать две девушки, неторопливо и ритмично раздевающиеся под приятную джазовую музыку. Это зрелище покорило душу Вячеслава Афанасьевича. Он, конечно, был далек от мысли изменить родине, но часто с тех пор, тихо радуясь, представлял себя директором-распорядителем и режиссером такого вот ревью. С годами эти тайные мечтания вошли в привычку, и он, лежа по утрам в постели, тепленький, дергая коленями под простыней, создавал новые, невиданные Европой программы. В это достопамятное утро он обдумывал костюм солистки. По замыслу Вячеслава Афанасьевича, она должна была, как бы в неистовстве, рвать на себе одежду: но приобретать или шить для каждого нового представления новый комплект — невыгодно, неэкономично, и директор-распорядитель колебался между двумя вариантами: либо сметывать платье «на живую нитку», либо в места имеющего быть разрыва вставить молнии. Оба варианта имели свои достоинства и недостатки. Например: сшивать каждый раз платье хлопотливо, а молния не даст нужного звукового эффекта. Кроме того, следовало обдумать и идейную нагрузку номеров. На этих-то размышлениях его и застал телефонный звонок. Будучи приучен Гайдуковым к жизни почти походной (бдения и ночные вызовы были любимым стилем Василия Сергеевича), Медынский живо собрался и «на одной ноге» («ноги в руки», «одна нога здесь, другая там» и т. д.)



примчался в райком. Теперь он стоял в коридоре вместе с другими и напряженно думал: «Он — первый, я — второй... Пришлют или утвердят? Первый — второй...»

Слесарь наконец открыл замок. Не переступая порога, Медынский первым заглянул в кабинет — все понимали, что это тяжелое, но почетное право принадлежит ему. Он заглянул в кабинет и, поблуднев, обернулся к собравшимся: в кабинете никого не было.

### 3

А между тем первопричина всего этого переполоха была довольно-таки заурядной. Дело обстояло так: бюро райкома затянулось накануне почти до часу ночи — обсуждалось поведение коммуниста Красовского, директора Дома культуры. В нетрезвом виде он скупил в раймаге весь оказавшийся на полках «Суп гороховый», и, нагрузив этим быстрорастваривающимся концентратом своих подопечных — струнный оркестр народных инструментов, — повел их к себе домой. Оркестранты не могли, конечно, знать, что, приняв от них покупку и выставив их за дверь, жена Красовского наотрез отказалась немедленно варить суп, как этого требовал муж, и выразила твердую уверенность в том, что это «дерьмо» и свиньи есть не станут. Слух же о необычной покупке распространился молниеносно и вызвал сперва замешательство в умах граждан, а затем — целенаправленную панику. Василий Сергеевич не удовольствовался тем, что вызвал к себе Красовского и «дал ему прикурить» — нет, он срочно собрал бюро и объяснил некоторым легкомысленно отнесшимся к происшедшему товарищам всю пагубность поведения Красовского. Один аргумент в особенности заставил всех призадуматься:

— А что, товарищи, — сказал Василий Сергеевич, — что, если бы у нас в Ново-Опрошенске находился бы в это время иностранный корреспондент?! Вы понимаете, какая это находка для врага? Сейчас бы он своим аппаратом — шелк! — и в блокнотик!

— Аппараты они в пуговицы вделявают, — произнес кто-то.

— Не в этом суть, — отмахнулся Гайдук. — В пуговицу или, скажем, в зажигалку, — так тоже бывает. Я предлагаю...

Красовскому дали «строгача», а в решении записали: «Рекомендовать номенклатурным работникам по возможности воздерживаться от покупок прод- и промтоваров в торговой сети, а придерживаться обычных каналов снабжения...»

Итак, заседание закончилось поздно. Выпроводив членов бюро, Гайдук остался один в своем кабинете. Он неторопливо и вдумчиво собрал бумаги и запер их в сейф. Потом сел на диван, расстегнул воротничок кителя и некоторое время сидел неподвижно, оглядывая комнату; взгляд его остановился на пальто и ушанке, висевших у двери.

— Пора домой, — сказал он негромко. — Заработался. — Он встал. —

Заработался я,— повторил он с несколько иной интонацией, потоптался в нерешительности между дверью и столом, затем, махнув рукой, закурил папиросу и стал быстро раздеваться.

Раздевшись донага, он отпер сейф, аккуратно сложил одежду на свободную полку и, снова заперев замок, сунул ключ под сейф. Не торопясь подошел к окну, вернулся, положил папироску в пепельницу, выключил свет и обернулся котом. Затем он мягко и бесшумно вскочил на подоконник. Из окна дуло. «На завтра вызвать стекольщика — сказать завхозу»,— подумал Василий Сергеевич. Свет от фонаря перед зданием райкома осветил его. Он был крупный темно-серый кот с рыжими подпалинами в паху и на боках. Встав на задних лапах во весь рост, он свободно дотянулся до задвижки форточки; секунду спустя он уже осторожно, лапа в лапу, след в след, шел по карнизу второго этажа. Обогнув дом, он спустился на крышу сарая, а оттуда на землю. Перепрыгнув через невысокий забор, он очутился в райковом саду. Здесь он стал гулять.

Конечно, жителю столицы или даже крупного промышленного центра может показаться неправдоподобным описанное выше превращение. Теплые отдушины метро, чопорный массив библиотеки имени Ленина, машины для поливания улиц или, скажем, точное время по телефону — все это настраивает на определенный скептический лад, делает человека склонным к чтению фельетонов о суевериях и вообще всячески ограничивает его возможности. Мало, ах как мало осталось у столичного жителя традиций в этом вот смысле. Ну разве что соль просыпать — к ссоре, да когда черная кошка дорогу перебежит, надо переплунуть или задом наперед пройти. И никому невдомек, что на периферии-то он и сам мог бы стать точно такой же черной кошкой и все радости, связанные с этим кошачьим состоянием, испытать в полной мере. В провинции же и менструальная кровь — сырье для приворота, и без глупых усмешек слушают рассказ о том, как шурина председателя колхоза видели едущим на санях в церковь, а он в это время дома сидел, и над лешим не посмеиваются. Так что необычного в нашей истории только то, что котом обернулся не какой-нибудь дядя Исай, лесник, и не Аннушка-доярка, а сам первый секретарь, о котором такое просто в голову не придет. А между тем разве первый секретарь — не человек? Разве и ему обернуться не хочется? Всем хочется...

#### 4

В Ново-Опрошенске сложилась напряженная и волнующая обстановка. Медынский и другие партийные руководители района вынуждены были временно отступить на второй план. Более того: они очутились в каком-то странном, даже несколько двусмысленном положении, так как работники органов, взявшие инициативу в свои руки, разговаривали со

всеми крайне скупой и официально. А Медынский и его товарищи по партработе к такому тону не привыкли: и сейчас они даже как-то растерялись, когда их стали вызывать по одному для дачи показаний. Причем вызывал не сам начальник местного МГБ, а оперуполномоченный, с которым они вообще-то никогда дела не имели и который в их разговорах с начальником именовался не иначе как «свои люди»: «Ты, Иван Иванович, скажи своим людям, пусть займутся. Это что же такое? Мы рекомендуем его в председатели, а они обструкцию устраивают!», «...получаю такой сигнал. Ну, я, конечно, даю команду своим людям — и что бы ты думал? Одних стихов пять тетрадок...». И вызывал их опер не по старшинству, а как-то непонятно: первым, например, вызвал райкомовского истопника, второй — тетю Клашу, уборщицу, Медынского — четырнадцатым, а секретаря райкома комсомола — двадцать третьим. Не то чтобы райкомовцы боялись чего-то или чувствовали себя в чем-то виноватыми, нет, просто сам факт вмешательства органов в эту непонятную историю делал близким и почти осязаемым понятие Государственности. А вам, читатель, приходилось ли встречаться с Государственностью? Думается, что человек, нос к носу столкнувшийся с Государственностью, должен испытывать то смешанное (как написал бы покойный Фадеев), то смешанное чувство благоговейного обожания, робости и умиления, какое испытывали паломничавшие полсотни лет назад в Ясную Поляну. Это чувство рождается, вероятно, из понимания сверхъестественности находящегося перед нами явления, его монументальности, его всеобъемлющей мощи, его всеведения. Разумеется, Государственности чужды те трещины и изъяны, которые были в творчестве Л. Н. Толстого; поэтому она, Государственность, и вызывает в большей степени удивление, нежели Лев Николаевич. Удивление же, как нам кажется, есть фактор, еще не оцененный по достоинству человечеством. На удивлении в значительной степени держатся такие институты, как худлитература, изобразительное искусство; а если говорить о явлениях общественных, то одним лишь удивлением можно объяснить такие факты, как... Впрочем, мы отвлекаемся в сторону.

Итак, что же было предпринято по поводу исчезновения Василия Сергеевича? Прежде всего, как уже было сказано, опросили всех, кто так или иначе контактировал с пропавшим Гайдуковым накануне этой трагической ночи. После этого следствие разделилось на два русла: по первому двинулись те, которым было поручено изучить данные, так сказать, фактические, имевшие непосредственное касательство к месту и времени происшествия, — осмотр кабинета, здания райкома в целом и близлежащей местности. Результатом осмотра было то, что «Дело об исчезновении» переименовали в «Дело о похищении»: в сейфе обнаружили одежду Гайдукова. Сразу же возникло множество гипотез, из которых наиболее вероятной была следующая: первый секретарь был похищен иностранной разведкой для ихних своекорыстных пре-

ступных целей. Эта версия объясняла все, кроме некоторых технических деталей: почему потребовалось похищать Гайдукова из его рабочего кабинета? Зачем его раздели? Как кабинет оказался запертым изнутри? Но, поразмыслив и поставив себя на место преступников, нашли ответы: в кабинете с Гайдуковым было, конечно, легче справиться, чем на улице, где ему оказалось бы поддержку население; раздели его для того, чтобы переодеть, ну хотя бы в спецодежду рабочего, и в этой одежде под видом пьяного увести куда угодно; ключ в двери, как объяснили специалисты, можно при помощи особой такой штуковины повернуть, стоя снаружи. Оставалось еще два вопроса: почему в кабинете не было следов борьбы и как проникли преступники в здание райкома? По первому вопросу должны были вскоре высказаться эксперты, которым представили на исследование недокуренную гайдуковскую папиросу — весьма возможно, что она была начинена каким-нибудь усыпляющим ядом. Что же касается методов проникновения в райком и более того — в кабинет первого секретаря, то как раз этим-то вопросом и занялись собственно работники органов: они сели проверять «личные дела».

## 5

Мы оставили нашего героя в тот момент, когда он, осаждаемый собаками, сидел на дереве в кошачьем естестве. Дело в том, что Василий Сергеевич несколько увлекся своей прогулкой. Да и немудрено! В кои-то веки удалось вырвать часок-другой для личной жизни, подышать свежим воздухом, а при случае спокойно пообщаться с соседними кошками. Это общение помимо чисто физиологических радостей было еще крайне ценно для Василия Сергеевича тем, что здесь его любили, к его мнению прислушивались, его общества искали не потому, что он был первым секретарем райкома, не в порядке субординации, не подхалимствуя, — такое еще, к сожалению, случается у нас. Нет, здесь, в этом простодушном кругу, никто даже и не догадывался о его другой, противоположной ипостаси. Здесь знали его личные качества и ценили и любили его только за них. Иногда, правда, длительные его отлучки вызывали некоторое недоумение и даже томление плоти, но разум животных настолько ограничен, что предполагать и тем паче обобщать они не в состоянии. Тем более что и слово-то «разум» употребляем мы больше по привычке, а на самом деле никакого разума у них вовсе и нет — одни рефлексy.

Так вот, Василий Сергеевич неосмотрительно отдался на волю одной своей старинной знакомой, и они настолько увлеклись прогулкой, что не заметили, как очутились в том дворе, которого следовало опасаться пуще огня. Тут жили две здоровенные собаки, бегавшие по двору свободно, без цепи. Спутница Василия Сергеевича успела перемахнуть

через забор, а ему пришлось вихрем взлететь на дерево и до утра отсиживаться от надрывавшихся собак.

Утром вышел хозяин. Василий Сергеевич знал его. Это был завуч средней школы Иван Владимирович Шеин, высокий и мускулистый мужчина лет тридцати пяти. Гайдуков изредка встречался с ним на районных партийных конференциях и учительских совещаниях. Кроме того, он запомнил Шеина по последнему обсуждению школьных дел при райкоме, где Шеин очень толково и убедительно объяснил неуспеваемость по русскому языку наличием в педколлективе учителей нерусской национальности.

Шеин сразу оценил ситуацию. Он цыкнул на собак, подошел к дереву и заговорил — размеренно, плавно и благодушно:

— Ну что же, любезный мой, твое бедственное положение есть не что иное, как естественный результат твоей собственной неосторожности и, я бы сказал, твоего крайне легкомысленного отношения к тем территориальным ограничениям, которые являются неизбежным следствием того факта, что в нашей социалистической системе хозяйства предусмотрен и частновладельческий... м-м-м... элемент. Да-с, предусмотрен.

Он доброжелательно посмотрел на Василия Сергеевича. Василий Сергеевич молчал.

— Я, пожалуй, протяну тебе руку братской помощи — но не безвозмездно, нет, отнюдь не безвозмездно...

Он действительно протянул руку Василию Сергеевичу, и тот, с облегчением вздохнув про себя, уцепился когтями за рукав.

— Для начала ты, голубчик, переловишь всех грызунов, которые чрезмерно расплодились и стали уничтожать продукты питания, а затем...

Он снял Василия Сергеевича с ветки, взял его своей сильной рукой за шиворот и, любовно покачивая перед собой, закончил:

— ...а затем из тебя получится неплохая шапка...

На мгновение Василий Сергеевич утратил чувство реальности. Он хотел было произнести негромким, но значительным голосом: «Коммунист Шеин, думайте, над кем и над чем можно шутить!» — но тут же он опомнился и только зашипел, прижав уши.

— О, да тебя, кажется, не радует столь блестящая перспектива?! Конечно, будь ты человеком...

Будь он человеком! Будь он человеком, черт возьми! Он, Василий Сергеевич Гайдуков, первый секретарь, ценой длительных усилий и многомесячных трудов разоблачивший своего предшественника, он, умеющий забывать личное ради общественного, вожак района, знающий наизусть четвертую главу, обеспечивший стопроцентное голосование «за» на последних выборах, он — не человек?! Он, ездивший в Ессентуки прошлым летом...

Шеин внес его в кухню и спустил на пол. Потом он налил в блюдечко

теплого молока. Продрогший и проголодавшийся за ночь Гайдуков, ненавистно косясь на ухмылявшегося Шеина, стал лакать из блюдечка.

## 6

Иван Владимирович Шеин был интеллигент новой формации. Он был рыболов-спиннингист, у него была своя лодка и свое хозяйство, и женат он был на молодой и довольно миловидной женщине, окончившей высшие кулинарные курсы. Что бы там ни говорили, как бы ни косоротились его коллеги-учителя, а он сделал правильный выбор. В условиях районного центра, где снабжение иногда еще не на высоте, вопросы питания — и питания рационального — приобретают первостепенное значение. И кто же не завидовал втайне Шеину, когда он рассказывал о том, как, вернувшись домой после трудового дня, садится за ожидающий его обед, как после обеда пьет кофе перед камином. У него был, собственно, не камин, а голландская печка, облицованная кафелем, но он любил говорить «камин». Он не был чужд новых веяний и один из первых в среде школьных работников стал надевать на работу клетчатые рубашки-ковбойки. А еще он интересовался индийской философией. Был он человек вежливый и в бытность свою в Москве всегда торопился занять место в троллейбусе, но не для того, чтобы сидеть на нем, а для того, чтобы уступить...

В доме Шеина Василию Сергеевичу пришлось задержаться. Его замкнули и никуда не выпускали. «Васенька», — звала его жена Шеина и даже не подозревала, насколько она права. Кормили его сытно и вкусно, и будь на месте Василия Сергеевича другой, обыкновенный кот, он бы просто благоденствовал. Но Василий Сергеевич помнил о том, кто он. Он знал, что незаменимых нет, и именно это-то его и беспокоило. Кроме того, он помнил и о судьбе, уготованной ему Шейным. Он превратился из человека в кота, из кота — не по своей воле — мог превратиться в меховое изделие, и оттуда уже возврата не было. По крайней мере, ему никогда не приходилось слышать о подобных случаях. Надо было удирать.

К вечеру второго дня Шеин пришел домой необычно возбужденный. Он наспех проглотил обед — так ему не терпелось рассказать новости. И когда жена, убрав тарелки со стола, поставила перед ним чашку кофе, он сказал с расстановкой:

— Гайдуков пропал.

— Как пропал? Сняли его, что ли? — удивилась жена.

— Не в том смысле. Исчез, скрылся, пропал.

Услыхав свое имя, Василий Сергеевич подошел поближе — и зря. Шеин нагнулся и взял его к себе на колени. Он был так взволнован, что забыл о том, что сидит за столом, что это антигигиенично. Ва-

силию Сергеевичу пришлось терпеть почесывания за ухом; он с отвращением замурлыкал, в то же время чутко прислушиваясь к рассказу Шеина. Из рассказа выяснилось, что известие об исчезновении первого секретаря распространилось уже по всему району, и Иван Владимирович не знал о нем раньше только потому, что накануне у него был свободный день.

Василий Сергеевич напряженно слушал рассказ Шеина. Дело, оказывается, зашло очень далеко. Надо немедленно что-то предпринимать. Но что? Двери в доме были снабжены безотказными запорами, форточки затянуты металлической сеткой; нет, в обличии кота отсюда выбраться не удастся. Василий Сергеевич, изловчившись, спрыгнул на пол, сел посреди комнаты и внимательно осмотрел Шеина. Да, примерно так: 50-й, 3-й рост. Пожалуй, подойдет. Он еще смутно представлял себе, как это все получится, но медлить было нельзя. Как только Шеин уйдет куда-нибудь...

— Наташа,— промолвил Шеин,— я сейчас ухожу, вернусь, вероятно, поздно: у нас сегодня состоится педагогический совет.

Он встал, надел пальто с каракулевым воротником и шапку. На пороге он обернулся и посмотрел на Василия Сергеевича.

— Вот так, желтоглазый,— сказал он.— Подкормись пока. А чтобы ты был пушистей, мы тебя завтра лишим мужского естества, или, говоря языком науки, кастрируем...

Когда Шеин ушел, шерсть на Василии Сергеевиче стояла дыбом и хвост распушился, как у белки. Удивительно, между прочим, почему мысль об утрате этих вот специфических возможностей вызывает у нас такое негодование, такую, как говорят химики, бурную реакцию? Казалось бы, совершись это — и все будет в ажуре: меньше материальных затрат, сон по ночам спокойней, в сослуживицах будешь видеть только товарищей по работе, что, без сомнения, повысит трудовые показатели. А сколько непроизводительно потраченного времени освободилось бы для политучебы! Какие перспективы роста открылись бы! И все-таки большинство мужчин упорно держится за это самое. Странно все-таки: стоим в самом, так сказать, преддверии, и вдруг такой эгоизм.

Однако вернемся к нашему герою.

Когда жена Шеина заперла за ушедшим двери и стала прибираться со стола, Василий Сергеевич задумался: совершить ли превращение в присутствии женщины или удалиться в какое-нибудь укромное местечко? Поразмыслив, он решил уйти в спальню: может быть, там найдется что-нибудь, во что можно будет сразу одеться.

Он подошел к порогу, громко мяукнул, выгнув спину и потерял о косяк.

— А, Васенька,— сказала жена Шеина.— Гулять захотелось? Ну, иди, иди.

И открыла ему дверь.

Он прошел в спальню, прислушался. На кухне по-прежнему звякала посуда.

Он вышел на середину комнаты, сосредоточился и снова превратился в человека. Превратившись, он быстро огляделся по сторонам. Увы, никакой одежды не было. Только домашние туфли Шеина аккуратно стояли на коврикe возле кровати. Василий Сергеевич надел туфли, но этого, разумеется, было явно недостаточно. Он подошел к зеркальному шкафу, подергал дверцу. Шкаф был заперт. Не без удовольствия покосившись на свое отражение («Нет, товарищ педагог, не выйдет! И впредь будем функционировать!»), Василий Сергеевич сдернул с кровати одеяло и задрапировался на манер римских сенаторов. Теперь предстояло самое ответственное. Он откашлялся.

— Наташа! — сказал он громко.— Наталья, м-м-м, Семеновна! Зайдите сюда на минутку. Гайдуков беспокоит.

На кухне зазвенела разбитая чашка.

«Только бы шум не подняла»,— тревожно подумал Василий Сергеевич.

Но жена Шеина оказалась человеком с крепкими нервами. Она не упала в обморок, не забилась в истерике, не стала звать на помощь. Услышав, что в наглухо запертом доме есть кто-то посторонний, она, как львица, кинулась на защиту имущества. Сравнение, впрочем, не совсем точное, ибо какое у львицы имущество, кроме кисточки на хвосте? И, кидаясь на своих недоброжелателей, львица не берет с собой ко чергу, а Шеина взяла. Но когда она рывком распахнула дверь, оружие выпало из ее рук и глухо брякнулось об пол. Завернувшись в байковое, белое с зелеными цветочками одеяло и всунув ноги в домашние туфли мужа, перед ней стоял Василий Сергеевич Гайдуков, тот самый, о загадочном исчезновении которого только что рассказал ей муж.

— Боже мой! — воскликнула она.

— Мяс,— сказал первый секретарь.— То есть я не то...

— Что? — пролепетала Шеина.

— Простите, что я в таком виде,— сказал Василий Сергеевич.— Дело в том, что... Да вы присаживайтесь.

Шеина тихо охнула и села на стул.

— Боже мой,— сказала она,— а у меня не прибрано,— и она посмотрела на лишенную одеяла постель. Потом она робко спросила:

— Это вы, товарищ Гайдуков?

— Конечно, я,— с оттенком нетерпения в голосе ответил Василий Сергеевич.

Но она с каким-то суеверным ужасом смотрела на крупную желтую пятку Гайдукова, уверенно попиравшую стоптанный задник мужниной туфли.

Не торопитесь, читатель, осуждать ее за бестолковость, не спешите произносить несправедливые и к тому же давно уже осужденные об-



шественностью поговорки о длинном бабьем волосе и коротком уме. Ведь в нашей действительности им нет места, и мы по праву можем гордиться такими именами, как Паша Ангелина, Антонина Коптяева и Лидия Тимашук. Попробуйте лучше поставить себя на ее место. Представьте, что вы сами увидели у себя дома крупного государственного деятеля, одетого в постельную принадлежность. Ведь само понятие «одеяло» никак не совместимо с высоким званием. Нам даже трудно представить себе, что люди, облеченные доверием и уважением народа, пользуются такими вещами. То есть умом-то мы понимаем, что они и укрываются по ночам, и, простите за натурализм, белье носят, и пьют, и едят, и даже... Но сердцем, сердцем это постичь невозможно! Правильно сказал поэт: «Умом Россию не понять, в Россию можно только верить». И мы верим (и есть в этом глубокий смысл!), что высокому рангу соответствуют китель или, скажем, френч, а не какие-нибудь паршивые кальсоны или пододеяльник.

— Меня похитили, Наталья, э-э-э, Сергеевна,— сказал Гайдуков,— меня похитили враги народа и вбросили к вам в окно. Они хотели выпытать у меня сведения. Но я, конечно... Дайте-ка мне что-нибудь одеться.

— Да, да, сию минуту,— заторопилась Шеина. Она отперла гардероб.— Вот здесь костюмы Ивана Владимировича, и в ящиках белье...

— И вот еще что. Сходите-ка за мужем. Пусть придет. И ни-ко-му ни слова. Помните: я вам доверяю государственную тайну.

А вам когда-нибудь доверяли государственную тайну? Мне — нет. Ни тайны, ни какого-нибудь там государственного секрета — ничего. И ни разу не брало меня начальство за пуговицу пальто или, скажем, пиджака и не говорило мне интимным голосом: «Слушай, Солодовникова-то... того... снимают! Только это не для распространения. Чтоб ни гу-гу!» И не отвечал я начальству, преданно глядя на него: «Да разве я не понимаю, Яков Петрович?! Могила!» Вы можете возразить мне: «А что, мол, такого уж важно-секретного Гайдуков сказал Шеиной? Да и к тому ж сказал он, как мы знаем, неправду!» Ах, дорогой вы мой! Мелко вы плаваете в этих делах, как я погляжу. Вот я, хоть и маленький, как говорится, винтик в системе народного образования, а я понимаю. Есть правда маленькая и ненужная, а есть правда величественная, грандиозная — масштабная правда! Так и тут. Первого секретаря райкома нагишом застали в чужой спальне. Это правда? Конечно, правда, только зачем она вам нужна? И кому она на руку? То-то вот. Ничего, кроме обывательских разговорчиков да подрыва авторитета, от нее не будет. А вот взгляните-ка с другой стороны: враги у нас есть? Есть. Вредят они нам? Вредят. Должны мы с ними бороться? Должны. На пользу нам идет каждое известие о провалившихся замыслах врага? Еще бы! Вот она, настоящая-то правда — мобилизующая, перспективная, присущая только нам, советским людям.

Когда Шеина убежала за мужем, Василий Сергеевич оделся. Костюм Ивана Владимировича оказался ему почти впору, только брюки пришлось немного подвернуть. Василий Сергеевич причесался, погладил ладонью небритость, пожалел, что в доме нет папирос. Пока он был в предыдущем состоянии, ему, конечно, курить не хотелось.

Вскоре прибежали Шеины.

С Шеиным Василий Сергеевич разговаривал уже иначе: он был одет. Он сказал:

— Товарищ Шеин! Ваша жена вам, конечно, уже изложила причины моего... прихода к вам. Могу добавить: я рад, что попал в дом к члену партии.

— Товарищ Гайдуков! — сказал Шеин проникновенно. — Василий Сергеевич! Я заверяю вас, что понимаю всю ответственность. Печальные обстоятельства, в которые вы попали... Вражеская вылазка... Я неоднократно указывал директору школы на необходимость бдительности, но он, увы, не всегда на высоте... Можете на меня положиться.

— Сейчас вы проводите меня домой — я переоденусь. И вот что запомните: вы подобрали меня в бессознательном состоянии около дома — не в доме, а около — понятно? И вы, Наталья Савельевна, то же самое скажите, если спросят. Так надо.

Когда Гайдуков и Шеин ушли, Наталья Семеновна, тихонько вздыхая и часто прерывая работу, принялась за уборку. Мужественная пятка первого секретаря так и стояла у нее перед глазами. Уже много позже она вспомнила о пропавшем в суматохе коте.

## 7

Расширенное заседание бюро райкома было в разгаре. Вел заседание Медынский. За три дня отсутствия Гайдукова вопрос с руководством прояснился. Был звонок сверху. Медынскому предложили принять дела и сказали, что в течение ближайших двух-трех месяцев он будет осуществлять руководство, возглавлять район, и если он покажет себя, то возможно... Вячеслав Афанасьевич был в отличном настроении. Его суровое лицо выражало и сдержанную скорбь по безвременно ушедшему от нас Гайдукову, и сознание значительности переходного периода, и вполне понятное уважение к занимаемому им — хотя бы и временно — положению. Уже присутствовавшие на заседании ласкали глазами его коренастую, по-военному подтянутую фигуру, уже мелькнул несколько раз оборот: «под личным руководством Вячеслава Афанасьевича», уже секретарь райкома комсомола как бы невзначай обмолвился выражением «новые горизонты». И вдруг...

Ох, это самое «вдруг»! Ни один повествователь не избежит этого словечка. Да и как избежать, если мы хотим быть верны принципам соцреализма, если мы, как нам заповедано Фридрихом Энгельсом и Максимом Горьким, стремимся к изображению типических героев в ти-

пических обстоятельствах?! Ведь из этих «вдругов» вся наша жизнь состоит. В д р у г вбегает жена и говорит: «Дай скорее деньги! В угловом подсолнечное дают! Надо бежать, а то вдруг кончится!»... В д р у г приезжает комиссия из облоно... В д р у г разрешили аборт... В д р у г запретили коров... В д р у г министра культуры сняли... Никуда от этих «вдругов» не денешься. Так вот и сидишь, и ждешь, и подчас даже как-то недоумеваешь: а чего еще произойти может? Это, наверно, от недостаточного знания законов диалектики. Конечно, там сказано: «Развивается по спирали». Если бы еще знать заранее, куда эту самую спираль загнет? А вдруг...

Так вот, вдруг растворилась дверь и вошел Гайдуков. Все обмерли, а говоривший в этот момент предрайисполкома задвигал челюстью вхолостую, беззвучно. А Василий Сергеевич как ни в чем не бывало прошел на свое место (оно как-то само собой оказалось свободным от Медынского), сел, постукал карандашом и сказал:

— Продолжайте, товарищ Боровицкий.

И Боровицкий стал продолжать. Он говорил еще пять минут и закончил:

— ...услышать мнение товарищей.

После этого обычно выступал Гайдуков. Вот и теперь он откашлялся и сказал:

— Товарищи! Вопрос о ремонте больницы надо поставить с головы на ноги. Тут товарищ Боровицкий приводил нам цифры — не знаю, откуда он их взял...

— Василий Сергеевич! Мы с заврайздравом считали!

— Плохо считали, товарищ Боровицкий! Не по-партийному, не большевистски считали! Не по линии увеличения количества коек надо идти, а по линии уменьшения количества заболеваний. Кадры, кадры надо подбирать как следует. Мы не можем доверять здоровье трудящихся случайным людям. Врач должен быть как стеклышко! И еще относительно темпов. Вся страна работает в счет будущей пятилетки, а они там у вас в больнице с каждым пациентом по часу возятся! Если врач не может обойтись двумя-тремя... двумя-тремя... в две-три минуты не может справиться, то грош ему цена! В больнице нужен здоровый коллектив, дружная медицинская семья...

Тут Гайдуков остановился, помотал головой, и присутствовавшие с ужасом увидели, как округляются его глаза, шерстью и усами обрастает лицо, как руки, темнея, втягиваются в рукава и просторным, почти порожним становится костюм. Несколько секунд китель еще сохранял контуры человеческого тела, а потом рухнул в кресло. И в то же мгновение кот, большой серый кот прыгнул на стол, заваленный деловыми бумагами. Все повскакали с мест. Раздались крики ужаса и возмущения:

— Что это?

- Откуда?
- Гоните его!
- А где же...

— Мяу!!! — прогремел кот и обернулся человеком. Еще не осознав до конца катастрофичности происшедшего, Гайдуков, голый, стоя в полный рост на столе, сказал:

— ...и мы обязаны нацелить наш медперсонал на всемерное улучшение. Человек — наша главная ценность, и мы... мяу!

И он снова стал котом. Парработники бросились к дверям. Но, даже уязвленные в самые глубины своих атеистических душ, они успели заметить, что на этот раз в коте было больше человеческого, нежели в предыдущий: так, на кошачьей морде мяукал и артикулировал вполне человеческий рот и одна из четырех конечностей была не лапой, а рукой.

— Недоперевоплощение! — крикнул заврайоно и последним выскочил в коридор.

8

— Да, товарищ редактор, это, собственно, все, что я знаю об этом происшествии... Да, при мне, я тогда уже работал в Ново-Опрошенске... Ну, кое-что я сам видел, а частично мне рассказали... Нет, источники, вполне заслуживающие доверия... Да, пришлось немножко воссоздать, так сказать, реконструировать. Понимаете, я не собирался писать, но тут у нас в школе решили провести «Вечер истории Ново-Опрошенской парторганизации», и я стал готовиться к вечеру, и вот — написал. Перечел потом и вижу: вроде художественного произведения получилось. Ну, я так подумал: за идейную сторону я спокоен, факты проверить можно, вот только слог — ну, это, я думаю, вы поможете?.. Что я как преподаватель биологии об этом думаю? Я думаю, что у него было нервное потрясение, и механизм перевоплощения испортился, забуксовал, знаете, как на стертой пластинке игла крутится?.. Самый факт? А почему бы и нет? Непознаваемого не существует, есть только еще не познанное... Шеин? Он теперь директор школы, начальство мое... Медынского? Медынского утвердили, Вячеслава Афанасьевича. Очень хороший руководитель. При нем ни одной бродячей кошки в районе не осталось. Очень за порядком следит... Гайдуков-то? Так и исчез. После того случая военные зашли в кабинет, и что дальше было, никто не знает. Одни говорят — его в другой район перевели и на низовку бросили, а другие — что он так и остался половина наполовину, вроде кентавра... Я лично думаю, что у него все в норму вошло и он теперь может снова туда и обратно превращаться... Почему так думаю? Дело в том, что... между нами, конечно: есть слухок, что его в Москву перевели, и сейчас он там работает по специальности — в органах. Понимаете?

Ой, кто это там шевелится?! Вон, вон там, за креслом?! Тьфу ты, проклятый, напугал! Брысь!!!

# Первый день суда

«...Верховный суд РСФСР под председательством Председателя Верховного суда Л. Н. Смирнова, с народными заседателями Н. А. Чечиной и П. В. Соколовым, слушает дело А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, привлеченных к уголовной ответственности по части первой статьи 70 УК РСФСР, которая гласит: «Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти, либо совершение отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания — наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет». <...>

Судья. Подсудимый Даниэль, признаете ли вы себя виновным в предъявленных обвинениях полностью или частично?

Даниэль. Не признаю. Ни полностью, ни частично.

Прокурор. В чем выражалась ваша литературная деятельность в СССР?

Даниэль. Я занимался переводами, писал статьи, в Детгизе вышла моя книга — повесть «Бегство», которая в продажу так и не поступила.

Судья. Ваша повесть имеется в деле. *(Показывает книгу.)*

Прокурор. Стало быть, как поэт-переводчик и писатель вы выступали в СССР под своей фамилией?

Даниэль. Да.

Прокурор. Какие произведения и когда писались вами под псевдонимом?

Даниэль. Произведения не пишут под псевдонимом, их под псевдонимом издают.

Прокурор. Хорошо, так что вы издали под псевдонимом?

Даниэль. Под псевдонимом я издал произведения «Руки», «Говорит Москва», «Человек из МИНАПа», «Искушение».

---

**Чтобы читатель мог составить представление о ходе, профессиональном уровне и «драматургии» суда, мы приводим с незначительными сокращениями запись допроса Ю. Даниэля 10 февраля 1966 г. (Первый день судебного заседания.)**

Прокурор. Они изданы?  
Даниэль. Да.

<...>

Прокурор. Когда и где были написаны эти произведения?

Даниэль. Рассказ «Руки» написан примерно в 1956—1957 годах, точно я вспомнить не могу; «Говорит Москва» написана в 1960—1961 годах, «Человек из МИНАПа» в 1961 году, «Искушение» в 1963 году.

Прокурор. Писали ли вы эти произведения сами или вам кто-либо помог?

Даниэль. Сам писал.

Прокурор. Кто-нибудь подсказывал сюжет какой-нибудь вещи?

Даниэль. Не сюжет. Идея повести «Говорит Москва» принадлежит не мне.

Прокурор. Кто подсказал вам идею? Расскажите.

Даниэль. Идею повести подсказал мне мой тогдашний приятель Хмельницкий.

Прокурор. Говорили ли вы с Хмельницким впоследствии о реализации этой идеи?

Даниэль. Да, дважды. Первый разговор у нас с ним был в 1962 году: он при многих свидетелях спросил меня, написал ли я уже повесть с подсказанной им идеей? Я его оборвал.

Прокурор. Вот вы его оборвали. Значит, вы понимали, что его нужно оборвать, что нежелательно раскрытие псевдонима.

Даниэль. Да, понимал, так как эта вещь уже была напечатана за границей. Второй разговор об этом был после того, как Хмельницкий опять-таки в присутствии многих, услышав, что эта вещь передавалась зарубежным радио, воскликнул: «Да ведь это наше с Даниэлем произведение!»

Прокурор. Какое радио?

Даниэль. Не знаю.

Прокурор. А разве не было разговора, что это радиостанция «Свобода»?

Даниэль. Нет, такого разговора не было.

Прокурор. Это была радиостанция «Свобода», дата передачи указана в справке, имеющейся в деле.

*Судья читает имеющуюся в деле запись передачи радиостанции «Свобода», в которой перед чтением произведения Даниэля сделаны антисоветские выпады.*

Прокурор. Об этой ли передаче шла у вас речь с Хмельницким?

Даниэль. Не знаю, об этой или нет.

Прокурор. Почему же вы оборвали Хмельницкого, когда он заговорил при посторонних? Значит, вы чего-то опасались?

Даниэль. Конечно.

<...>

Прокурор. Если вы не видели в своих вещах ничего антисоветского, то почему вы не отнесли их в советские издательства?

Даниэль. Я очень хорошо знал, что редакции не будут печатать ничего написанного на столь острые темы. В моих вещах есть политическая окраска, и их не стали бы печатать по политическим соображениям. Я имею в виду политику редакций и издательств.

Прокурор. Значит, Даниэль, вы понимали, что в ваших вещах есть что-то препятствующее их изданию в Советском Союзе?

Даниэль. Я имею в виду политику наших издательств, которые боятся издавать что-либо, написанное на острую тему.

Прокурор. А повесть «Бегство» все-таки понесли в издательство? Даниэль, вы переправляли ваши произведения за рубеж легально или нет?

Даниэль. Нет, я пересылал их нелегально.

Прокурор. Кто помог вам переслать их за границу?

Даниэль. Эллен Пельтье-Замойская. Она моя не очень близкая знакомая, но я попросил ее отдать рукописи для публикации, и она согласилась.

Прокурор. Даниэль, как вы считаете, это этично для советского гражданина передавать за границу через иностранную подданную вещи, имеющие, как вы выразились, политическую окраску?

Даниэль. Нет, я не назвал бы это этичным.

Прокурор. Расскажите, кто такая Замойская?

Даниэль. Она специалист по русской литературе, изучает Леонида Андреева, любит Россию и просто милая женщина.

<...>

Прокурор. Значит, вы переправляли свои произведения с помощью дочери военно-морского атташе?

Даниэль. Я передавал их через Замойскую, а чья она дочь, меня не интересовало.

Прокурор. Даниэль, кто еще помогал вам переправлять ваши рукописи за границу?

Даниэль. Я не знаю, можно ли это назвать помощью. Я использовал поездку в 1961 году одной своей знакомой — Анн Кариф. Я передал ей рукописи «Говорит Москва» и «Человек из МИНАПа», упаковав их в пакет и сказав, что это книга для Замойской. Она думала, что это просто книга и была, так сказать, почтальоном.

Прокурор. А чем помог вам Синявский?

Даниэль. В пересылке ничем.

Прокурор. А в чем?

Даниэль. Я искал пути, чтобы переслать рукописи за границу. Э. Пельтье я уже знал, с ней меня познакомил Хмельницкий. Я просил Синявского познакомить меня с ней поближе.

Прокурор. Вы знали, что Синявский пользуется помощью Пельтье для печатания своих вещей за границей?

Даниэль. Нет, тогда еще не знал.

Прокурор. А когда узнали?

Даниэль. Узнал позднее, когда мои рукописи уже были отправлены.

Прокурор. А не смазываете ли вы роль Синявского? На предварительном следствии вы показали, что знали. Вот ваши показания, я их вам прочитаю: «Я прежде не хотел впутывать Синявского и давал неправильные показания. Теперь я решил рассказать всю правду. Я передал все рукописи Синявскому, а как он их переслал, не знаю». Даниэль, зачем вы уходите от своих показаний?

Даниэль. Я не только уйду от них, я прямо от них отказываюсь.

Прокурор. Даниэль, когда же вы лжете — в показаниях или сейчас?

Судья. Я прошу избегать таких слов.

Даниэль. Анн Кариф получила от меня пакет в тот момент, когда Синявский вышел из комнаты. Он ничего об этом не знал и совершенно тут ни при чем.

Прокурор. Начиная с 14 декабря 1965 года вы давали показания, что «раньше я не хотел, чтобы вся ответственность ложилась на Синявского, и потому давал неверные показания...» (*читает показания Даниэля, уличающие Синявского в пересылке рукописей Даниэля.*).

Даниэль. Эти показания не соответствуют действительности. Тогда я не помнил точно, а теперь вспомнил, как было на самом деле.

Прокурор. Во время следствия вы давали эти показания добровольно?

Даниэль. Да.

*Прокурор читает показания Даниэля от 13 января 1966 года, в которых сказано, что он давал рукописи Синявскому, а как и когда тот переслал их за границу — не знает.*

Прокурор. Даниэль, почему вы меняете свои показания?

Даниэль. Мои показания были сбивчивы, в деле есть разные мои показания, данные в разное время. Я не машина, я человек, я не могу все точно помнить, тем более что дело было пять лет назад.

<...>



*Прокурор просит суд ознакомиться с письмом издательства «Прогресс», в котором указаны издания произведений Аржака. Судья читает справку, где и когда были изданы эти произведения.*

Прокурор. Вы получали гонорары за эти произведения?

Даниэль. Нет.

Прокурор. Какой вам начислили гонорар за них и как? Что вам известно о гонораре?

Даниэль. Понятия не имею, какой. Знаю только, что он есть.

Прокурор. Вы говорили о гонораре с Замойской?

Даниэль. Да, говорил. Она сказала, что гонорар перечислили, что гонорар большой, но ничего точного не знаю.

Прокурор. А о гонораре Синявского у вас были разговоры?

Даниэль. Нет, не было.

<...>

Судья. Я, конечно, понимаю, что авторская речь и речь персонажа — вещи разные. Но вот вы пишете в повести «Говорит Москва» (*цитирует разговор с Маргулисом, где сказано «Зачем им это надо...» и т. д.*).

Даниэль. Вы правы, что позиция героя и автора не всегда одно и то же. И главный герой у меня возражает на те слова, которые вы привели. Он говорит: «За Советскую власть надо заступаться». Так что в отрывке, который вы прочли, все ясно.

Судья. Это тот главный герой, который «из автомата...», «веером», «от живота»?

Даниэль. Да, тот самый. Но я и это объясню. Вот идея всей повести кратко: человек должен оставаться человеком, в какие бы обстоятельства жизнь его ни ставила, какое бы давление и с какой бы стороны на него ни оказывалось. Он должен быть верен себе, самому себе и не участвовать ни в чем, против чего восстает его совесть, что противоречит его человечности. Теперь насчет отрывка «от живота». Этот отрывок назван в обвинительном заключении призывом к расправе над руководителями партии и правительства. Действительно, здесь герой говорит о руководящих работниках, ибо он помнит о массовых репрессиях и считает, что за них должны нести ответственность те, кто в них повинен. Но на этом цитата оборвана, обвинительное заключение ставит точку. Но книга на этом не кончается, даже монолог на этом не кончается, герой чувствует, что картина убийств и кровопролития ему знакома, он уже видел ее на войне. И эта картина вызывает у героя омерзение. Здесь налицо тенденциозное истолкование этого отрывка в обвинительном заключении. Ведь дальше герой говорит прямо: «Я не хочу никого убивать». Пусть любой читатель ответит: герой хочет убивать? Каждому должно быть ясно — не хочет!

Судья. Но вы упускаете самое главное — герой может убивать благодаря указу Советской власти. Значит, есть плохое правительство и хороший герой, который не хочет никого убивать, кроме правительства.

Даниэль. Этого не следует из повести. Герой говорит «никого». Никого — значит никого.

Судья. Но указ такой в повести есть?

Даниэль. Да.

Прокурор. Я прошу Даниэля прочесть эпитафию к 4-й главе повести.

Судья. Я не вижу никакой надобности, чтобы в зале звучала нецензурная брань.

Прокурор. Прошу все-таки разрешения прочесть эпитафию с купюрами — без мата.

Судья. Прочтите, но без мата.

Прокурор (*читает*). «Я их ненавижу до спазм, до клекота в горле, до дрожи; о, если бы собрать их да и разом всех этих... уничтожить». Как, Даниэль, объяснить этот эпитафию?

Даниэль. Этот эпитафию к размышлениям героя.

*Смех в зале.*

Прокурор. Кого же вы ненавидите? Кого вы хотите уничтожить?

Даниэль. К кому вы обращаетесь? Ко мне, к герою или к кому-нибудь еще?

Прокурор. Кто является у вас положительным героем? Кто в повести излагает вашу точку зрения?

Даниэль. Во время нашей предварительной беседы я вам уже говорил, что у меня в повести нет ни одного до конца положительного героя, да это и необязательно.

Прокурор. У нас не было предварительной беседы. Но кто является носителем авторского кредо? Где оно выражено?

Даниэль. Герои частично несут груз авторского мироощущения, частично нет. Ни один герой не есть автор. Может быть, это плохая литература, но это литература, и в ней нет только белого и черного.

Прокурор. Я оглашаю заключение Главлита о повести Аржака. (*Читает.*) «Повесть «Говорит Москва» — это чудовищный пасквиль...» и далее дается оценка повести, полностью совпадающая с обвинительным заключением, с той разницей, что в заключении Главлита сказано, что в повести выражен антисемитизм. Вы согласны с такой оценкой, Даниэль?

Даниэль. Никоним образом. В отзыве сказано, что я выражаю свои идеи «устаами своих героев». Это, мягко говоря, наивное обвинение. Так можно обвинить в антисоветчине любое произведение любого советского писателя. Скажем, белогвардейцы высказываются у Лаврентева, Шолохова, Леонова...

Прокурор (*перебивает*). Очевидно, оценка западной прессы, где вас сравнивают с Достоевским, так вскружила вам голову, что вы уже сравниваете себя с крупнейшими советскими писателями.

Даниэль. Я ни с кем себя не сравниваю. Я хочу сказать, что важно не то, что говорят герои, а авторское отношение к этому, его позиция.

Прокурор. На предварительном следствии вы были частично согласны с заключением Главлита.

Даниэль. Внешне факты там изложены правильно.

Прокурор (*читает заключение Главлита*). «По мысли автора, советский народ слепо подчиняется партийной верхушке...» Как вы оцениваете свое произведение с этой точки зрения?

Даниэль. Я не имел в виду говорить резкости. В какой-то степени я могу согласиться с мыслью, что политическая инициатива масс... Я в нее не очень верю. И политически считаю массы пассивными.

Прокурор. Значит, если объявят День открытых убийств, то весь народ кинется убивать, если ему так прикажут?

Даниэль. Нет, этого там не сказано. День открытых убийств — это литературный прием, избранный для того, чтобы разобраться в реакции людей.

Судья. Я хочу кое-что пояснить. Вот представьте себе коммунальную квартиру: Иванова ссорится с Сидоровой. Если Иванова напишет, что есть некая дама, которая портит жизнь другой даме, то это намек, иносказание. А если она напишет, что Сидорова подсыпает ей мусор в суп, то это уже подлежит юридическому разбирательству, как что-то вроде доноса, либо как клевета, либо еще как-то. А вы же прямо говорите о Советском правительстве, не о древнем Вавилоне, а о конкретном правительстве, что оно объявило День открытых убийств, и указываете дату — 10 августа 1961 года. Это прием или прямая клевета?

Даниэль. Я воспользуюсь вашим примером. Если Иванова напишет, что Сидорова летает на помеле или превращается в животное в буквальном смысле, то это будет литературный прием, а не клевета. Я взял заведомо фантастическую ситуацию.

Судья. Вот что пишет Б. Филиппов: «Но так ли уж нереально то, что изображает Аржак?» Так что это, выходит, не литературный прием, Даниэль?

Даниэль. Это литературный прием.

Прокурор. Даниэль, неужели вы отрицаете, что День открытых убийств, якобы объявленный Советской властью, — это клевета?

Даниэль. Я считаю, что клевета — это то, в чем — хотя бы теоретически — можно верить других...

*Смех в зале.*

Судья. Хочу разъяснить (*читает кодекс*). Клевета — это распространение заведомо ложных и позорящих сведений. Это юридический закон.

Даниэль. Как же тогда быть с фантастикой?

Судья. Я возвращаюсь к приведенному мною примеру. Когда Иванова утверждает, что Сидорова сделала то-то и то-то, а Сидорова этого не делала, то юристы называют подобные утверждения клеветой.

Прокурор. Вы оклеветали простых советских людей. Посмотрите, как советские люди реагируют на объявление «Дня открытых убийств» (*цитирует повесть*). Интеллигентные люди так реагируют! Разве это не клевета? Вот ваша беседа с Маргулисом...

Даниэль (*перебивает*). Не моя, а моего героя!

Прокурор. Но разве это не клевета на советского человека?

Даниэль. С таким же успехом «Баня» и «Клоп» Маяковского тоже клевета на советского человека. Разве Маяковский не оклеветал советского человека Пьера Скрипкина?

Прокурор. Не будем об этом говорить! Покажите хоть одного советского человека, который бы выглядел как настоящий советский человек. Как вы интеллигентов изобразили!

Даниэль. Вы говорите о советских интеллигентах так, как будто все они достойны только преклонения.

Прокурор. Ну, хоть кого-нибудь вы изобразили хорошим? (*Цитирует повесть.*) Разве это не клевета на советских людей, на Советское правительство?

Даниэль. Даже в уставе Союза писателей нет пункта, что надо обязательно писать только о благородных, умных и хороших людях. Почему в сатирическом произведении я должен писать о хороших людях? Сатирики от Аристофана до Гоголя...

Прокурор. У вас вскружилась голова!

Даниэль. Прошу разрешения сделать заявление. Я литератор. Я не могу не сослаться на историю литературы, на опыт других писателей. Это не значит, что я сравниваю себя с ними, ни по уму, ни по таланту. Пусть обвинитель не утверждает, что я себя с ними сравниваю.

Прокурор. Вы в повести упоминаете газету «Известия», «Литературу и жизнь», упоминаете писателей Безыменского, Михалкова! Как оклеветана вся советская пресса, все советские писатели! Разве это не клевета на советскую печать?

Даниэль. Нет, это не клевета на советскую печать. Я имею в виду отдельных авторов, приспособленцев. Это пародия на казенный стиль, на шаблон, присутствующий часто в наших газетах.

Прокурор. Я предвидел этот ответ и вернусь к цитате про «Известия». Там сказано, что, как обычно, газета напечатала редакционную статью, призывающую поддержать День открытых убийств, откликнуть-

ся и т. п. Как обычно. Разве это не клевета на всю советскую печать?

Даниэль. Это издевка над стилем газетных статей.

Прокурор. Вот теперь вы уже заговорили своим подлинным голосом.

Судья. Не надо замечаний, не помогающих выяснению дела.

Даниэль. Я всегда говорю своим подлинным голосом.

Прокурор. Вы пишете, что народ настроен антисемитски и только ждет, чтобы начать еврейский погром. Вы сравниваете это настроение с тем, которое привело к Бабьему Яру. Но там ведь убивали фашисты. Разве это не кощунство сравнивать весь наш народ с фашистами!

Даниэль. Из этой цитаты не следует, что весь советский народ настроен антисемитски, а следует, что есть отдельные люди с подобными настроениями. Речь идет о каких-то людях — каких, не указано, которые могут заняться сведением личных счетов, о том, что могут найтись отдельные подонки, и ничего более из этого текста не следует.

Прокурор. Отдельные или весь народ — об этом мы сейчас поговорим (*читает описание резни, где сказано, что грузины резали армян, армяне резали азербайджанцев, а в Средней Азии все резали русских*). Разве это не клевета на весь советский народ?

Даниэль. Нет, это не клевета на весь советский народ.

Прокурор. И у вас сказано, что всем этим руководит НК (цитирует). Разве это не клевета?

Даниэль. Вы забываете, что отправная точка всех этих высказываний — фантастическое допущение, а не реальность.

*Смех в зале.*

Прокурор (*цитирует отзыв белоэмигранта Филиппова, в котором повесть Аржака оценена как антисоветское произведение*). Что вы об этом скажете?

Даниэль. Я советую вам за разъяснениями обратиться к Филиппову. Я не отвечаю за то, что он пишет.

Прокурор. Это вы адресуетесь к Филиппову, а не к советским людям.

Даниэль. Я не писал Филиппову и никому вообще не писал и никогда не знал, где это будет напечатано.

Судья. Однако напечатал все Филиппов.

Даниэль. Я узнал об этом только в 1963 году.

Прокурор. Но вы знали, что антисоветские круги передавали ваши вещи по радио!

Даниэль. У вас нет никаких оснований утверждать это.

Прокурор. Вот что вы пишете, Даниэль. (*Зачитывает выдержки из*

повести «Говорит Москва», где сказано о письме ЦК по поводу Дня открытых убийств.)

*В этот момент в зале гаснет свет. Чей-то взволнованный голос: «Лев Николаевич, что делать со светом?» Недовольный голос судьи: «Я вам судья, а не электрик». Свет зажигается.*

Прокурор. Разве это не злобная клевета и в адрес украинского народа?

Даниэль. Я уже один раз сказал, что такое клевета. Это то, во что можно поверить. В мой вымысел поверить нельзя. А если в вымысел поверить нельзя, то это не клевета, а фантастика. Но хочу повторить еще раз: все описанное мною было бы возможным при условии реставрации культа личности. Если бы он возродился, то могло быть все что угодно. Я не считаю, что что-либо невозможно, когда государством управляет один человек.

Прокурор. При чем тут культ личности? У вас речь идет о Советском Союзе в 1961 году. Вот на стр. 50—51 повести у вас герой является к Мавзолею, и там его душат, а единственное, что возмутило часового, это грязное пятно на сапоге! Сцена написана от лица автора! И псих, напавший на героя, кричит: «По приказу Родины!» (Цитирует.) Разве это не глумление?

Даниэль. Я не знаю, служили ли вы в армии, но я знаю, что часовой не имеет права менять положение! Здесь нет никакого глумления.

Прокурор. Глумление в том, что дело происходит у Мавзолея, что наш советский человек взволнован только грязью на сапоге!

Даниэль. Здесь нет никакого глумления. Если бы часовой покинул пост, его судил бы военный трибунал — и правильно бы сделал. Я прошу прочесть две-три фразы этого отрывка.

Судья (читает тот же отрывок).

Даниэль. Я просил прочесть до этого, а не повторять. Но я сам перескажу. До этого герой восклицает: остановитесь, ведь не этого хотел тот, кто первым лег в эти мраморные стены. Ленин не хотел ни убийств, ни террора, ни репрессий!

Судья (цитирует более широкий текст).

Прокурор. На предварительном следствии вы согласились, что вся идея повести, как сказано в отзыве Главлита, — в том, что народ СССР запуган и не может оказать никакого сопротивления любому дикому мероприятию. Вы подтверждаете свои показания?

Даниэль. Я еще раз говорю, повесть написана о том, что было бы в случае возрождения культа личности.

Прокурор (читает разговор Карцева со Светланой, смысл которого в том, что «весь народ запуган»). Что это за строки? Разве они не подтверждают слова Главлита, что вы оклеветали весь народ и правительство?

Даниэль. Я снова повторяю, что написано о том, что было бы, если бы культ личности был возрожден — именно в 1961 году угроза реставрации была серьезной.

Прокурор. Вы вновь, Сиянский, клеветаете!

Даниэль. Моя фамилия Даниэль.

Судья. Не нужно оценок. Допрос имеет целью установить факты. Оценку даст суд.

Прокурор. На допросе 13 января вы признали, что в повести есть места, которые могут быть истолкованы как антисоветские. Вы подтверждаете эти показания?

Даниэль. Да.

Судья (*читает показания Даниэля о местах, которые могут быть истолкованы как антисоветские*). Вы подтверждаете эти показания?

Даниэль. Да, подтверждаю.

Прокурор. Ваши произведения «Человек из МИНАПа», «Руки», «Искушение» тоже носят антисоветский характер. (*Читает заключение Главлита*. «Все эти произведения в своей идейно-политической направленности представляют собой образцы антисоветских произведений, написанных с позиций антикоммунизма» и т. д. Идея рассказа «Искушение» в том, что в культе личности виноват весь советский народ, что народ не верит в дело партии; политическое кредо рассказа — в бредовых выкриках в конце: «Товарищи! Они продолжают нас расстреливать!», «От себя не убежите», «Тюрьмы внутри нас!» и т. д. В рассказе «Руки» — злобные выпады против чекистов, политика партии изображена как антикоммунистическая. В «Человек из МИНАПа» изображен вымышленный «московский институт профанации», это грубый пасквиль, высмеивающий нашу мораль и некоторые научные представления»). Вы согласны, Даниэль, с заключением Главлита?

Даниэль. Ни в коей мере.

Прокурор. А на предварительном следствии вы иначе оценивали эти произведения (*читает выдержки из допроса от 23 декабря 1965 года, где Даниэль признал, что в 6-й главе «Человека из МИНАПа» есть строки, которые могут быть расценены как выпады против Советского правительства*). Вы подтверждаете это?

Даниэль. Да, я подтверждаю, что эти строки могут быть расценены так.

Прокурор (*цитирует*). А эти строки могут быть расценены как антисоветские?

Даниэль. Могут быть расценены, но такими не являются.

*Смех в зале.*

Прокурор. Даниэль, что побудило вас к написанию антисоветских, клеветнических произведений, порочащих государственный строй СССР?

Даниэль. Я отказываюсь отвечать на вопрос, поставленный в такой форме.

Прокурор. Что, Даниэль, побудило вас написать эти произведения?

Даниэль. В свое время «Тихий Дон» тоже расценивался как антисоветское произведение... *(Гул и смех в зале.)* «Могут быть» и «являются» — вещи разные.

Судья. Здесь не литературный диспут и экскурсии в историю литературы не нужны.

Даниэль. Я настаиваю на своем праве искать литературные аналогии. Меня обвиняют в политическом преступлении, и я защищаюсь, приводя литературные аналогии.

Судья. Вы сравниваете «Человека из МИНАПа» с «Тихим Доном». Это бестактно.

Даниэль. Я себя ни с кем не сравниваю.

Прокурор. Зачем вы писали вещи, которые могут быть истолкованы как антисоветские произведения?

Даниэль. Я скажу о «Руках». Я знаю, что не имею права задавать вопросы суду, но может ли обвинение указать в рассказе хоть одну фразу, хоть одно слово, хоть одну букву, которую можно истолковать как антисоветскую? Этот рассказ — литературная запись сказанного мне действительного происшествия. Из текста рассказа не вытекает то, в чем меня обвиняют. Фразы обвинительного заключения об этом рассказе — сплошное противоречие. В обвинительном заключении говорится, что якобы Советская власть обходилась без насилия. Но это не научно, не по-марксистски, не по-ленински. По Ленину, революция — это насилие, и государство — насилие, насилие большинства над меньшинством. В обвинительном заключении говорится, что я пишу, что «Советская власть допускала насилие над советскими людьми». Но этого нет в рассказе — там изображается расстрел контрреволюционеров. Из текста рассказа не вытекает и идея возмездия. Текст рассказа не дает права толковать его так, как в обвинительном заключении. Теперь о рассказе «Человек из МИНАПа». Мне не нравится этот рассказ, он плохо написан, груб, бестактен, но ничего антисоветского в нем нет. Это сатирический рассказ, — шарж, гротеск, преувеличение — это традиционные средства сатиры. Почему изображение десяти плохих людей выдается обвинением за изображение всего советского общества? Герои сатиры всегда отрицательные, а положительный герой в ней — фигура всегда условная. Нет никаких оснований говорить, что рассказ направлен против морали и этики советского общества. Почему я его написал? Среди моих друзей много ученых, один из них рассказал мне о шумихе вокруг Бошьяна и Лепешинской (я не равняю эти два имени), рассказал, что сенсация нанесла вред нашей науке. По поводу этой шумихи, а не по поводу этой науки



и был написан этот рассказ. Главлит полагает, что я должен был, очевидно, восхвалять те явления, которые я высмеиваю.

*Прокурор и Даниэль долго спорят о «научных представлениях», упомянутых Главлитом.*

Судья (зачитывает рецензию Главлита, где сказано, что рассказ — пасквиль на «некоторые научные представления»). Даниэль, вы в этом рассказе выступаете против Бошняна?

Даниэль. Нет, я выступал против шумихи, рекламы вокруг научных открытий.

Судья. А если стержень рассказа то, о чем вы говорите, то почему ваш Володя думает о Карле Марксе и Кларе Цеткин в столь неподходящее время и в такой ситуации?

Даниэль. Это объясняется спешкой, с которой был написан рассказ.

*Смех в зале.*

Судья. Ваш рассказ «Руки» — он ведь посвящен далекому прошлому. Почему же именно этот рассказ вы послали за границу, а не, скажем, повесть «Бегство»?

Даниэль. Я хотел видеть написанное мною напечатанным. Я убежден, что в моих произведениях нет ничего антисоветского. Но я знаю, что наши издательства и редакции считают, что есть круг запретных тем, которые не следует предавать литературной огласке. Есть ряд проблем, о которых либо писатели не пишут, либо издатели не печатают. Тема рассказа «Руки» — тема запретная, замалчиваемая. Речь идет в рассказе о работе кровавой, тяжелой, но необходимой. Герой рассказа — рабочий, который затем служит в ВЧК. И вот у него в результате этой работы дрожат руки (*пересказывает рассказ*).

Судья. Но почему первым ушел за границу именно этот рассказ?

Даниэль. Потому что я заранее мог предположить, что его здесь не напечатают, так как это запретная тема, и с 30-х годов в нашей литературе она не освещается...

Судья. Так почему же все-таки не «Бегство» и не переводы, а именно этот рассказ? Он написан в стиле «гиньоль» (*читает отрывок*). Но не в этом дело. Почему тема расстрела попов была для вас важна сегодня? Зачем вы возродили эту тему именно сейчас? Эмиграция много кричала про Тихона. Это что, имеет отношение к литературе?

Даниэль. А герой не знает, за что он расстреливает.

Судья (*цитирует*). Ясно, что это будет охотно напечатано за границей.

Даниэль. Я не ставил политических целей, когда писал рассказ.

*Смех в зале.*

Прокурор. Допустим, что вы не понимали политической направ-

ленности рассказа. Но зачем в этом случае вы послали его за рубеж под псевдонимом и нелегально?

Даниэль. Я послал, чтобы напечатали,— это достаточная для меня причина. Если бы я был врачом или инженером, я бы опубликовал это под своим именем. Но я переводчик, получение работы для переводчика моего класса связано с добрыми отношениями с издательствами. Если бы стало известно, что я печатаюсь за границей, меня бы лишили переводческой работы. Когда я отдавал эти вещи Пельтье, я не знал, где, когда и в какой стране они будут напечатаны. Завершённые литературной работы есть публикация. Это можно трактовать как угодно... как тщеславие или гордыню. Но если бы я был врачом или ученым, я не взял бы псевдонима. Я уже говорил, что, возможно, это незачётно.

Прокурор. Вы хотели напечататься, а вы подумали о наших врагах, о том, как эти произведения могут быть использованы для антисоветской пропаганды?

Даниэль. Я об этом не думал.

Прокурор. А когда вы об этом подумали?

Даниэль. Начал думать после 1964 года, когда увидел две книги, одну из них с предисловием Филиппова. Тогда я понял, как они истолкованы. Несмотря на мои сомнения, я еще отправил за границу одну рукопись. Но с 1963 года я больше ничего не писал и не отсылал. (...) Я не хотел разоблачать себя как автора, решив ничего больше не писать и не посылать. Любой мой протест огласил бы мое настоящее имя — я побоялся это сделать.

Прокурор. А в других случаях вы были храбрее. Вот Синявский говорил вам, что посылать опасно.

Даниэль. Вы неточно цитируете показания.

*Прокурор читает показания.*

Даниэль. Да, я забыл. Вы цитируете правильно.

Прокурор. Но смелости у вас не хватило, когда надо было нейтрализовать ущерб, причиненный родине?

Даниэль. Я оказался не таким храбрым. Я надеялся, что принесет. К тому же речь шла не только обо мне, а отвага иссякает, когда человек думает о семье. Что касается ущерба, то такому государству, как наше, две или двадцать две книги не принесут существенного ущерба.

Судья. Все-таки приносило, однако, все по восходящим ступеням. Вот «Искупление» было издано еще рядом издательств.

*Смех в зале.*

Даниэль. Я рассказ «Искупление» напечатанным не видел. Я оказался не таким храбрым, как был вначале. Я потерял запас храбрости из-за угрозы семье. Я считаю, что ущерб нашему государству невелик.

Прокурор. Вы писали вещи, которые, по вашему признанию, можно было истолковать как антисоветские. Вы делали это долго. Вы знали, как они расценивались на Западе. Оцените сами свое поведение.

Даниэль. Я считал и считаю, что писал не антисоветские произведения. Я не вкладывал в них антисоветского содержания, так как не подвергал критике или осмеянию основы нашей жизни. У меня нет знака равенства между лицами и общественным строем, между правительством и государством, между периодом и эпохой. Государство существует века, а правительство бывает недолгим и зачастую бесславным. Другое дело, как я оцениваю факт их опубликования — я сожалею об этом. До ареста я мог только догадываться о реакции на Западе. Во время следствия я увидел, что мои вещи расценены как направленные не против отдельных лиц, а против строя, не против эпохи, а против дела в целом. Идея каждой моей вещи не является антисоветской — ведь не является антисоветской та идея, что человек должен быть человеческим, даже если он попадает в ситуацию Дня открытых убийств.

Судья. Должен даже при чудовищном допущении о Верховном Совете СССР?

Даниэль. Да, и я не считаю это антисоветским.

Судья. И эти художественные допущения вы отослали за границу?

Даниэль. Я сожалею об этом.

Судья. Ваши допущения идут от одного политического образа к другому. Посмотрите сами *(повторяет цитаты, которые уже приводились в обвинительном заключении)*.

Даниэль. О том, о чем я пишу, молчит и литература и пресса. А литература имеет право на изображение любого периода и любого вопроса. Я считаю, что в жизни общества не может быть закрытых тем.

Прокурор. Но вы же взяли 1961 год. Вы выдумали Указ! И т. д. и т. п. Мой вопрос прям. Если вы не хотите оценить свое поведение — дело ваше.

Даниэль. Я не считаю себя виновным в том, что я написал, но сожалею, что я напечатал это за границей. Я повторяю, что в 1961 году была реальная угроза реставрации культа личности.

Судья. А ваше обращение к Филиппову тоже связано с культом личности?

Прокурор. Да никакого отношения эти произведения к периоду культа личности не имеют.

Даниэль. Я к Филиппову не обращался.

Прокурор. Так, ясно. Скажите, Даниэль, что вам известно о литературной деятельности Синявского? Вы знаете его произведения?

Даниэль. Мне известны все его вещи, опубликованные за рубежом. Он читал мне их по рукописям. Я видел книги «Любимов» и «Фантастические повести».

Прокурор. Знакомились ли вы с предисловием Филиппова?

Даниэль. Нет.

Прокурор. Как вы оцениваете произведения Синявского?

Даниэль. С художественной стороны.

Прокурор. А с политической?

Даниэль. Я считаю, что там нет ничего антисоветского.

<...>

Васильев (*общественный обвинитель*). Откуда вы взяли псевдоним Аржак?

Даниэль. Мне понравилось звучание, понравилось сочетание этого имени и фамилии.

Васильев. Это не из песни?

Даниэль. Нет, я не знаю такой песни.

Кисенишский (*защитник Даниэля*). С какого года вы занимаетесь литературной работой?

Даниэль. С 1957 года.

Кисенишский. Сколько у вас было публикаций?

Даниэль. За это время вышло примерно 40 сборников с моими переводами.

Кисенишский. Когда вы начали писать прозу, какое ваше первое прозаическое произведение?

Даниэль. Первое — это повесть «Бегство». Я начал ее в 1952—1953 годах, а закончил в 1957—1958 годах.

Кисенишский. Перечислите в хронологической последовательности даты написания и передачи за границу ваших произведений.

Даниэль. Рассказ «Руки» написан в 1956—1957 годах, переслан за границу в 1960 году; «Говорит Москва» написана в 1961 году и в том же году переслана; «Искушение» написано и переслано в 1963 году.

Кисенишский. В рассказе «Руки» есть ли места, свидетельствующие не об антисоветской, а о противоположной направленности вашей вещи?

Даниэль. Да, есть (*цитирует ряд мест*).

Кисенишский. Как возникло название рассказа «Руки»?

Даниэль. Сначала рассказ назывался «Происшествие», потом «Руки». Следы этого есть в тексте.

Кисенишский. Есть ли в рассказе «Человек из МИНАПа» политически бестактные места?

Даниэль. Да, например, упоминание о Марксе в определенной ситуации, хотя ничего дурного там о Марксе не говорится.

*Смех в зале.*

Кисенишский. А не придавали вы этой ситуации более общий смысл?

Даниэль (*смеется*). Нет, я не представляю, как это можно было бы сделать.

Кисенишский. Расскажите, как возник сюжет рассказа «Искупление».

Даниэль. Этот сюжет пришел, как говорится, от обратного. В последние годы часто приходилось слышать, что отдельные лица разоблачались как клеветники, как те, кто посадил невинных людей в тюрьму. И вот я подумал, как должен чувствовать себя человек, ложно обвиненный в столь тяжелых преступлениях. Эта ситуация касалась близкого мне в то время человека. Так родилось содержание рассказа. Идея рассказа, по обвинительному заключению, это все виноваты, что был культ личности и массовые репрессии. Я согласен с такой трактовкой, только не согласен с добавлением к ней слова «клеветническая». Я считаю, что каждый член общества отвечает за то, что происходит в обществе. Я не исключаю при этом себя. Я написал «виноваты все», так как не было ответа на вопрос «кто виноват?». Никто никогда не говорил публично — кто же виноват в этих преступлениях. И я никогда не поверю, что три человека — Сталин, Берия, Рюмин — могут сделать страшной всю жизнь страны. Но никто еще не ответил на вопрос: кто же виноват?

Кисенишский. Когда вы посылали ваши рукописи за границу последний раз и почему вы перестали это делать?

Даниэль. В 1963 году.

Кисенишский. Расскажите основные вехи вашей биографии.

Даниэль. Родился в 1925 году. Из школы пошел на фронт. Во время войны воевал на 2-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. После тяжелого ранения был демобилизован и получал пенсию как инвалид войны. В 1946 году поступил в Харьковский университет, затем перевелся в Московский областной педагогический институт, который и закончил. После этого два года преподавал в школе в Людинове. Потом еще четыре года преподавал в Москве.

Соколов (*заседатель*). Очевидно, вы должны были предугадать общественный резонанс.

Даниэль. Если бы я предугадал такой резонанс, то не послал бы свои рукописи за границу.

Судья. Но ведь вы должны были предугадать политический резонанс.

Даниэль. Я не думал о политической оценке своих произведений. Я думал только об оценке художественных достоинств и недостатков.

Судья. Тогда ради чего привлекались все эти политические подробности? Чудовищный Указ, расстрел священника из-за Тихона, институт научной профанации?

Даниэль. В «Говорит Москва» все подробности связаны с фантастической сюжетной завязкой.

Судья. У вас там все сплошь моральные уроды — ведь это с политическим смыслом сделано, это же не с завязкой связано. Почему, зачем все это привлекалось? Разве не ради того, чтоб вызвать определенную реакцию?

Даниэль. В мою задачу не входило изображать хороших людей. В изображении сгущены краски, но я не ставил задачи изображать хороших людей. Я изображал поведение плохих людей в выдуманной ситуации.

Судья. В ситуации Указа Верховного Совета!

Даниэль. Я уже говорил, что не считал невозможными любые крайности, если бы возобновился культ личности.

Судья. В ходе следствия вы по-разному объясняли ваши произведения...

Даниэль. Значения эти детали не имели. Существо от этого не менялось.

Соколов. Замойская поняла, зачем вы послали ей с Кариф рукописи?

Даниэль. Естественно, поняла — ведь уже был прецедент.

Соколов. Зачем вы скрывали от Синявского пакет?

Даниэль. Я считал, что Синявский отнесется к этому плохо, так как он был против вовлечения в это Кариф.

Судья. Но это не логично... Сам послал, а вам будет мешать?

Даниэль. Он не хотел вовлекать в это дело Анн Кариф. Я так думаю.

Судья. Вот, обратите внимание, какое слово вы употребили. «Вовлечь» — это ведь в плохое дело. Значит, вы чувствовали, что плохо?

Даниэль. Ну, почему же! Ведь говорят: вовлечь... в коллектив.

*Смех в зале.*

Прокурор. Вы говорите, что о политике не думали. А вот эта, например, фраза из повести «Говорит Москва»: «...это не очень красиво печататься в антисоветском издательстве». Как это понять?

Даниэль. Понять буквально — это не очень красиво. Я еще раз повторяю, этическую сторону я уже оценил.

Судья. Есть ли у вас пояснения, которые вы хотели бы дать суду?

Даниэль. Да. Обвинение все время ставит знак равенства между автором и героем. Это тем более нельзя делать, если герои, мягко выражаясь, не совсем в порядке. Например, в «Искуплении» герой сошел с ума и это он кричит: «Тюрьмы внутри нас!»

Судья (*перебивает*). Он у вас еще через страницу сойдет с ума...

Даниэль. Нет, через страницу он уже будет в психиатрической лечебнице. Далее цитаты даны без ссылки на состояние героев. Один сошел с ума, другой — алкоголик.

Судья (*перебивает*). У вас там вся интеллигенция пьет.

Даниэль. Я прошу, во-первых, не вырывать цитаты из контекста, а во-вторых, учитывать состояние героев.

<...>

---

# Слово подсудимого

Я знал, что мне будет предоставлено последнее слово, и я думал над тем, отказаться ли мне совсем от него (я имею на это право) или ограничиться несколькими обычными формулировками. Но потом я понял, что это не только мое последнее слово на этом судебном процессе, а может быть, вообще мое последнее слово в жизни, которое я могу сказать людям. А здесь люди — и в зале сидят люди, и за судебным столом тоже люди. И поэтому я решил говорить.

В последнем слове моего товарища Синявского прозвучало безнадежное сознание невозможности пробиться сквозь глухую стену непонимания и нежелания слушать. Я настроен не так пессимистически. Я надеюсь вспомнить еще раз доводы обвинения и доводы защиты и сопоставить их.

Я спрашивал себя все время, пока идет суд: зачем нам задают вопросы? Ответ очевидный и простой: чтобы услышать ответ, задать следующий вопрос; чтобы вести дело и в конце концов довести его до конца, добраться до истины.

Этого не произошло.

Я не буду голословен, я еще раз вспомню, как все это было.

Я буду говорить о своих произведениях — надеюсь, меня простит мой друг Синявский, он говорил и о себе, и обо мне — просто я свои вещи лучше помню.

Вот меня спрашивали: почему я написал повесть «Говорит Москва»? Я отвечал: потому что я чувствовал реальную угрозу возрождения культа личности. Мне возражают: при чем здесь культ личности, если повесть написана в 1960—1961 годах. Я говорю: это именно те годы, когда ряд событий заставил думать, что культ личности возобновляется. Меня не опровергают, не говорят, мол, вы врете, этого не было,— нет, мои слова просто пропускают мимо ушей, как если бы этих слов

---

Мы отнюдь не ставили перед собой задачу создать политический портрет писателя. Однако последнее слово подсудимого Юлия Даниэля попало в книгу не случайно.

Суд предоставил слово Ю. Даниэлю внезапно, не оставив времени для подготовки. И все же это выступление стало ярким образцом публицистики. Оно вполне могло быть не только произнесено, но и написано.

не было. Мне говорят: вы оклеветали страну, народ, правительство своей чудовищной выдумкой о Дне открытых убийств. Я отвечаю: так могло быть, если вспомнить преступления во время культа личности, они гораздо страшнее того, что написано у меня и у Синявского. Все, больше меня не слушают, не отвечают мне, игнорируют мои слова. Вот такое игнорирование всего, что мы говорим, такая глухота ко всем нашим объяснениям — характерны для этого процесса.

По поводу другого моего произведения — то же самое: почему вы написали «Искупление»? Я объясняю: потому что считаю, что все члены общества ответственны за то, что происходит, каждый в отдельности и все вместе. Может быть, я заблуждаюсь, может быть, это ложная идея. Но мне говорят: «Это клевета на советский народ, на советскую интеллигенцию». Меня не опровергают, а просто не замечают моих слов. «Клевета» — это очень удобный ответ на любое слово обвиняемых, подсудимых.

Общественный обвинитель, писатель Васильев, сказал, что обвиняет нас от имени живых и от имени погибших на войне, чьи имена золотом по мрамору написаны в Доме литераторов. Я знаю эти мраморные доски, знаю эти имена павших; я знал некоторых из них, был с ними знаком, я свято чту их память. Но почему обвинитель Васильев, цитируя слова из статьи Синявского — «...чтобы не пролилась ни одна капля крови, мы убивали, убивали, убивали...» — почему, цитируя эти слова, писатель Васильев не вспомнил другие имена — или они ему неизвестны? Имена Бабеля, Мандельштама, Бруно Ясенского, Ивана Катаева, Кольцова, Третьякова, Квитко, Маркиша и многих других? Может, писатель Васильев никогда не читал их произведений и не слышал их фамилий? Но тогда, может быть, литературовед Кедрин знает имена Левидова и Нусинова? Наконец, если обнаружится такое потрясающее незнание литературы, то, может быть, Кедрин и Васильев хоть краем уха слышали о Мейерхольде? Или, если они далеки вообще от искусства, может быть, они знают имена Постышева, Тухачевского, Блюхера, Коснора, Гамарника, Якира?.. Эти люди, очевидно, умерли от простуды в своих постелях — так надо понимать утверждение, что «не убивали»? Так как же все-таки, — убивали или не убивали? Было это или не было? Делать вид, что этого не было, что этих людей не убивали, — это оскорбление, простите за резкость, плевков в память погибших.

Судья. Подсудимый Даниэль, я останавливаю вас. Ваше оскорбление не имеет отношения к делу.

Даниэль. Я прошу прощения у суда за резкость. Я очень волнуюсь, мне трудно выбирать выражения, но я буду сдерживать себя..

Нам говорят: оцените свои произведения сами и признайте, что они порочны, что они клеветнические. Но мы не можем этого сказать, мы писали то, что соответствовало нашим представлениям о том, что происходило. Нам взамен не предлагают никаких других представлений, не



говорят, были такие преступления или не были, не говорят, что нет, люди не ответственны друг за друга и за свое общество,— просто молчат, не говорят ничего. Все наши объяснения, как и сами произведения, написанные нами, повисают в воздухе, не принимаются в расчет.

Общественный обвинитель Кедрина, выступая здесь, почти целиком, с некоторыми отступлениями и добавлениями, прочла свою статью «Наследники Смердякова», опубликованную в «Литературной газете» еще до начала процесса. Я позволю себе остановиться на этой статье, потому что она фигурирует на процессе как обвинительная речь, и еще по одной причине, о которой я скажу позднее. Вот Кедрина, начиная свой «литературный анализ» повести «Говорит Москва», пишет о герое этой повести: «А убивать хочется. Кого же?» В том-то и дело, что моему герою не хочется убивать. Это ясно видно из повести. И, между прочим, это не только мое собственное мнение, со мною согласен в этом гражданин председательствующий; во время допроса свидетеля Гарбузенко он спросил: «Как вы, коммунист, относитесь к тому, что герою повести приказывают убивать, а он не хочет?» Я благодарен председательствующему за это точное определение позиции героя. Нет, я не считаю, что мнение председательствующего должно быть обязательным для литературоведа Кедриной, у нее может быть собственное мнение о произведении, но как оно обосновывается? Вот что пишет Кедрина: «Положительный герой грезит о студебеккерах — одном, двух, восьми, сорока, которые пойдут по трупам». Я возвращаюсь к этому отрывку, он цитировался в статье и здесь, на суде. А между прочим, написано не так, как здесь приводится; ни разу не цитировался этот отрывок полностью: «Ну, а эти, заседающие и восседающие... как с ними быть? А 1937-й год, когда страна билась в припадке репрессий? А послевоенное безумие? Неужто простить?» (Я цитирую по памяти, но точно.) Эти две фразы тщательно опускаются. А почему? Потому что там мотивы ненависти, а об этом уже надо спорить, надо объяснить как-то, гораздо проще их не заметить. Дальше то, что здесь приводилось: «Нет. Ты еще помнишь, как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо, швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь — бросок вперед. На бегу — от живота веером. Очередь. Очередь...» Дальше в представлении героя все смешивается: «...русские, немцы, румыны, евреи, венгры, грузины, бушлаты, плакаты, сабаты, лопаты...» Я привожу этот отрывок, где действительно кровавая каша и все прочее весьма неаппетитно: «А почему у него такое худое лицо? Почему на нем гимнастерка и шлем со звездой?.. По трупам прошел студебеккер, два студебеккера, сорок студебеккеров, и ты все так же будешь лежать распластанный... Все это уже было!»

Это называется грезить? Мечтать о студебеккерах, которые пройдут по трупам?! Ужас героя перед этой картиной, отвращение — выдавать

за мечты! «Обыкновенный фашизм» — прямо так и пишет. Но то, что это фашизм,— это ведь надо подкрепить, и вот Кедрина пишет: «Эту программу «освобождения» от коммунизма и советского строя «герой» повести пытается обосновать, с одной стороны, заверениями, будто идея «открытых убийств» берет начало «в самой сути учения о социализме», с другой, что вражда — в природе человеческого общества вообще». Кстати, в повести нет ни единого слова о советском строе, об освобождении от советского строя, герой повести как к последнему прибежищу обращается к имени Ленина («Не этого он хотел — тот, кто первый лег в мраморные стены»). Так все-таки, кто пытается обосновать программу «освобождения» — герой повести или не герой? Я, когда прочел об этом у Кедринной, подумал, грешным делом, что это опечатка, типографская ошибка — вместо «отрицательный герой» или «другой герой» напечатали просто «герой», и получилось, как будто речь идет все время об одном и том же человеке, о моем положительном герое. Но нет! Эти же слова прозвучали здесь, в зале, снова. А как же в самом деле? Герой не говорит, «что идея открытых убийств лежит в самой сути учения о социализме». Так вот: к герою повести приходит его приятель Володя Маргулис, неумный и ограниченный человек. «Он пришел ко мне и спросил, что я обо всем этом думаю» («я» — это герой, повесть от первого лица). И Володя Маргулис «стал доказывать, что все это лежит в самой сути учения о социализме». Так как же, герой это говорит или другой персонаж повести? А герой говорит вот что: «За настоящую Советскую власть надо заступиться»; герой говорит, что наши отцы делали революцию, и мы не смеем думать о ней плохо. Это что, герой повести «обосновывает программу освобождения от коммунизма и советского строя»? Неправда! А кто говорит, что «все друг друга в ложке воды утопить готовы»? Что «скоро звери единственным связующим звеном между людьми будут»? У Кедринной получается, что это тоже «положительный герой». Неправда! Это говорит полубезумный старичок-мизантроп, и герой с ним спорит. Как же обстоит дело с идейным обоснованием псевдопризыва к расправе, к террору и освобождению от коммунизма и советского строя? А вот так, как говорю я, а не так, как утверждает Кедрина. Повесть была прочитана не так, как написана, а нарочито, предвзято, так, как ее невозможно прочесть.

В вину Синявскому и мне ставится все — в частности, то, что у нас нет положительного героя. Конечно, с положительным героем легче, есть кого противопоставлять отрицательному. А наши ссылки на других писателей, у которых нет положительных героев, воспринимаются, во-первых, как попытки сравнить себя с этими большими писателями. А во-вторых, очень простой ответ: когда речь идет о Шедрине, то в его произведениях присутствует положительный герой, это народ. Очевидно, незримо присутствует, так как тот народ, который изобра-

жен в «Истории одного города», вызывает жалость, а не восхищение. И в «Господах Головлевых» народ — положительный герой? А ссылка на сказку о том, как мужик двух генералов прокормил, — просто стыдно это слушать. Кедрина, видно, считает, что этот мужик, который из своих волос силки сделал, чтобы для генералов дичи добыть, мужик, который добровольно в рабство идет, — это положительный образ русского народа? Михаил Евграфович Шедрин с этим не согласился бы!

Я не стал бы ссылаться на статью Кедриной, если бы вся система аргументации обвинения не лежала в той же плоскости. Ну как доказать антисоветскую сущность Синявского и Даниэля? Тут применялось несколько приемов. Самый простой, лобовой прием — это приписать мысли героя автору; тут можно далеко зайти. Напрасно Синявский считает, что только он объявлен антисемитом, — я, Даниэль Юлий Маркович, еврей, — тоже антисемит. Все при помощи простого приема: у меня тот же старичок-официант говорит что-то о евреях, и вот в деле имеется такой отзыв: «Николай Аржак — законченный, убежденный антисемит». Может, это какой-нибудь неискушенный рецензент пишет? Нет, это пишет в своем отзыве академик Юдин...

Есть еще и такой прием: изоляция отрывка из текста. Надо выдернуть несколько фраз, купюרכики сделать — и доказывать все что угодно. Самый убедительный пример этого приема — как «Говорит Москва» сделали призывом к террору. Тут все время ссылаются на эмигранта Филиппова: вот кто правильно оценил ваши произведения (вот кто, оказывается, высший критерий истины для государственного обвинителя). Но даже Филиппов не сумел воспользоваться такой возможностью. Кажалось бы, уж чего лучше, — если там есть призыв к террору, то уж Филиппов сказал бы: вот как подпольные советские писатели призывают к убийствам, к расправе. Но даже Филиппов не смог этого сказать.

Еще один прием: подмена обвинения героя вымышленным обвинением Советской власти — то есть автор говорит какие-то слова, разоблачая героя, а обвинение считает, что это про Советскую власть говорится. Вот пример. Обвинительное заключение построено в большей части на отзыве Главлита. Вот в отзыве Главлита говорится буквально следующее: «Автор считает возможным в нашей стране проведение Дня педераста». А на самом деле речь идет о приспособленце, цинике, художнике Чупрове, что он хоть про День педераста станет плакаты писать, лишь бы заработать, это про него главный герой говорит. Кого он тут осуждает — Советскую власть или, может, другого героя?

В обвинительном заключении, в отзыве Главлита, в речах обвинителей прозвучали одни и те же цитаты из повести «Искупление». А что это за цитаты? «Тюрьмы внутри нас» — это выкрик героя повести Вольского. Да, это сильное обвинение по адресу всех людей. И я вовсе не старался, как тут говорил Васильев, изобразить дело так,

будто я занимаюсь изящной словесностью; я не пытаюсь уйти от политического содержания моих произведений. В этих словах Вольского есть политическое содержание — но что следует за этими выкриками? Кто это кричит? Это кричит безумный человек, он сошел с ума. Он вскоре оказывается в психиатрической больнице.

Еще один, тоже очень простой, но очень сильный прием доказательства антисоветской сущности: выдумать идею за автора и сказать, что в произведении есть антисоветские выпады, когда их там нет. Вот рассказ «Руки». Мой защитник Кисенишский аргументированно доказал, что в этом рассказе нет антисоветской идеи, как его ни толкуй. Возражая ему, Кедрина сказала: «Вы посмотрите, с какой вообще несвойственной ему выразительностью и яркостью Даниэль изобразил сцену расстрела». Прошу, очень прошу, вдумайтесь, что вы сказали: яркость и выразительность описания служат для доказательства антисоветской сущности. Это был ответ на выступление защитника по поводу рассказа «Руки» — и ни слова больше. Если говорить об этом рассказе, то я прошу вас всех: вот вы сейчас придете домой, подойдите к своим книжным полкам, возьмите книгу, раскройте ее и прочтите про то, как красный командир был направлен в команду, которая проводила расстрелы. Он почернел и высох на этой работе, он возвращается домой, шатаясь, как пьяный. И расстреливал он не священников, а хлеборобов, есть там даже такая деталь, я ее хорошо помню: он вспоминает руку расстрелянного, заскорузлую, как конское копыто. Ему очень плохо, очень трудно и очень страшно, он даже оказывается несостоятельным как мужчина, когда остается с любимой женщиной. Ну так что же, подходит этот отрывок под формулировки, которые звучат в обвинительном заключении — что классовая политика репрессий против советского народа и нравственно и физически калечит людей?..

Судья. Что за чушь! Какая классовая политика репрессий?

Даниэль. Я цитирую обвинительное заключение, вот тут написано (*читает*): «...якобы классовая политика репрессий против советского народа...» Так написано в обвинительном заключении. Я сейчас, как вы, вероятно, догадались, пересказал одну из глав «Тихого Дона». Действующие лица — красный командир Бунчук и Анна.

Как нас еще обвиняют? Критика определенного периода выдается за критику всей эпохи, критика пяти лет — за критику пятидесяти лет, если даже речь идет о двух-трех годах, то говорят, что это про все время.

Обвинители стараются не замечать, что вся статья Синявского обращена в прошлое, что там даже все глаголы стоят в прошедшем времени: «мы убивали» — не «убиваем», а «убивали». И в моих произведениях: кроме рассказа «Руки», — о 50-х годах, о времени, когда была реальная угроза реставрации культа личности. Я говорил об этом все время, это видно из моих произведений — не слышат.

И, наконец, еще один прием — подмена адреса критики: несогласие с отдельными явлениями выдается за несогласие со всем строем, с системой.

Вот, вкратце, методы и приемы «доказательства» нашей вины. Может быть, они не были бы такими для нас страшными, если бы нас слушали. Но правильно сказал Синявский — откуда мы взялись, вурдалаки, кровопийцы, не с неба же упали? И тут обвинение переходит к рассказу о том, какие мы подонки. Пускаются в ход страшные приемы: обвинитель Васильев говорит, что за тридцать сребреников, пеленки, нейлоновые рубашки мы продались, что я бросил честный учительский труд и ходил с протянутой рукой по редакциям, вымаливая переводы. Я мог бы попросить жену, и она принесла бы ворох писем от поэтов, которые просят меня переводить их стихи. Не на легкие переводческие хлеба я ушел от обеспеченного преподавательского заработка, а потому, что с детства мечтал о поэтической работе. Первый перевод я сделал, когда мне было двенадцать лет. Какие это легкие хлеба, любой переводчик знает. Я оставил обеспеченную жизнь, обменял ее на необеспеченную. Я относился к этому как к делу своей жизни, никогда не халтурил. Среди моих переводов были, может быть, и плохие и посредственные, но это от неумения, а не от небрежности.

Странно, что в этой области, где юрист должен быть безупречным, государственный обвинитель не признает фактов. Сначала я думал, что он оговорился, когда сказал, что мы создавали характер своих произведений: в 1962 году была радиопередача<sup>1</sup>, а после этого послали за границу «Говорит Москва», «Любимов». Позвольте, а что передавали? Ведь как раз «Говорит Москва» и передавали по радио — что же, я во второй раз послал эту повесть, что ли? Я подумал, что это оговорка. Но дальше снова то же: ссылаясь на статью Рюрикова, государственный обвинитель говорит — они были предупреждены, они знали оценку и послали «Любимов» и «Человек из МИНАПа». Когда опубликована статья Рюрикова? В 1962 году. Когда отправлены рукописи? В 1961 году. Оговорка? Нет. Это государственный обвинитель добавляет штришок к моей личности, злобной, антисоветской.

Любое наше высказывание, самое невинное, такое, какое смог бы произнести любой из сидящих здесь, перетолковывается: «В «Говорит Москва» речь идет о передовице в «Известиях». — «А-а, вы издеваетесь над газетой «Известия». — «Не над газетой, а над газетным штампом, над суконным языком». Мне злорадно говорят: «Наконец-то вы заговорили своим голосом!» Неужели сказать о газетных штампах, о суконном газетном языке — антисоветчина? Мне это непонятно. Хотя нет, в общем-то все понятно...

---

<sup>1</sup> В передаче одной из западных радиостанций прозвучала повесть «Говорит Москва», что было для Даниэля полной неожиданностью. (Ред.)

Ничто здесь не принимается во внимание — ни отзывы литературоведов, ни показания свидетелей. Вот, говорят, Синявский антисемит; но ни у кого не возник вопрос, откуда тогда у него такие друзья: Даниэль — ну, хоть Даниэль сам антисемит, но моя жена Брухман, свидетель Голомшток или эта мило картавившая здесь вчера свидетельница, которая говорила: «Анд'ей хо'оший человек...»

Проще всего — не слышать.

Все, что я сказал, не значит, будто я считаю себя и Синявского святыми и безгрешными ангелами и что нас надо сразу после суда освободить из-под стражи и отправить домой на такси за счет суда. Мы виноваты — не в том, что мы написали, а в том, что отправили за границу свои произведения. В наших книгах много политических бестактностей, перехлестов, оскорблений. Но 12 лет жизни Синявского и 8 лет жизни Даниэля — не слишком ли это дорогая цена за легкомыслие, за непредусмотрительность, за просчет?

Как мы оба говорили на предварительном следствии и здесь, мы глубоко сожалеем, что наши произведения использовали во вред реакционные силы, что тем самым мы причинили зло, нанесли ущерб нашей стране. Мы этого не хотели. У нас не было злого умысла, и я прошу суд это учесть.

Я хочу попросить прощения у всех близких и друзей, которым мы причинили горе.

Я хочу еще сказать, что никакие уголовные статьи, никакие обвинения не помешают нам — Синявскому и мне — чувствовать себя людьми, любящими свою страну и свой народ.

Это все.

Я готов выслушать приговор.

## Часть третья



# ДА НЕ ПОСМЕЕШЬ ДУМАТЬ О СВОЕМ

*Юлий Даниэль считал себя прежде всего переводчиком. В лагере он был дружен с Кнутом Скуениексом, крупным латышским поэтом. Жизнь «подарила» им возможность совместной работы, — разумеется, многие стихи К. Скуениекса.*

*Поэма «Не оглядывайся» была написана К. Скуениексом в лагере. Переведена Ю. Даниэлем там же, в 1967 году.*

---

# Не оглядывайся

## 1. ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЕЗДКИ

Какие смутные тени!  
Какие серые птицы!  
Студень вместо деревьев,  
топор, неспособный рубить!

Этого не перечислишь,  
не выкричишь, жизнью не скажешь,  
этому надо не быть.

Это должно искрошиться —  
в пыль, до последнего зуба.

Какой монотонный холод!

Этому надобно выгнать —  
вплоть до последнего ногтя.

Какая бесчеловечная и беззвериная тишь!

Ненужные пальцы стали призрачны и прозрачны;  
праздный язык иссыхает,

коробится

и крошится;

глаза, слишком много выдавшие,

впитываются песком

без шороха.

Я закончен.

И только на этом песчаном откосе,  
куда не добраться волне Ахерона,  
пока перевозчик бренчал медяками,  
успел еще вспомнить и написать я:

Э В Р И Д И К А

— и это осталось во мне.



## 2. АИД ГОВОРИТ СО МНОЙ

- Ты чем недоволен, Орфей?..  
Тишина.
- А где же кифара твоя?..  
Тишина.
- Сыграй что-нибудь на костях мертвецов  
для бодрости духа, Орфей...  
Тишина.
- Банальный, лояльный этюд...  
Тишина.
- Орфей!..  
Тишина.
- А как поживает... ну, как ее?.. Эвр...  
Движение!
- Эй. Уведите его.

## 3. ИСПОВЕДЬ ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ

Тут время тянется, как смола, длиною, липкою нитью;  
тут нет начала ничему, кроме конца; да и то  
этот конец не придет вослед лени или событию,  
глухонемое бродит, бредет ничто, ничто. .  
Исчезло дыханье — единственный мост, последняя с миром  
связь,  
и вот он весь, целиком, во мне — и съежился, затаясь.  
Поэтому, значит, бранился Харон, буровя воду веслом,  
так, как бранятся, хмельного хватив, лодочники одни!  
Поэтому, значит, вдвое содрал за слишком тяжелый рейс!  
Ну что ж, Мнемозина, память моя,  
с чего мы теперь начнем?  
— С легкомыслия...  
Я, на кифаре играя,  
выманил зябкий миндаль  
в зимнюю стужу цвести —  
и он замерз.  
Грешен.  
Птиц сухопутных напел я  
на плечи волнам морским —  
и они утонули.  
Грешен.  
Я у беременных женщин  
из материнского чрева  
вызвал на свет сыновей —



— Искать мужа, матушка.  
 — А где же твой муж?  
 — Не знаю.  
 — Сбежал, что ли?  
 — Нет, матушка! Не верю!  
 Старушка улыбнулась.  
 — Это хорошо, что не веришь. А то люди могут многое наболтать.  
 Эвридика развязала узелок, чтобы покормить старуху.  
 — Спасибо, дочка, не надо. Какая уж старому еда!  
 — Бери, бери. Возьми на дорогу. А мне пора дальше. Солнце уже высоко.  
 — Погоди,— старуха взяла Эвридику за руку и снова усадила на обочину.— В спешке нет мудрости. Слушай хорошенько, что я скажу. Иди до Тенарского ущелья...  
 — Ты знаешь, где Орфей?!  
 — Не перебивай меня. Говорю тебе еще раз: в спешке нет мудрости. Дойдешь до реки Ахерон. Спросишь перевозчика Харона. Выйдешь на том берегу, иди дальше и не страшись.  
 — Далеко?  
 — Пока сердце ведет. Не верь никому, верь сердцу. Ступай.  
 Эвридика хотела еще что-то спросить, но старуха вдруг исчезла. Пора было снова отправляться в путь.

## 7. НА ТОМ БЕРЕГУ

На песчаном откосе — восемь букв:  
 Э В Р И Д И К А

## 8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДПИСАНИЯМИ

Пес Цербер — с тремя головами — сидит,  
 с одной головою — брат Зевса Аид,  
 и целая свора —  
 совсем без голов,  
 с козлиною вонью,  
 с хвостами ослов,  
 разверзлись, пульсируя,  
 глотки вампировые —  
 спрашивают:  
 — Так ты утверждаешь, что он твой супруг, Эвридика?  
 — Ты требуешь встречи с Орфеем?  
 — Затем и пришла?  
 — Подумай!

— Еще ты по эту сторону Рока,  
и жизнь твоя может остаться чиста и светла!

— Ты требуешь все же?

— Подумай.

— Ты требуешь? Ладно.

— Тогда ознакомься с инструкцией № 1.

- а) надлежит тебе скинуть одежды;
- б) ты должна под гребенку остричься;
- в) ты с костей снять обязана мясо;
- г) ты повинна оставить все это;
- д) и тогда ты вольна торопиться.

Для возвращения — инструкции нету.

Сама собирай себя по крупице.

— Ты требуешь все же?

Тогда ты получишь Орфея.

Но прежде прочти предписание за № 2:

- а) ты от всякого признака жизни должна отрешиться  
и — это самое главное! —
- б) Н-Е О-Г-Л-Я-Д-Ы-В-А-Т-Ь-С-Я!

Мужа тебе не увидеть,  
пока за столетьем столетье  
засохшей лепешкой крошится,  
плоть свою, кровь свою бросив,  
в сером хитоне тоски будешь брести без конца  
сотни и тысячи лет,  
сотни и тысячи зим  
не оглядываться,  
не оглядываться...

— Нам жалко тебя, Эвридика!

— Ты требуешь все же?

— Иди!..

...К ногам ласкаясь, лижут языками —  
тюльпанами, ромашкой, васильками  
поля полей,  
луга лугов,  
пути путей...

## 9. В ПУТИ

Я не вижу тебя, я не слышу тебя — ЭВРИДИКА!  
Но ты здесь, впереди, ощущаю тебя — ЭВРИДИКА!  
Ты везде и повсюду идешь впереди — ЭВРИДИКА!  
Ты во веки веков впереди, впереди — ЭВРИДИКА!

Мое зреньё, и речь, и кифара моя — ЭВРИДИКА!

Моя Греция — ЭВРИДИКА!

Моя Фракия — ЭВРИДИКА!

Ты мой путь, ты мой берег — пути моего увенчанье,  
бесконечных дорог, нескончаемых троп окончанье!

Будь стрелою — веди!

Будь струною в груди,

Не слабей, не сдавайся, назад не гляди —

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ, ЭВРИДИКА!

Был истоком твой взгляд,

был началом, толчком изначальным,

да не станет концом —

подземельным, промозглым молчаньем;

через Леты и Стиксы — вперед!

Не гляди — и не будет погони,

береги мою душу,

свечою носи на ладони —

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ, ЭВРИДИКА!

Чтобы взгляд твой не стал подземельным, промозглым

молчаньем —

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!

Шепот слушая мой,

сердце в сердце неся,—

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ,

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ,

ЭВРИДИКА!..

# СТИХИ ИЗ НЕВОЛИ

\* \* \*

Вспоминайте меня, я вам всем по строке подарю.  
Не тревожьте себя, я долги заплачу к январю.  
Я не буду хитрить и скулить, о пощаде моля,  
Это зрелость пришла и пора оплатить векселя.

Непутевый, хмельной, захлебнувшийся плотью земной,  
Я трепался и врал, чтобы вы оставались со мной.  
Как я мало дарил! И как много я принял даров  
Под неверный, под зыбкий, под мой рассыпавшийся кров.

Я словами умел и убить и влюбить наповал,  
И, теряя прицел, я себя самого убивал.  
Но благая судьба сочинила счастливый конец:  
Я достоин теперь ваших мыслей и ваших сердец.

И меня к вам влечет, как бумагу влечет к янтарю.  
Вспоминайте меня — я вам всем по строке подарю.  
По неловкой, по горькой, тоскою пропахшей строке,  
Чтоб любили меня, когда буду от вас вдалеке.

---

«Стихи из неволи» писались в Лубянской и Лефортовской следственных тюрьмах, в мордовских лагерях и во Владимирской тюрьме, где Ю. Даниэль отбывал последний год заключения. Следует рассказать о том, как Юлий Маркович угодил во Владимир. В июне 1969 года в западной прессе появилась статья Ю. Даниэля под названием «Письмо другу» (см. с. 250). Реакция была моментальной. В лагере возбудили дело, которое не дало никаких результатов, так как на вопрос, каким образом письмо попало за границу, автор невозмутимо отвечал:

— Оно у меня на тумбочке лежало, а потом исчезло. Наверное, надзиратели украли и продали иностранцам.

Трудно сказать, голодовка ли, о которой идет речь в «Письме другу», или обнарудование на весь мир лагерных порядков в СССР усмирили администрацию, но цель была достигнута, хотя Ю. Даниэлю та же лагерная администрация в спешном порядке оформила «за систематические нарушения режима» перевод во Владимирскую тюрьму, где условия содержания заключенных покуче лагерных.

## СТИХИ С ЭПИГРАФОМ

- А зачем вам карандаш?
- Писать стихи.
- Какие стихи?
- Не беспокойтесь, лирику.
- Про любовь?
- Может, и про любовь...

Да, про любовь,— наперекор «глазку»,  
Что день и ночь таращится из двери,  
Да, про любовь, про ревность, про тоску,  
Про поиски, свершенья и потери.

Да, про любовь — среди казенных стен  
Зеленых, с отраженным желтым светом,  
Да, про нее, до исступленья, с тем,  
Чтоб никогда не забывать об этом:

О дрожи душ, благоговенье тел,  
О причащенье счастьем и утрате;  
Я про любовь всю жизнь писать хотел  
И лишь теперь коснулся благодати.

Да, про нее! Всему наперекор,  
Писать про суть, сдирая позолоту;  
Им кажется, что взяли на прикол,  
А я к тебе — сквозь стены, напрямиком,  
Мне до тебя одна секунда лёту.

Мне всё твердит: «Молчи, забудь, учись  
Смирению, любовник обнищальный!»  
А я целую клавиши ключиц  
И слушаю аккорды обещаний.

Я твой, я твой, до сердцевины, весь,  
И я готов года и версты мерить.  
Я жду тебя. Ну где же, как не здесь,  
Тебя любить и, что любим, поверить?

## ПЕСЕНКА

За неделю неделя  
Тает в дыме сигарет,  
В этом странном заведении  
Всё как будто сон и бред.

Птицы бродят по карнизам  
И в замках поют ключи,  
Нереальный мир пронизан  
Грубым запахом мочи.

Тут не гасят свет ночами,  
Тут неярк свет дневной,  
Тут молчанье, как начальник,  
Утвердилось надо мной.

Задыхайся от безделья,  
Колотись об стенку лбом!  
За неделю неделя  
Тает в дыме голубом.

Тут без усталости считают,  
Много ли осталось дней,  
Тут, безумствуя, мечтают  
Все о ней, о ней, о ней.

Тут стучат шаги конвоя —  
Или это сердца стук?  
Тут не знаешь, как на воле —  
Кто твой враг и кто твой друг.

Это злое сновиденье,  
Пустота меж «да» и «нет»...  
За неделю неделя  
Тает в дыме сигарет,  
Тает  
В дыме...

## СОРОКАЛЕТИЕ

Как славно знать, что был ты несерьезен,  
Что ты плевал на важные дела



И что беспечность, как смола из сосен,  
Свободно и естественно текла.

Пусть рот кривят солидные мужчины  
С высот сорокалетия своего.  
Как славно знать, что не было причины  
И что тебя кружило озорство.

О тени предков, преданных идеям,  
Сюжетцы для возвышенных стихов!  
Куда как лучше стать себе злодеем  
За просто так, во имя пустяков.

Брести без брода и ваять из снега,  
Уйти в бега, влюбиться на пари...  
Мальчишество мое, мой alter ego,  
Со мной всегда на равных говори.

Никто не властен над своей планидой,  
Но можно ей подножку дать, шалая...  
Эй, наверху! За простоту не выдай!  
Не расступайся, мать сыра земля.

## **ДОМ**

В окно я глянул и увидел дом.  
Обычный дом — немыслимое чудо:  
Он был семи- или восьмизэтажный,  
И в первом этаже был магазин,  
А выше были окна без решеток,  
И каждое окно освещено  
Своим особым светом, непохожим  
На свет соседних. Это оттого,  
Что там на окнах были занавески  
И были шторы — словом, было то,  
Чем люди отгораживаться вправе  
От посторонних взглядов. Я, однако,  
Сумел глазами памяти увидеть,  
Узнать лицо потерянного рая:  
Там были стулья и цветы на окнах,  
Когда-то презиравшиеся мною  
Цветы в горшках, зеленые божки,  
С которых пыль стирают по субботам;

Там лампы в потолки не уходили,  
Не прятались за мутным плексигласом,  
А рдели в кринолинах абажуров,  
Собой венчали шаткие торшеры,  
Со стен свисали... Там на книжных полках  
Лежали неожиданные вещи:  
Шнурки от туфель, бильярдный шарик,  
Чулок с иголкой в штопке, позабытый  
Из-за гостей, нагрывавших врасплох;  
Еще рецепт — его уже с неделю  
Никто никак не может отыскать...  
Там были скатерти, на них ножи и вилки —  
Орава режущих и колющих предметов...  
Там, в этом доме, было много женщин —  
Не медсестер и не стенографисток,  
А просто женщин. В платьицах домашних  
Они, сколовши волосы небрежно  
И рукава по локоть засучив,  
Купали в новых ванночках младенцев,  
Со лба к затылку отгоняя воду,  
Чтоб мыльной пене в глазки не попасть;  
И отблеск розовых мелькающих локтей  
Ложился сполохом на сердце, обещая  
Округлое и теплое свершенье  
Потом, когда погаснет в доме свет...  
Да, я забыл сказать, что по фасаду  
На доме было множество балконов,  
Где стыли на ветру велосипеды  
И в сети гамаков шли косяками  
Проворные снежинки... Дом трещал —  
Его неудержимо распирало,  
Давило изнутри избытком жизни!  
В нем жило все — от шпильки головной,  
От кошки и собаки до нескладных  
Подростков с неуклюжими руками,  
Украдкой сочиняющих стихи.  
И алые частицы этой жизни  
Сквозь кладку стен, как запах, проходили,  
Летели сквозь зашторенные окна  
Ко мне, ко мне, к откинутой фрамуге  
Окна, перед которым я стоял,  
На стол взобравшись. Целых полминуты  
Я прикасался к человеческой жизни.  
Потом я спрыгнул на пол. Вот и все.

...Я знаю, что неловки эти строки,  
Что мой товарищ глянет неподкупно,  
Серьезно покачает головой  
И скажет мне: «А что как это проза,  
Да и плохая?» — «Да,— скажу я,— да!  
Плохая проза. Хуже не бывает...»

## ДРУЗЬЯМ

Была щедра не в меру Божья милость.  
Я был богат. Не проходило дня,  
Чтоб манною небесной не валилось  
Сочувствие людское на меня.

Я подставлял изнеженные горсти,  
Я усмехался: «Господу хвала!»,  
Когда входили караваном гости  
С бесценным грузом света и тепла.

Но только здесь сумел уразуметь я —  
От ваших рук, от ваших глаз вдали —  
Что в страшное, ненастное трехлетье  
Лишь вы меня от гибели спасли.

Нет, не единым хлебом люди живы!  
Вы помогли мне выиграть бои,  
Вы кровь и жизнь в мои вливали жилы,  
О, лекари, о, доноры мои!

Все кончено. Сейчас мне очень плохо.  
Кружится надо мною непокой.  
Кому вздохнуть: «Моя ты суматоха...»  
И лба коснуться теплою рукой?

Все кончено. Не скоро воля будет,  
Да и надежда теплится едва.  
Но в тишине опустошенных буден  
Вы превратились в звуки и слова.

Вы, светлые, в тюремные тетради  
Вошли, пройдя подспудные пути.  
Вас во плоти я должен был утратить,  
Чтоб в ритмах и созвучьях обрести.

Вы здесь, со мной, вседневно, ежечасно,  
Прощеньем, отпущением грехов:  
Ведь в мире все покорно и подвластно  
Божественной невнятице стихов...

## ПЕСНЯ

На беленьком камушке сидючи...

Что-то скучно мне без воли,  
Что-то дни идут впустую,  
Сочинить бы песню, что ли,  
Немудреную, простую.

Сочинить про то, что снится,—  
Прикоснуться б, как руками,—  
Про бегучую водицу  
Да про бел-горючий камень.

Как на камушке сидела,  
Воду в горсти наливала,  
На три стороны глядела,  
Напевала-колдовала.

Глянет влево — словно рядом  
Бубны бьют, поют колеса,  
И цыганка томным взглядом  
В сердце мне глядит раскосо.

Глянет вправо — жаркой сказкой  
Зной разыграет над дорогой,  
Над девчонкою кавказской,  
Над дикаркой длинноногой.

Глянет прямо — обернется  
Королевишной далекой,  
А кому под стать бороться  
С белорукой, синеокой?

Как на камушке сидела,  
По воде ладошкой била,  
На три стороны глядела,  
Про четвертую забыла.

Обернись ко мне собою,  
Обернись ко мне самою,

Обернись ко мне судьбою —  
Я тоску свою омою.

Маету и опасенья,  
Поцелуями уйму я,  
Нам обоим во спасенье  
С камушка тебя сниму я.

### **МОЛИТВА**

Я охвачен тихою паникой,  
Я вступаю с Богом в торги,  
Наперед обещаю быть паянкой  
И шепчу Ему: «Помоги!»

Обещаю грешить нечасто,  
Пить помалу и спать с одной —  
«Отжени от меня несчастье,  
Схорони за своей спиной,

Теплым ветром ударь об окна  
И вручи мне незримый щит!»

Я молю о защите,  
А Бог-то —  
Он ведь тоже не лыком шит.

Вспоминает он досконально  
Всю мою непутевую жизнь  
И в ответ громыкает: «Каналья!  
Не кощунствуй и не божись!»

Видно, знает вернее, чем следствие,  
Что меня не отмыть добела,  
Что навряд ли придут в соответствие  
Обещанья мои и дела...

### **ЕЩЕ ОДНА ПЕСЕНКА**

То ли быль, то ли небыль  
Из веселого сна?  
Я в сражениях не был  
И не пил я вина,

Не был пулею мечен,

И стихов не писал,  
Не глядел я на женщин,  
Не ласкал, не бросал;

Безрассудство не славил,  
Дни за днями губя,  
И на карту не ставил  
Ни других, ни себя;

Не плясал неуклюже,  
На ветру не дрожал,  
В подмосковные стужи  
По лыжне не бежал;

За друзей не ручался  
И влюбляться не смел,  
На волнах не качался,  
Песни петь не умел.

И в апрельскую сырость  
Не плутал по земле —  
Это всё мне приснилось  
В зарешеченной мгле...

## **НОВОГОДНИЙ МАРШ-ДЕКЛАРАЦИЯ**

Когда вверх тормашками катится  
И бьется в падучей судьба,  
Не надо молиться и каяться,  
Бояться суммы и суда.

Оглядывая пристальной прошлое,  
Без лести оценивай дни,  
Окурки иллюзий — подошвою!  
А светлomu — грудь распахни!

Не сдайся бессилью и горечи,  
Не дайся неверью и лжи —  
Не все лизоблюды и сволочи,  
Не все стукачи и ханжи.

Шагая дорогами чуждыми  
В какой-то неведомый край,  
Друзей имена, как жемчужины,  
Как четки перебирай.

Будь зорким, веселым и яростным  
И выстоишь, выстоишь ты  
Под грузом невзгод многоярусным,  
Под ношей твоей правоты.

\* \* \*

А может, лучшая победа... (Цветаева)

Я стал умен... (Пушкин)

А вдруг вот так приходит зрелость,  
Когда впотьмах спасенья ищем:  
«Мне автором прослыть хотелось...» —  
Твердит испуганный Радищев.

Когда на торную дорогу  
Впотьмах бредем, себя жалея:  
«Земля недвижна... грешен Богу...» —  
Петляет голос Галилея.

А вдруг вот так приходит смелость —  
Хитрить, не труся непочета:  
Ведь то, что как-то раз пропелось,  
Уже не спишется со счета.

А вдруг разумна Божья милость:  
Мы все в ничто пустое канем,  
Но то, что как-то воплотилось,  
Не зачеркнется покаяньем!

...Но, вспоминая в час вечерний  
Про всё про то, что днем сказали, —  
Как жить нам после отречений?  
Какими нам истечь слезами?

Что думать жесткими ночами  
О сбереженной нами жизни,  
Когда страницы за плечами  
В немой застыли укоризне?

## 1965 ГОД

А что мне с вашей томной негой,  
Когда от бешеной тоски:

— Дружок мой, за бутылкой сбегай,  
Обмоем новые носки.

А что мне ваши ахи, охи,  
Рулады светских Лорелей?  
— Дела, дружок мой, очень плохи,  
А ну-ка новую налей.

Я бесконечным ожиданьем,  
Как труп щетиною, оброс...  
— Давай еще одну раздавим,  
Обмоем пачку папирос.

Моей тоске еврейско-русской  
Сродни и водка, и кровать...  
Да хрен с ней, с этою закуской,  
Пора остатки допивать.

Пора допить остатки смеха,  
Допить измены, страсть и труд!  
— Хана, дружок мой. Я приехал.  
Пускай войдут и заберут.

\* \* \*

Дожди, дожди коснулись щек,  
Грустя, деревья порыжели,  
И был открыт никчемный счет  
Моих побед и поражений.

Струилась осень. День за днем  
Линяла летняя палитра,  
А я всю игру играл с огнем  
И тайно жаждал опалиться.

Не потому, что я, шальной,  
Роптал перед глухой стеною —  
Я преступил закон иной,  
Я виноват иной виною.

И не за то, что я кричал,  
Меня, сойдясь, осудят судьи —  
За то, что на свою печаль,  
Как пластырь, клал чужие судьбы,



За то, что я, сойдя с ума,  
Не пощадил чужого сердца.  
А суд, законы и тюрьма —  
Всего лишь кнут, всего лишь средство

Возмездия за тайный грех,  
За то, что, убивая — выжил...  
И вот зима. И страшен снег,  
Запятнанный каплейю рыжей.

## НА РИНГЕ

Я вышел, боксом не владея,  
Рискнув удачливой судьбой.  
Не звал ни Бога, ни людей я —  
И проиграл до боя бой.

Толпа — грохочущая прорва,  
Перчатки — парюю гранат...  
Удар! Я смят, отброшен, взорван  
И спину мне обжег канат.

Удар! Бесстрастно смотрят судьи,  
Как дышит голая душа,  
Как до моей до тайной сути  
Добрался мастер не спеша.

Он — бог. Его движенья четки,  
Как протоколы — без прикрас,  
И ставят черные перчатки  
Удары — точки после фраз.

Мне от беды не отвертеться,  
Меня везде достанет плеть,  
А все ж не будет полотенец  
У ног, постыдное, белеть!

Я жду: сейчас меня накажут  
За дерзость и за простоту.  
Ну что же — бей! Пускай нокаут  
Под схваткой подведет черту.

Я поражение любое  
Приму, зажав зубами крик,—  
Не для победы, а для боя  
Я шел на ринг.

## **И ЕЩЕ О ДРУЗЬЯХ**

Мы выстроились все в одну шеренгу,  
Готовые к походу и параду.  
— На правом фланге! Застегни ширинку!  
Не левом фланге! Оботри помаду...

Друг друга мы, любя, глазами ели,  
Глядели браво, преданно и гордо,  
И я подумал, что и в самом деле  
Мы все — непобедимая когорта.

Идет начальство, шествует вдоль строя...  
И все, казалось, было б тихо-мирно,  
Да вот беда: из строя вышли трое  
И доложили, став по стойке «смирно».

— Товарищ наш,— они сказали,— бяка,  
Он вольнодум, он — враг Верховной воли,  
Он кашу ест, как все мы, но, однако,  
Он говорит, что в каше мало соли.

И весь парад накрылся в одночасье.  
Сказали мне: «В семье не быть уроду!»  
Я получил по шее от начальства  
И послан был в штрафную роту.

## **РОМАНС О РОДИНЕ**

Страна моя, скажи мне хоть словечко!  
Перед тобой душа моя чиста.  
Неужто так — бесстыдно и навечно —  
Тебя со мной разделит клевета?

Свои мечты сбивая в кровь о камни,  
Я шел к тебе сквозь жар и холода,

Я шел тобой. Я шел, и на глаза мне  
Как слезы, наплывали города.

Я не таю ни помысла дурного,  
Ни сожалений о своей судьбе.  
Страна моя, ну вымолви хоть слово,  
Ведь знаешь ты, что я не лгал тебе.

Ведь не бросал влюбленность на весы я  
И страсть мою на доли не дробил —  
Я так любил тебя, моя Россия,  
Как, может быть, и женщин не любил.

Чтоб никогда не сетовал на долю,  
Чтоб не упал под тяжестью креста,  
Страна моя, коснись меня ладонью —  
Перед тобой душа моя чиста.

### **ПРО ЭТИ СТИХИ**

Мои стихи — как пасмурные дни,  
В них нету зноя,  
Совсем не мной написаны они.  
А может, мною?

Они грустят у запертых дверей,  
У синих коек,  
И пафос их не стоит лагерей,  
А может, стоит?

Им не уйти, не скрыться нипочем  
От этих буден,  
Их петь не будет Лешка Пугачев.  
А может, будет?

Им не прорвать, не смять железный круг,  
Их уничтожат,  
Их прочитать не сможет милый друг.  
А может, сможет?

Они в ночи не принесут врагам  
Зубовный скрежет,

И подлецу не врежут по мозгам.  
А может, врежут?

## **ФЕВРАЛЬ**

А за окном такая благодать,  
Такое небо — детское, весеннее,  
Что, кажется, мне нечего и ждать  
Другого утешенья и спасения.

Забыто зло, которое вчера  
Горланило и души нам коверкало.  
Ну; милые, ну, женщины, пора  
Взглянуть в окно, как вы глядите в зеркало.

Уже плывет снегов седая шерсть  
И, словно серьги, с окон виснут каплищи.  
Еще чуть-чуть — и всем вам хорошеть,  
Сиять глазам, платкам спускаться на плечи.

Еще чуть-чуть — и вам ночей не спать,  
Мечтать вздохом и все дела откладывать.  
На улице года помчатся вспять,  
И у прохожих будет дух захватывать.

(А в этот миг умолкнет перестук,  
Собрав мешок, на полустанке выйду я,  
За тыщу верст учую красоту  
И улыбнусь, ревнуя и завидуя.)

А вас весна до самого нутра  
Проймет словами нежными и грубыми.  
Ну, милые,— пора, пора, пора  
Расстаться вам с печалью и с шубами.

## **ПРИГОВОР**

Да не посмеешь думать о своем,  
Вздыхать о доме и гнушаться пищей:  
Ты — объектив, ты — лист бумаги писчей,  
Ты брошен сетью в этот водоем.

Чужие скорби грусть твоя вберет,  
Умножит годы лагерная старость,  
И лягут грузом на твою усталость  
Чужие сроки северных широт.

Пусть твоя саднящая мозоль  
Напоминает о чужих увечьях.  
Ты захлебнулся в судьбах человеческих —  
Твоей судьбой теперь да будет боль.

Да будешь ты вседневно грань стирать  
Меж легким «я» и многотонным «все мы»,  
И за других, чьи смерти были немы,  
Да будешь ты вседневно умирать.

Да будет солона твоя вода,  
И горек хлеб, и сны не станут сниться,  
Пока вокруг ты видишь эти лица  
И в черных робах мается беда.

Я приговору отвечаю:  
— ДА.

## **ЧАСОВОЙ**

*Памяти самоубийц*

1

А пожалуй, пора заступиться  
За «героя» вчерашнего дня:  
Нет, не робот, не мрачный тупица  
Охраняет людей от меня.

Не палач, не дурак обозленный,  
Не убийца, влюбленный в свинец,  
А тщедушный, очкастый, зеленый  
В сапогах и пилотке юнец.

Эй, на вышке! Мальчишка на вышке!  
Как с тобою случилась беда?  
Ты ж заглядывал в добрые книжки  
Перед тем, как пригнали сюда.

Это ж дело хорошего вкуса:  
Отвергать откровенное зло.  
Слушай, парень, с какого ты курса?  
Как на вышку тебя занесло?

## 2

А если я на проволоку? Если  
Я на «запретку»? Если захочу,  
Чтоб вы пропали, сгнули, исчезли?  
Тебе услуга будет по плечу?

Решайся, ну! Тебе ведь тоже тошно  
В мордовской Богом проклятой дыре.  
Ведь ты получишь отпуск — это точно,  
В Москву поедешь — к маме и сестре.

Ты, меломан, порассуждай о смерти —  
Вот «Реквием»... билеты в Малый зал...  
Ты кровь мою омоешь на концерте,  
Ты добро глянешь в девичьи глаза.

И с ней вдвоем, пловцами, челноками,  
К Манежу — вниз, по тротуару — вниз...  
И ты не вспомнишь, как я вверх ногами  
На проволоке нотою повис.

## 3

Я весь разговор этот выдумал —  
Не выдумал самоубийства,  
Их выудил, выдалвил, выдоил —  
И пью, и не в силах напиться.

Ну, чем отвечать? Матюками ли,  
Ножом ли, поджогом? Пустое!  
Расправы в бессмыслицу канули.  
Одно только слово простое,

Настойчивое, как пословица,  
Захлебывается и молит:  
— О, Боже, не дай мне озлобиться!  
Спаси — не обрушивай молот!..

...Ну, ладно. Мне долго до вечера,  
Я взыскан полуденным светом.  
Но глянет ли снова доверчиво  
Вот этот? Вот этот? Вот этот?

О нем, забываемом начисто,  
На картах давно не гадали.  
Он — здешний. Он в людях не значится  
Годами, годами, годами.

Обида — пустыня бескрайняя...  
И зря прозвучит мое слово,  
Когда, озверев от бесправия,  
Он бросится на часового.

#### 4

Тих барак с первомайским плакатом.  
Небо низкое в серых клочках.  
Озаренный мордовским закатом,  
Сторожит нас мальчишка в очках.

\* \* \*

А нужно ль былого чураться,  
Пускать прожитое на слом,  
Позиции и декларации  
Выдумывать задним числом?

Придумывать громкие фразы  
Для будущих мраморных плит —  
Что, мол, от рождения, сразу  
Ты был из металла отлит?

И чваниться напропалую,  
И лавры, кичась, пожинать,  
И всю беззаботность былую  
Предательски не вспоминать?

Не стоит в бессмертье стучаться;  
Другие, быть может, словчат —  
Тебя ж уличат домочадцы,  
Друзья тебя изобличат:

Расскажут забавную повесть,  
Отыщут простые слова —  
Что жил, ни к чему не готовясь,  
Как дерево и как трава,

Которые пахнут и вянут,  
И знать не хотят наперед,  
Что пилы и косы нагрянут,  
Обступят, возьмут в оборот...

Невместно полену и сену  
Казаться иными, чем все,  
Пойти на такую измену —  
Забывать о земле и росе...


\* \* \*

Где он, мой конь?

Уже на небе гремит посуда,  
И скоро грянет жестокий пир,  
А наши кони еще пасутся,  
А наши кони еще в степи.

Они бессмертны — вовек хвала им!  
И мы ведь помним дорогу к ним,  
Мы зануздаем и заседлаем  
И, эх, как двинем под проливным.

Тебя облепит намокшим платьем,  
О, амазонка, гони за мной!  
А кони мчатся, и наплевать им  
На тьму и ругань, на дождь и зной.

Ведь наши кони — веселой масти,   
Зеленой, рыжей и голубой,  
И подковал их веселый мастер  
Для бурь, для бега, для нас с тобой.

И мы дождемся большого солнца,  
Большого мира во всей красе;  
Табун гривастый еще пасется,  
Плывут копыта в ночной росе.



## У ВАХТЫ

Мы идем мимо плачущих женщин,  
Мы идем, мы шагаем в молчаньи,  
Мы не смеем сказать им ни слова,  
Мы не можем махнуть им рукой,  
Мы идем, а у них за плечами —  
Рюкзаки с табаком и харчами,  
Рюкзаки с нерастроченной страстью,  
Рюкзаки с многолетней тоской.

Ох и тяжело, наверно, им было  
По грошу собирать на билеты,  
По куску собирать передачи  
Для своих непутевых солдат.  
И, как слезы, роняя монеты,  
Прикупать, прикупать сигареты,  
И везти, и нести наудачу,  
И услышать: «Везите назад!»

И привыкшие тут по-дикарски  
О любви толковать обнаженно,  
Мы проходим смиренно и тихо  
Без подначки и без матерка,  
Потому что мы тут не пижоны,  
Потому что усталые жены —  
Не дешевки, не шлюхи, не бабы,  
А названные сестры зека.

Мы идем, простаки и поэты,  
Променявшие волю и семьи,  
Променявшие женские ласки  
На слова, на мечты и на сны;  
Только что же нам делать, что все мы  
На крови создаем поэмы?  
Уж такие мужья вам достались —  
Вы простить нас, наверно, должны...

## НА БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ

Да будет ведомо всем,  
Кто  
Я

Есть:  
Рост — 177;  
Вес — 66;  
Руки мои тонки,  
Мышцы мои слабы,  
И презирают станки  
Кривую моей судьбы;  
Отроду — сорок лет,  
Прожитых напролет,  
Время настало — бред  
Одолеваю вброд:  
Против МЕНЯ — войска,  
Против МЕНЯ — штыки,  
Против МЕНЯ — тоска  
(Руки мои тонки);  
Против МЕНЯ — в зенит  
Брошен радиоклич,  
Серого зданья гранит  
Входит со мною в клинч;  
Можно меня смолоть  
И с потрохами съесть  
Хрупкую эту плоть  
(Вес — 66);  
Можно меня согнуть  
(Отроду — 40 лет),  
Можно обрушить муть  
Митингов и газет;  
Можно меня стереть —  
Двинуть машиной всей,  
Жизни отрезать треть  
(Рост — 177).  
— Ясен исход борьбы!..  
— Время себя жалеть!..  
(Мышцы мои слабы)  
Можно обрушить плеть,  
Можно затмить мне свет,  
Остановить разбег!..  
Можно и можно..  
Нет.  
Я ведь — не человек:  
(Рост — 177)  
Я твой окоп, Добро,  
(Вес — 66)  
Я — смотровая щель

(Руки мои тонки),  
Пушки твоей ядро  
(Мышцы мои слабы),  
Камень в твоей праще.

## СТИХИ О ВОДЕ

Она добра, она нежна,  
Она не лжет, не изменяет,  
Всех милует, всё извиняет —  
Так сострадательна она.

Не учит и не пристаёт,  
А попросту над нами плачет  
И наши слезы, плача, прячет,  
Смывать их не перестает.

Я так устал от правоты  
Земли, и воздуха, и света,  
Твердящих заклинанье это:  
«Обязан ты, обязан ты!..»

Ну да,— их логика тверда,  
И я ведь верил ей вначале...  
Ах, унеси мои печали,  
Уйми их, добрая вода!

Войди в меня, как в пряжу нить,  
И дай войти в твое сиянье,  
Чтоб слово милое «слиянье»  
К его истокам возвратить.

Размой прямолинейность дней,  
Пролепечи о дальнем лете...  
Ты изо всех стихий на свете  
Всего нужней, всего нежней.

## СОТВОРЕНИЕ КУВШИНА

О, вечная мука гончарного круга,  
Творца и творенья отчаянный бой!  
Из праха, из глины, замешанной круто,  
Рождается тело, познавшее боль.

Струится под пальцами потная глина,  
Тоскует отброшенный лишний ломоть...  
Как страшно рождаться! Нагая, без грима,  
Вздывается ввысь бессловесная плоть.

Куда от тебя убежать, испытанье  
Огнем и водою?.. Но кончится суд,  
И будет звенеть благодарностью тайной  
Измученный, злой, сотворенный сосуд.

Он заново создан и послан на землю,  
В родной и опасный земной неуют;  
Кто знает, какому он глянется зелью,  
Какое вино в него люди нальют...

Но как бы и что бы судьба ни решала б —  
Он Мастером вылеплен. И до конца  
В задумчивом отзвуке, в теле шершавом  
Пребудет рука и дыханье творца.

## **СТРЕЛЫ НА СНЕГУ**

У скрещений заснеженных тропок,  
Где путей и решений — до чёрта,  
На высоких и светлых сугробах  
Эти стрелы прочерчены четко.

Это голос прошедшего первым,  
Это друга настойчивый почерк;  
Я вверяюсь бамбуковым перьям,  
Бескорыстным путям одиночек,

Тем отчаянным и неумелым,  
Чьи походы — на долгие сроки...  
Я вверяюсь нацеленным стрелам,  
Чтоб ночами не сбиться с дороги,

Чтоб не выбиться, где столбовая...  
В гору, в гору себя гоню,  
За тобой торопясь, обновляя  
Запорошенную лыжню...

## ЛИБЕРАЛАМ

Отменно мыты, гладко бриты  
И не заношено белье,  
О, либералы — сибариты,  
Оплот мой, логово мое!

О, как мы были прямодушны,  
Когда кипели, как боржом,  
Когда, уткнувши рты в подушки,  
Крамолой восхищали жен.

И, в меру биты, вдоволь сыты,  
Мы так рвались в бескровный бой!  
О, либералы — фавориты  
Эпохи каждой и любой.

Вся жизнь — подножье громким фразам,  
За них — на ринг, за них — на риск...  
Но нам твердил советчик-разум,  
Что есть Игарка и Норильск,

И мы, шипя, ползли под лавки,  
Плюясь, гнусавили псалмы,  
Дерьмо на розовой подкладке —  
Герои, либералы, мы!

И вновь тоскуем по России  
Пастеризованной тоской,  
О, либералы — паразиты  
На гноище беды людской.

## ЧУЖИЕ ОГНИ

И нынче, так же, как вчера,  
К чужим огням душа отчалила...  
О, жизнь, зачем ты так добра,  
Зачем ты так щедра отчаянно?

Мне этот жар — не по перу,  
Я слаб. Ведь мне и то диковиной,  
Что чьи-то слезы оботру  
Рукой, бессилием окованной.

Мне б жить как все и быть как все,  
Писать, что зло не так уж действенно,  
Что на запретной полосе  
Белеет снег легко и девственно,

Что сосны ближнего леса  
Весной видней и недоступнее,  
Что прошлое издалека  
Приносят ветерки простудные.

Ах, мне бы, мне бы! Я бы смог  
Отбиться от беды усмешкою,  
Чужие вздохи — под замок  
И с глаз долой... А я все мешкаю.

С кого спросить? С кем спорить мне?  
Судьба ли, блажь ли — кто виновница?  
Горю, горю в чужом огне —  
И он моим огнем становится.

\* \* \*

Когда спохватишься, что «плавно»  
Того же корня, что и «плыть», —  
Ненужная утихнет прыть  
И станет солнечно и славно, —

Как будто впрямь, без суеты,  
Покачиваемый волною,  
Любовно ладя с глубиною,  
Ты движешься. И медлишь ты.

Когда поймешь, что «плоть» и «плыть»  
В родстве не по одним лишь звукам.  
И что в сплетенье многоруком  
Их не разъять, не разделить, —

Как будто впрямь твои мечты  
Сметают то, что видит разум:  
Приемля жизнь и гибель разом,  
Ты движешься. И медлишь ты.

Когда постигнешь, что близки  
Пловцам певцы не только рифмой,—  
Тогда прильнут, задор смирив свой,  
Слова к спокойствию реки;

И вот неспешных строф плоты  
Подвластны мерному влечению,  
И вместе с ними, по течению,  
Ты движешься. И медлишь ты...

\* \* \*

Я ненавижу  
Прогнивший ворох  
Пословиц старых  
И поговорок  
Про «плеть и обух»,  
Про «лоб и стену»,—  
Я этой мудрости  
Знаю цену.  
Она рождает,  
Я это знаю,  
«Свою рубашку»  
И «хату с краю».  
Она — основа  
Молве безликой:  
«Попал в говно, мол,  
Так не чирикай!  
Снаружи — зябко,  
Снаружи — вьюжно...»  
А всякой мрази  
Того и нужно,  
И мордой об стол  
Всему итог:  
«Куды поперли?!  
Знай свой шесток!...»  
Куда ни плюнешь —  
Такие сценки,  
А все оттуда,  
От «лба и стенки»,  
От тех, кто трусит —  
В «чужие сани»,  
Тех, кто с часами,

Тех, кто с весами,  
Тех, кто в сужденьях  
Высоколобых  
Вильнет цитаткой  
Про «плеть и обух»,  
А там — гляди-ка —  
Развел руками  
И пасть ощерил:  
Ведь «жить с волками!»

Когда за глотку  
Хватает кодро,  
За поговорку  
Цепляться подло,  
Да лучше кровью  
Вконец истечь,  
Чем этой гнилью  
Поганить речь...

## СОЛНЦЕ

Прием давно испытанный:  
Всем телом — на песок!  
Замри и жадно впитывай  
Животворящий сок.

Он все печали вылушит,  
От страхов исцелит,  
От маловерья вылечит,  
Смеяться повелит.

И вот уже несешь его  
В себе и над собой  
В ликующее крошево,  
В заждавшийся прибор.

В рассол зеленый, лодочный  
Скользнет твоя рука —  
И вспыхнет мокрой звездочкой  
На ржавчине буйка.

И снова спитса-дремлетса,  
И волны сонно льнут,  
И солнечная мельница  
Дробит зерно минут.



Твой сон песочный, галечный  
Какой-то Главный Врач  
Всерьез отметит галочкой  
Средь творческих удач.

И будет так-то радостно  
Принять как дань и дар  
Прикосновение августа —  
Ласкающий загар.

\* \* \*

Бессмысленное, бесполезное  
Моление о слепоте...  
Нас эти нежат, соболезнаю,  
И грубо скручивают те.

И всё дано принять и вынести,  
Но частоколом на пути:  
Куда от подлой совместимости  
Несовместимого уйти?

Всё поняли, всё сосчитали мы —  
Бесстрашие дней и страх ночей,  
Но что нам делать с сочетаньями  
Несочетаемых вещей?

Есть солнце — с огненными патлами,  
С размахом пьяным — там, вовне,  
И есть — безрадостными пайками  
Прямоугольными -- в окне.

Есть мир — с округлыми коленями,  
И с шепотом, и с дрожью губ,  
И тут же, рядом, в том же времени —  
Следы овчарок на снегу.

Параши ржавой жести вонючая —  
И в реках тени облаков —  
И зарешеченный, заключенный  
Гул ненаписанных стихов...

Во всякой — в злой ли, в доброй — косности  
Спокоен был бы пленный дух;  
Позволь же мне не видеть, Господи,  
Одно из двух.

\* \* \*

## I

Пустыне — свежести глоток,  
На дыбе ломанному — врач,  
Кровавой ссадине — платок:  
— Не плачь...

Окну тоскующему — стук,  
Небытию наркоза — жизнь,  
Волной захлестнутому — круг:  
— Держись!..

Отогревающий очаг,  
Состав, смывающий клеймо,  
Свет в прозревающих очах —  
Письмо.

## II

### ЧИТАЯ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Походному ветру в тон  
Звучат надо мной слова:  
— В пустыне ты значишь то,  
Что значат твои божества!..

А было ли что-нибудь  
Прекрасней моих божеств?  
И вдвое короче путь,  
И вражья броня — как жечь.

## III

### СНЫ

Родной, чудной кинематограф,  
Ночной прокат знакомых лент.

Как просыпаться мне, потрогав  
Живую плоть мелькнувших лет?

А может, спутаны все карты,  
И, удручающе нелеп,  
День, а не ночь, гоняет кадры,  
Бездарные, как кислый хлеб?

И надо попросту проснуться,  
Из тины выбраться — и вплавь,  
Очнуться, вырваться, вернуться  
В ночную явь...

\* \* \*

Подари мне незнакомый город,  
Чтобы стал я сильным и счастливым,  
Подари мне город на рассвете,  
Вымытый ночным коротким ливнем.

Обмани меня, что длится лето  
И что нам не надо торопиться,  
Покажи, как мягким светом льется,  
Отражаясь в лужах, черепица.

Подари мне запах теплой хвои,  
Старых стен иноязычный говор,  
Улочки, мощенные камнями,  
Бурых башен простодушный гонор.

Подари — чтоб он при нас проснулся,  
Город за оконной занавеской,  
Чтоб могли мы вместе любоваться  
Статью горожанок деревенской.

Чтобы уши, и глаза, и ноздри  
Утолили многолетний голод —  
Подари мне город на рассвете,  
Подари мне незнакомый город.

\* \* \*

На свет, на газ и на признание — такса,  
Диктует рифмы добродушный быт;  
А было время — и поэт метался,  
Наотмашь бил и был судьбою бит.

Все позади. Теперь он мягко спит;  
Есть капитал — минувшие мытарства;  
Как жаль тех лет безумья и бунтарства,  
Жаль нищеты, несчастий и обид.

Пристоем крик, сомнения бравурны,  
На микропоре модные котурны,  
Парадный меч сверкает, не рубя,—

Все по привычке кажется стихами.  
Таков пророк. Он куплен с потрохами —  
Самим собой — у самого себя.

\* \* \*

Ах, недостреляли, недобили!  
Вот и злись теперь, и суетись,  
Лезь в метро, гоняй автомобили,  
У подъезда за полночь крутись.

Ах, недодержали, недожали,  
Сдуру недовыдавили яд!  
Дожили: заветные скрижали  
Отщепенцы всякие чернят.

Чуть прижмешь — кричат:  
— Суди открытым!..  
Песенки горланят белым днем,  
Письма пишут... Что ни говори там,  
А при Нем...

Мы не ждали критики гитарной,  
Загодя могли связать узлом:  
Что не так — пожалуйста в товарный  
Пайку выковыривать кайлом!

Это было времечко такое —  
Кто там пел и кто протестовал,  
От Владивостока до Джанкоя  
Шел, гудел Большой Лесоповал!

А зато — и Родину любили,  
Транспаранты в праздники несли!  
Ах, недостреляли, недобили,  
Недогнули, недоупекли...

\* \* \*

Я устал огрызаться по-волчьи,  
Кислотою въедаться в металл,  
Я от ненависти, от желчи,  
Я от челюстей сжатых устал.

Засмеяться, запеть хорошо бы,  
Примиренно уснуть к десяти.  
Только пошло из тягостной злобы  
Мне от губ своих не отвести.

Я ночью и днюю с бедою,  
Сушит глотку проклятый настой;  
Кто нагнется с живую водою  
Над убитой моей добротой?

Говорят, есть песчаная отмель,  
Взрывы сосен и в море огни...  
То, что молот бессмысленный отнял,  
Отдадут мне, быть может, они?

Говорят, есть луга и ушелья,  
И леса, и роса, и жнивье —  
Может, в этом мое возвращенье,  
Воскресенье, спасенье мое?

Может, так под овации лютен  
Решено на Высоком Суде:  
От людей! Чтобы заново — к людям.  
От себя! Чтобы снова — к себе!

\* \* \*

О, как безысходно поэту  
В скользкой удавке загона,  
Погоня, погоня по следу —  
За горло клыками закона!

Задушен, застрелен, затравлен,  
Замучен вопящей оравой...  
...Но как безобидна расправа  
В сравненье с посмертною славой:

Когда неизбежность признанья  
Угадывается палачами,  
Они поднимают, как знамя,  
Растоптанное поначалу.

И это совсем не сдуру,  
Что нелюди и недомерки  
Поют, поднабравшись, «Думу»  
Повешенного на кронверке;

Засевши в свои ожидальни,  
Где запахи крови и хлорки,  
Скучающие жандармы  
Мурлычат романсы Лорки;

Не правнуки, не потомки —  
Дождавшись сановного знака,  
Сегодняшние подонки  
Цитируют Пастернака...

Такая расправа с поэтом,  
Чтоб стало неведомо, чей он,—  
И вот он стократ оклеветан  
Уже за чертою мучений.

Он жизнью платил за почерк,  
Но злоба не убывает:  
Хвалами его порочат,  
Убитого — убивают.

## **ВОЗВРАЩЕНИЕ**

И я пришел. И, севши у стола,  
Проговорил заветное: «Я дома»;  
И вдруг дыра оконного проема  
В меня, как наваждение, вошла.

Беда вдовства, сиротства и тоски  
Бок о бок села, руку мне пожала,  
И копоть отпылавшего пожара  
С измятых стен плеснула мне в зрачки.

Здесь шли бои. Здесь кровное мое  
Держало фронт и раны бинтовало,  
Здесь день за днем с усмешкой бедовало  
И маялось окопное житье.

Здесь властвовал непрочности закон,  
Он уцелел, он властен и поныне.  
И воздух здесь, как водка на полыни,  
Глотай его, горяч и горек он.

И я пошел по битому стеклу  
К тому углу, где в клочьях писем наших  
Губной помады медный карандашик,  
Как стреляная гильза, на полу.

И голос твой пронесся и затих,  
И прозвучал, и смолкнул шелест платья;  
О, где мне взять горючие проклятья  
И причитанья прадедов моих?..

...Полы натерты. Весел цвет вина.  
Промыты окна. Свеж букет осенний.  
Для новых бед и новых потрясений  
Готово все. Не кончена война.

## **ПРО НАШУ АРИФМЕТИКУ**

Всё — как надо, всё — в порядке,  
На судьбу не стоит злиться:  
Счет находок — на десятки,  
Счет потерь — на единицы.

Так оно и дальше будет —  
Рассветает постепенно,  
На чуток повыше люди,  
На чуток пониже стены,

На шепоть добра поболее,  
На крупицу больше чести;  
Что же делать, что без боли  
Нам бы не собраться вместе,

Что бедой полны разлуки,  
А у выбранного в брата  
Так нахолодели руки  
Без тепла рукопожатья!..

Ничего, вздохнем поглубже,  
Жить живым — ведь это просто  
Через камни, через лужи  
Мерить годы, мерить версты,

Драться, плакать и браниться —  
Только верить без оглядки:  
Счет потерь — на единицы,  
Счет находок — на десятки.

## ПОСЛЕДНЕЕ

Этот год уйдет с пустой котомкой,  
У ворот помашет мне рукой,  
Пеленой возьметса, гладью тонкой  
Надоевший, скучный непокой.

Будет жизнь всю великолепна,  
Только вдруг, в какой-то странный миг,  
Замолчу, оглохну и ослепну,  
Отрешусь от спутников моих;

Солнце помраченное остынет,  
Бред ворвется, вломится в окно,  
Добрая беседа опостылет,  
Напрочь разонравится вино;

Не с хандры пустой, не с перепою  
Загорю о своей судьбе,



Нежное услышу: «Что с тобою?»  
Вовсе не услышу: «Что в тебе?»

А во мне уже необратимо  
Два железа ржавых с двух сторон,  
Пыльная сухая паутина,  
Черствый карк невидимых ворон,

Сны — ох, эти сны! — как будто на смех,  
Слабый ветер, в горле горький ком,  
В серый цемент вляпанная насмерть  
Койка с полумертвым тюфяком,

И необычайный, непривычный,  
Вспомненный, приманный, как блесна,  
Желтый, жаркий, обручный, яичный,  
Вольный, вольный, вольный цвет окна...

Что же мне — надеждой сердце нежить,  
Что душе не век, мол, быть рабой,  
Что исчезнут небыль, нежить, нежить  
И что боль пройдет сама собой?

Призрак мой с запавшими щеками,  
Плач немой по прелести земной.  
...Тонкий лед, неверный под шагами,  
Над ночной бездонной глубиной.

---

# А в это время ...

*Поэма*

I

Тем, кто не сломлен лагерным стажем,  
Рядом с которым наш — пустыки,  
Нашим товарищам, нашим старшим —  
Я посвящаю эти стихи.

Тем, кто упрямо выжил и вышел,  
В ком еще горькая память жива,  
Тем, кому снятся контуры вышек, —  
Я посвящаю эти слова.

Тем, кто читает дальше названья,  
Тем, кому люди и в горе близки,  
Тем, кто не трусит трудного знания, —  
Я посвящаю эти листки.

Чьим-то простым, беззащитным и сильным  
Главам еще не написанных книг,  
Будущим пьесам, полотнам и фильмам  
Я посвящаю мой черновик.

II

Тому уже три века,  
Тому всего три дня,  
Как Муза дольных странствий  
Взревела под окном.  
По кочкам и по строчкам  
Поволокла меня  
В неукротимом газике,  
Бывалом «вороном».

Дорога, о, дорога!  
Жестокая жара...  
Дорога, о, дорога!  
Железные морозы.  
Ведут машину нашу  
Слепые шофера,  
Раздавливая скатами  
Наивные вопросы.

Ни очага, ни света,  
Ни птиц, ни тишины,  
А только километры  
Качающихся суток,  
И наши судьбы пестрые  
Силком сопряжены  
В бегущих по дорогам  
Решетчатых сосудах.

К далекой остановке  
Протянута ладонь...  
Подъемы и уклоны,  
То кувырком, то юзом...  
А что же было раньше,  
А что же было до  
Со всеми нами — этим  
Подведомственным грузом?

### III

Нам не понять друг друга никогда.  
Они не молят: «Господи, доколе?»  
А лишь твердят: «Теперь-то ерунда...  
А мы, браток,— мы видели такое...»

Здесь фраза отстоялась, как строка,  
В ней каждый звук — нечаянной уликой,  
Как будто простодушные века  
Рисует некий Нестор многоликий.

Бредовая, чудовищная вязь,  
Но смысл ее на диво прост и четок,  
Он подтвержден свидетельствами язв,  
Печатами безумий и чахоток;

Он подтвержден смиреньем стариков,  
И ропотом, привычным и покорным,  
И верой, что Покойный не таков,  
Чтоб он на самом деле стал покойным.

В том этот смысл, что чья-то злая спесь  
Живых людей, как дробь, сократила,  
Что корчилась, хрустя костями, песнь  
Под деловитым каблуком кретина.

А я не верю правде этих слов,  
Мне не под силу откровенья эти,  
И горький мой, незванный мой улов  
Колелеблет переполненные сети...

#### IV

Что такое «концлагерь»? На лике столетья горит,  
Словно след пятерни, этот странный словесный гибрид.

«Лагерь» — это известно: «...под Яссами лагерь разбил,  
Кукарекал с утра и лозу на фашины рубил...»

«Лагерь» — это знакомо: «...устроили лагерь в лесу,  
Осушали росу, кипятили ручей на весу...»

Что же значит приставка, нарост неестественный — «конц»,  
От которого слово в предсмертной икоте летит под откос,

А потом, обернувшись, храпя ненасытным нутром,  
Вурдалаком встает, перевертнем встает, упырем?

Может быть, машинистка, печатая Тайный Указ,—  
Вместо «а» — букву «о», и читать это надобно «канц»?

Канцелярских путей вожделенный веками итог.

Сущий рай, парадиз, где параграф всемогущ, как Бог,

Где «входящие» есть, «исходящие» — меньше, но есть,

Где в обход циркуляра — ни перднуть, ни встать и ни сесть.

Может быть, нерадивый напортил наборщик юнец,  
Поспешил, пропустил? И читать это надо — «конец»?

Сотворенью — конец. Утоленью — конец. И всему,  
Что тревожило тьму, что мерцало душе и уму.

Человеку — конец. Человечности — тоже хана.

Кроме миски баланды не будет уже ни хрена...

Так ли, нет ли — не знаю. Но этот ублюдочный слог  
В каждом доме живет, он обыденным сделаться смог.

Ну, так что ж ты, Филолог? Давай, отвечай, говори,  
С кем словечко прижил, как помог ему влезть в словари?

И когда, наконец, ты ворвешься в привычный застой  
И убьешь этот слог, зачеркнув его красной чертой?

## V

Погорельцем с сумою — под окна,  
Под зажиточные, — моля:  
— Дом сгорел, корова подохла,  
Помогите, Господа для!..

Забулдыгой — к чужому столику:  
— Понимаешь, я на мели;  
От щедрот своих малую толику —  
Алкоголику — удели!..

Нежеланным — к желанной, как к жаркому  
Очагу — из промерзлой степи:  
— Дай согреться! Ну что тебе — жалко?  
Дай согреться. Дай. Уступи!..

...Каждый день, — от рассветного часа  
И до полночи, — мучась и клянча:  
— О, Поэзия! Мне — не Пегаса,  
Мне сгодится рабочая кляча.

Попрошайкой-медведем из клетки,  
Задыхаясь по-стариковски:  
— Ты бы мне не обеды — объедки,  
Ты бы мне не обнови — обноски,

Мне б не меч, а клюку — подпираться...  
Ты не брезгуй — все очень просто:  
Без тебя мне вовек не добраться  
До отчизны, чье имя — Проза.

Знаю, щедрости недостойн;  
Ну, а ты — не любя и не тратясь, —  
Через фортку — что тебе стоит?! —  
В узелок мой — остатки трапез!

...Умоляя и угрожая,  
Что ни день, меняя обличье,  
К нам взывает тоска чужая  
Всею болью косноязычья!..

## VI

А в это время, вечером воскресным,  
Мой быт лукавый ублажал меня

Сухим вином и старомодным креслом,  
И легким грузом прожитого дня.

Казалось, что пора глухонемая  
Ушла навек и сгинула в былом —  
Аминь, аминь!.. И чудо пониманья  
На равных восседало за столом.

На стук любой распахивались двери,  
И в них входил, конечно, только свой,  
И нимбу умиленного доверья  
Сиялось всласть у нас над головой.

И был прекрасен вечер заоконный,  
И нежность к сердцу — теплою волной...  
...А в это время, издавна знакомый,  
Шел по бараку шмон очередной.

Он рылся в стариковских корках кислых,  
Он пачки сигаретные вскрывал,  
Он, как в отбросах, в материнских письмах  
Брезгливыми руками шуровал.

Он тряпки тряс и — мимо коек — на пол  
(Молчи, зека, не суйся на рожон!),  
Разглядывал он фото, словно лапал  
Чужих невест, возлюбленных и жен...

...А что же раньше? Раньше было море,  
Врачующее от житейских ран,  
И мы, толпою, как на богомолье,  
Идущие к прибою по утрам;

И тяжесть волн, сработанных на совесть,  
Ракушечника желтая пыльца,  
И наших тел полет и невесомость,  
И солнце, солнце, солнце без конца.

Существованья светлomu усилью  
Без устали учил нас добрый зной,  
Учило море любоваться синью,  
И горы — непреложной крутизной.

(Друг, погоди! Пожалуйста, не думай,  
Что я собой заполнил этот стих,  
Себя припомнив, развлекаюсь суммой  
Своих страстей и радостей своих.

Я — это ты. Не больше и не меньше.  
И я, и ты — мы от одних начал.  
И я, как ты, постыдно онемевши,  
За годом год молчал, молчал, молчал;

Я — это ты. Не лучше и не плоше.  
И я, как ты, любил, работал, пил,  
И я, как ты, ослепши и оглохши,  
Добро удач за годом год копил;

Стихи читали, на цветах гадали,  
«Ах, было что-то — поросло быльем!..»)»  
...А в это время где-то в Магадане  
Происходил обыкновенный «съем».

Дошедшие до ручки и до точки,  
Приемля жизнь со смертью пополам,  
Под «Хороши весной в саду цветочки»  
Бредут зека, осилившие план.

Гнусит гитара, взвизгивает скрипка,  
Брезентовый бормочет барабан!  
О Господи, страшна Твоя улыбка  
И непонятна пасмурным рабам.

Нет Бога — над, и нет земли под ними,  
И кто-то от тоски — не сгоряча  
Вдруг скажет: «Ну, прощайте», — лом поднимет  
И грохнет рядового палача.

А может быть, конец и так уж близок:  
Известняковый не добил карьер —  
Но высочайше утвержденный список  
Уже везет умученный курьер;

И землекопов мерные движенья  
Увенчивают будничным расстрел...  
...А в этот миг на чудо обнаженья  
Светло и потрясенно я смотрел.

Доверчиво, без хитростей, без тыла  
(Будь так же чист и так же нежен будь!)  
Плывут ко мне безгрешно и бесстыдно  
Струящиеся руки, плечи, грудь,

И, тонкое колено открывая,  
Как кожа снимается чулок...

...А в это время песня хоровая  
Летит от нар в дощатый потолок;

А в это время кто-то спорит с кем-то,  
Постичь пытаюсь общего врага;  
Как на картинках Рокуэлла Кента,  
Блестят в глаза белейшие снега;

Под ними — пот, не растопивший грунта,  
Под ними — кровь, не давшая ростка,  
Под ними — захороненная грубо  
Лежит неисчислимая тоска...

...А в это время в залах Исторички  
Река науки благостно текла...  
...А в это время выли истерички  
И резались осколками стекла...

...А в это время тени шли по сходням  
В Колымском трижды проклятом порту...  
...А в это время мы по ценам сходным  
Сбывали ум, талант и красоту...

А может, хватит дергать нервы наши?  
Ведь мы и знать, наверно, не должны,  
Что женщины за миску постной каши  
С себя снимали ватные штаны.

А может, впрямь пора шадить друг друга  
И эту память вывести в расход:  
Про «ласточку», «парашу», «пятый угол»,  
Про «бур» и «без последнего развод»?

Пора забыть. А иначе — едва ли  
Так проживем отпущенные дни,  
Чтоб никогда о нас не горевали,  
Не называли траурно — «они»...

## VII

Кто это? Люди или окурки  
С горьким и слипшимся табаком?  
Черные брюки, черные куртки,  
Черные шапки с козырьком.



Неиссякаемая вереница  
Из века в век, от ворот до ворот;  
Черной усталостью мечены лица —  
Бывшие люди, бывший народ.

Сколько их били-учили метели  
Руки и летом совать в рукава?  
Медленно движутся черные тени,  
Чудятся медленные слова:

«Вы — отщепенцы, отбросы, отсевы,  
В кучу собрал вас мудрый закон;  
От сострадания отсечены все вы  
Буквой и цифрой, штыком и замком.

Вы опечатаны «словом и делом»,  
Каждый рассвет — не исток, а итог,  
Ваших желаний да будет пределом  
Сала полоска да чаю глоток.

Сдайтесь. Продумано это умело.  
Так или иначе, всем вам конец:  
Осуществляется высшая мера —  
Мир и спокойствие ваших сердец...»

## VIII

Литераторы в новых костюмах,  
Свежекупленных из аванса,  
Вам не спрятать морщинок угрюмых,  
Никуда от себя не деваться.

Не умеют молчать ваши лица,  
Как молчат иногда ваши строки;  
Литься лютой беде — не излиться,  
Не отбыты еще ваши сроки.

Ты нахохлился, брови насупил,  
Щелкнул мастер, позицию выбрав,—  
И лицо твое пало на супер,  
Как тревожный и властный эпитаф.

На страницах — полет и дерзанье,  
На страницах — пурга и цветенье,  
Ну, а здесь — притворились глазами  
Два страдания, две ямы, две тени.

Это знак, что уплачена плата  
За познание, что Данту не снилось.  
Помнят плечи дырявость бушлата,  
Помнят ноздри баландную гнилость,  
Помнят уши барачные скверны,  
Сердце — жизнью пропавших осколки...  
Откровенны и достоверны  
Лица, вынесенные за скобки,  
Лица, закоченевшие в думах,  
Лица, ждущие все же чего-то.  
...Литераторы в новых костюмах,  
Необмятых, надетых для фото.

## IX

Я не могу угадать наперед,  
Распорядиться собой:  
Грустной ли дудкой буду я  
Или вопящей трубой.

Мне бы с устатку — рюмку вина,  
Тихий бы разговор,  
Крест на минувшем, пламя в печи  
Да изнутри затвор.

Только ведь это совсем не легко —  
Вовремя зубы сжать,  
Гнев и обиду презреньем гасить,  
Ненависти бежать.

Вряд ли смогу я с собой совладать,  
Горячий сглотнуть комок;  
Сердце одним лишь друзьям открыть —  
Кто бы из наших смог?

Мы не посмеем теперь солгать ,  
Тетрадочному листу,  
Розовым цветом скруглять углы  
Больше не вмоготу.

Нам — не идиллия, не пастораль,  
Не бессловесный гимн —  
Обречены мы запомнить все  
И рассказать другим.

---

# Письмо другу

Дорогой мой друг, спасибо Вам за Ваше письмо, такое неожиданное и такое доброе. Спасибо за пожелания. Дай Бог им осуществиться, хотя признаюсь Вам как на духу, надежд на это у меня мало. Вы просите, чтобы я написал Вам о себе — о своем быте, о друзьях, о работе, о той, что я делаю по принуждению, и о той, настоящей, для которой, как Вы считаете, я «предназначен судьбой». Трудная задача... Справиться с ней лишь под силу дневникам, но в конце 1967 года у меня отобрали две тетради дневниковых записей, и они исчезли бесследно. Восстановить их я уже не сумею, продолжить — не хватает духу: все равно отберут. Жаль, что Вы живете не в Москве. Во-первых, кое-что Вы знали бы из писем моей семье (а теперь уже даже не семье, а только сыну). Во-вторых, Вы не обратились бы ко мне с этой простой просьбой написать Вам. Моим москвичам уже хорошо известно, что мне разрешено лишь два письма в месяц, из которых одно идет сыну, а другое, разумеется, жене в Сибирь. Почему именно два, а не три или не одно — для меня это загадка. Очевидно, те, кто изобретает правила режима для таких, как я, «особо опасных государственных преступников», решили, что нас, «особо опасных», эмоции захлестывают один раз в пятнадцать дней, а те, которые в отличие от нас не на «строгом режиме», а на «общем» или «усиленном» — те много эмоциональнее нас и потому могут писать своим женам, детям и друзьям сколько душе угодно. Многое, друг мой, непонятно мне. Я, как Вы знаете, полный профан в юридических науках и других смежных с ними и потому в простоте душевной всегда считал, что слова, бытующие в угодах юстиции, однозначны; также я полагал, что если слова записаны в законе, то они должны материализоваться в повседневной нашей практике. Увы, я при всем своем скепсисе был слишком наивен. В читанных книгах, статьях, кодексах, в слышанных мною лекциях, беседах, посвященных проблемам «преступления и наказания», чуть ли не в каждой фразе я встречал такие

слова, как «исправление», «воспитание», «перевоспитание» и т. п. Я даю Вам честное слово, что за то время, что я провел за проволокой, я ни разу не видел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало мне «исправление» или «воспитание». То есть слова эти употребляются ежечасно, это самые ходовые термины в не слишком обширном лексиконе нашего начальства, но содержание их... Знаете, русское слово «позор» значит по-чешски «внимание». Так и здесь — кажется, что те слова и термины, которые мы привыкли употреблять, раз и навсегда согласившись об их значении, — эти слова переведены на какой-то особый, лагерный, нерусский язык. При таком художественном переводе голодный паек может, разумеется, звучать как «воспитание», а наручники как «перевоспитание». А можно и наоборот — назвать предмет или явление по-другому: чудеса в решетке, магия слова, торжество эвфемизма! Вот, например, ошибаетесь, если думаете, что я сидел в тюрьме, — я «содержался в следственном изоляторе», а меня не бросали в карцер, а «водворяли в штрафной изолятор», а занимались этим не надзиратели, а «контролеры», и это письмо я пишу Вам отнюдь не из концлагеря, а из «учреждения» (таков наш почтовый адрес — похоже, для того, чтобы не смущать нежные души почтовых работников). Сами понимаете, что пробыть 5 лет (или 15, или 25) в «учреждении» — совсем не то, что «просидеть 5 лет в «лагере». Равно как и «отказ от приема пищи» переносится значительно легче, чем «голодовка». Да, вот голодовка. Не знаю, слышали ли Вы, что было у меня и моих товарищей такое развлечение? Было год с лишним назад, и это, мягко выражаясь, не лучший эпизод в моей жизни. Вот сейчас снова приходится сталкиваться с этим. Вы скажете — самоуничтожение. Да, согласен. Вы скажете — бесперспективно. Возможно, так. Вы скажете — жестоко по отношению к близким. И это верно, но, друг мой, а что же еще остается делать, когда использованы все мыслимые и немыслимые способы добиться справедливости — и все безрезультатно? Причем не думайте, что я говорю о некоей «справедливости» лишь в нашем «арестантском» понимании. Речь идет о том, запрещение чего законом и не предусмотрено и, стало быть, не является нарушением каких-либо норм и правил. Я все забываю, что Вы не поймете с полуслова, как уже привыкли понимать москвичи, что Вы не в курсе наших дел и волнений.

Вот Вам в двух словах ситуация. У меня здесь есть товарищ. Вы наверняка слышали и читали о нем — это Александр Гинзбург, Алик, как его зовут все знакомые. Не буду играть беспристрастия. У меня к нему особое отношение, вполне объяснимое, если знать, что единственной причиной его ареста была книга «Процесс Синявского и Даниэля», составленная им. Когда я только узнал об этой книге, я сразу подумал о доброте и рыцарственности автора; когда я познакомился с ним, то убедился, что так оно и есть. И вот что происходит с ним и еще с одним человеком, которого я знаю лишь по письмам, фотографиям и рассказам, — с Ириной Жолковской.

Алик Гинзбург и Ирина — муж и жена, они были, выражаясь казенным языком, в «фактическом» браке. Надо объяснять, что это значит? Наверное, надо, потому что, оказывается, кроме любви и близости — я-то, простофиля, думал, что этого вполне достаточно, чтобы быть мужем и женой, — кроме этого еще нужно «совместно проживать» и «вести общее хозяйство». И проживали они совместно, и общее хозяйство вели (и это подтверждено документально), и любили, и любят друг друга, и были близки. Все было — не было лишь штампа в паспорте, не было регистрации брака. И вот сейчас им отказывают в праве быть мужем и женой. Если бы было все наоборот, то есть если бы они не жили вместе, не вели бы этого самого общего хозяйства, не любили бы друг друга и не были бы близки, но в паспортах стояли бы штампы, то тогда бы все было в порядке! Ни один самый ревностный чиновник не усомнился бы, что они супруги; а они, к несчастью, немного опоздали или КГБ несколько поторопился: Алика арестовали за ш е с т ь дней до загса, до регистрации, до свадьбы. Да-да, они, как полагается, подали заявление в загс, чтобы стать мужем и женой не только по существу, но и в глазах домоуправления. И вот — арест. Ладно, арестовали, судили, осудили. Не будем говорить о соответствии всего этого закону и правосудности. Это — тема отдельная. Но вот вопрос: что же им мешает осуществить юридические процедуры по оформлению брака? Закон? Нет, закон не предусматривает запрещения оформления брака между тем, кто в заключении, и тем, кто на воле. Может, прецедента не было? Нет, был. В январе 1966 г. в Ленинградской тюрьме — виноват, в следственном изоляторе! — был зарегистрирован брак осужденного по той же статье УК, что и Гинзбург, В. М. Смолкина с его невестой Наташей Чернявской. Причем ситуация была абсолютно аналогичной. Валерий и Наташа подали заявление в загс, за какой-то пустяковый срок до свадьбы произошел арест, но их все же зарегистрировали — все честь честью, с официальными служащими, со свидетелями, с поздравлениями и с возжеланным «свидетельством о браке». И между прочим, ни у кого даже не возникло вопроса о «фактическом браке» — был он или не был. И вполне разумно, естественно, человечно: раз люди любят друг друга, пусть будут мужем и женой. Ведь даже дореволюционные, царские власти дали возможность обвенчаться В. И. Ленину и Н. К. Крупской, чтобы они могли быть вместе в ссылке. А вряд ли у царских властей было меньше претензий к Ленину, чем у советской власти к Гинзбургу! Случай со Смолкиным, возможно, не единственный, но именно он мне известен досконально: Смолкин был моим приятелем, а свидетель при бракосочетании, Сергей Мешков, и сейчас мой товарищ. Я не знаю, как обстоит дело с подобными браками в зарубежных странах: если верить Л. Фейхтвангеру и его роману «Успех» (основная тема которого — реакционность баварской юстиции 20-х годов), то браки между заключенными и «вольными» были нормой. Впрочем, нам ведь заграница не указ...

Так как же все-таки с Гинзбургом и Жолковской? Может быть, их «фактический брак» подвергается сомнению в соответствующих инстанциях? Нет, не подвергается. Более того, он признан официально: осенью 1968 г. у Ирины и Алика было так называемое «личное свидание» — в отдельной комнате и без посторонних глаз, в отличие от «общего свидания», где в присутствии надзирателя вы можете провести от часу до четырех. Выходит, все хорошо? Как бы не так! Недавно вышла инструкция, рожденная в недрах МООП: свидания «личное» и «общее» разрешаются лишь по предъявлении свидетельства о браке. Значит, конец. Значит, они не увидят друг друга до конца заключения Алика. Но, может быть, раз закон не запрещает, раз были прецеденты, раз брак между ними признан, черт побери! — может быть, им разрешат зарегистрироваться?..

Ирина Жолковская бежит из ведомства в ведомство. От одного высокопоставленного лица к другому. С нею безукоризненно вежливы, ее сочувственно выслушивают — может быть, такая регистрация будет в принципе разрешена, но критерием для разрешения или отказа в каждом случае будет, извините, наличие или отсутствие детей... А у вас деток нет? Ах, не успели... Очень, очень жаль.

Когда я слышу все это, когда читаю письмо, мне хочется вопить во всю глотку. Да что же это такое?! Люди несут крест — тяжелей не выдумаешь. Гинзбург лишен свободы — страшнее этого, по-моему, только смерть. Он разлучен со всеми близкими — и они разлучены с ним.

Почему, на каком основании, по каким законам, Божеским, человеческим, государственным, у него и его жены отбирают право видиться? Почему к нему не приложили то, что возможно с другими? Какой мыслитель из министерства установил, что дети — непременная составная брака? По его разумению, Ленин и Крупская, стало быть, не были мужем и женой. А если люди в самом деле не успели родить ребенка? А если они не могут его родить? Скажем, если женщине запретили врачи? Логика во всей этой безобразной истории — ни крупницы, с начала и до неотвратимо надвигающегося конца. Я уже не говорю о таких вневедомственных категориях, как человечность, гуманизм. Хотя, впрочем, что же это я? Почему же «вневедомственных» — «наказание не имеет целью... унижение человеческого достоинства» (УК РСФСР, ст. 20 «Цели наказания»). Так как же насчет человеческого достоинства в этой ситуации? Советское уголовное право, криминология, исправительно-трудовое право, педагогика и психология «признают, что каждый правонарушитель при условии глубокого и всестороннего изучения его личности, определения для наиболее эффективных для данной личности приемов исправительно-трудового воздействия может быть исправлен» («Эффективность деятельности исправительно-трудовых учреждений». М., Изд-во юрид. лит., 1968 г.). Надо полагать, что для Гинзбурга нашли такой «наиболее эффективный при-

ем» — не давать свидания с женой. А почему бы не ускорить процесс исправления — запретить свидания с матерью? Тем более что это будет ох как гуманно по отношению к ней: она тяжело больна и ей трудно ездить на свидания. Читаете Вы это и небось мысленно обращаетесь ко мне: «Так ведь этот Гинзбург, ваш товарищ, наверно, на вас похож!» Терпеть не может делать и из рук вон плохо делает нелюбимую работу, отлынивает от нее, «заведется с пол-оборота» и лается с начальством, взысканий нахватал уже целый короб, как и вы... где уж относиться к нему нормально?» Так вот, непохож он на меня. Любую работу делает ловко и умело, ниже стопроцентной выработки у него еще ни разу не было; сдержан, безупречно вежлив и вполне «парламентарен» в выражениях, ни одного взыскания у него нет. И все начальство в один голос: «Поведение безукоризненное!» Ничего не помогает. А что же Гинзбург?

Он-то ведь не может бегать по заветным кабинетам и объяснять, как он любит Ирину. А он говорит просто: «Если они не дадут мне возможности увидеться с Ириной, я объявлю голодовку и не буду есть до тех пор, пока не получу свидания или не сойду». И улыбается. А улыбаться он умеет хорошо. И убедительно улыбается. И я верю его улыбке. А другой мой товарищ говорит: «А я к тебе присоединюсь, Алик». А Ирина пишет: «Пусть меня тоже тогда сажают, раз не дают встречаться» (а тем временем ее выгоняют с работы. И выгоняют как жену Гинзбурга, не пожелавшую почему-то одобрить приговор своему мужу!). А я? А я пишу Вам письмо, мой друг, и подробно отвечаю на вопрос о моей жизни, о друзьях и мыслях. Сейчас именно это — мои мысли, именно это — моя жизнь. Никакой другой жизнью мне сейчас не живется, ни о чем другом не думается. Я не вижу, чтобы кто-нибудь смог ответить на такой простой вопрос: «Кто в этой ситуации заинтересован? Алик? Ирина? Их родители или друзья? Лагерная администрация? Министерство внутренних дел? Комитет государственной безопасности? Закон? Государство? Все прогрессивное человечество?» На любое предположение мыслим лишь один ответ: «Нет». Что же в конце концов стоит на пути к единственно разумному и человечному решению вопроса? Я не знаю. И кажется, никто не знает. Может быть, то неопределенное и всепроникающее явление, которое зовут бюрократизм и которое Ленин определил как действия правильные формально и издевательские по существу? Я процитировал не дословно. Впрочем, это не так уж важно, потому что к тому, о чем я рассказал, приложима лишь вторая половина ленинской формулы.

Друг мой, простите за мрачное письмо. Когда-нибудь, если у меня появится возможность, я напишу Вам что-нибудь повеселее, а пока я лишь тоскую, жду надвигающихся событий. Очень это страшно, когда испытательный срок загсом длится 28 месяцев, а то, что человек его выдержал, подтверждается голодовкой... И кто знает, начнется ли цепная реакция — лагерь-то в основном политический. И совсем недавно, в этом месяце, мы были на грани коллективной голодовки — на этот раз, слава

Богу, обошлось благополучно... Как хотелось бы закончить словами любимого моего Пастернака:

Силу подлости и злобы  
Одолеет дух добра,

но признаюсь Вам честно: нет у меня той веры, что была у настоящих Поэтов и Мастеров. До свидания, постарайтесь не разлюбить меня за письмо.

*Ваш  
Юлий Даниэль*

1969 год, март



## Часть четвертая



# НЕ КОНЧЕНА ВОЙНА

# Из неоконченной книги

После освобождения меня довольно часто спрашивали: «А как там сейчас насчет рукоприкладства? Бьют? — И очень осторожно, с надеждой: — Вас били?»

Мне трудно ответить. Сказать «не били» — вроде не совсем правильно; сказать «били» — вроде преувеличение. Я лучше сначала расскажу, что произошло лет двадцать пять назад.

Мы жили в Армянском переулке, на углу Маросейки, в огромной коммунальной квартире. Было там пять семей, одна кухня, один сортир, никакой ванной и всеобщая доброжелательность.

Жила там и чудесная семья татар: муж с женой и трое детей. Как они ютились впятером в крохотной восьми- или десятиметровой комнате — рассказать невозможно. Но они жили там, и жили весело, дружно, почти без скандалов. Почти — потому что Соня (София), глава семьи, была левнива, вспыльчива, с горячим южным нравом и время от времени устраивала сцены своему мужу — кроткому работающему Володе. Впрочем, она была отходчива, и бурные вспышки сменялись таким же бурным раскаянием. Мы — все остальные — покровительствовали им; это в основном выражалось в том, что наши пожилые дамы — моя мать и две другие соседки — занимались с детьми Сони, кто — математикой, кто — русским языком, кто — иностранным. (По утрам, стряпая на кухне, дамы беседовали то по-французски, то по-немецки о Комеди Франсез, о концерте Святослава Рихтера, о последнем романе Ремарка...) Соня почитала Коран, который изредка, по праздникам, появлялся в квартире и вместе со своей паствой временно оккупировал нашу комнату; комната у нас была большая — семнадцать квадратных метров, да еще комнатка в три с половиной квадратных метра, с дверью и окном!

Была у Сони еще взрослая дочь Ася от первого брака, замужня, жившая недалеко от нас.

И вот однажды эта самая Ася позвонила по телефону и, рыдая, сообщила матери, что ее избил муж. Все это Соня, повесив трубку, довольно спокойно поведала квартирной общественности. Наши интеллигентные дамы взвились: «Соня, как ты можешь?.. Ты же мать!.. Это же ужасно!.. Ты должна защитить Асю...» — и т. д. Соне много не нужно было: она, как всегда, завелась с пол-оборота, сердце ее пронзила жажда скорой и

справедливой расправы, она накинула платок и побежала уничтожать злодея-зятя.

Вернулась она через час, умиротворенная, благостная, во всем разобравшаяся, и поспешила успокоить взволнованных дам:

— Он его (т. е. — ее, Асю. — Ю. Д.) сапсем не бил. Он его один раз ногом живот стукнул...

Летом 67-го года я в очередной раз загремел в карцер. Это было очень сырое лето, кругом много болот, комары носились тучами, ели поедом, и я доходил до истерики, проклиная комаров, Мордовию, свой приговор и почему-то лагерную администрацию. И только крем «Тайга» хоть немного, но все же помогал отпугивать этих кровопийц. Стекла в окне камеры были по летнему времени вынуты, комары не давали покоя ни днем, ни ночью; днем-то мы кое-как отмахивались, а вот ночью... Закутаешь лицо и руки ватником — через полминуты обольешься потом, дышать нечем, раскроешься — комары снова атакуют. И так до бесконечности. Но когда ты намазан «Тайгой», то они хоть не все, а через одного кусают.

Уже дважды надзиратели говорили мне: «Крем — не положен в шизо». Я тупо возражал: «Покажите инструкцию». Инструкции, конечно, не было. Разумеется, я плутовал: разве можно перечислить все, чего *не должно* быть в карцере? Но на «наших» надзирателей и офицеров это почему-то действовало. Тем не менее, выходя из камеры во двор на оправку и умывание, я на всякий случай прихватывал «Тайгу», чтобы не забрали в мое отсутствие.

В этот день дежурным офицером был некто Такташев, молоденький, очень хорошенький лейтенантик из соседней женской зоны. Когда мы вернулись со двора, мне скомандовали: «Даниэль, в дежурку!» Я зашел в комнату дежурного; там стоял Такташев, следом вошли еще трое надзирателей.

— Сдайте крем.

Я завел обычную вольнку об инструкции.

— Сдайте крем.

— Не сдам.

— Отберем.

— Попробуйте.

— Обыщите его и отберите, — сказал Такташев.

Тут со мной произошло нечто странное. Я вскочил на стол (с места, без разбега!) и заорал:

— Только подойди — морду сапогом разобью!

А сапоги у меня были свои, не лагерные, яловые, на трехслойной, в два пальца шириной подошве! Надзиратели остановились.

— Да ты что, Даниэль, — произнес один из них укоризненно, — не положен тебе крем.

— Морду разобью, — повторил я убежденно.

— Отберите крем, — сказал Такташев.

Надзиратели не шелохнулись. Скрутили б, но, пока я занимал господствующие высоты, я успел бы врезать сапогом по физиономии. Оно конечно, служба службой, но рожа-то не казенная, жалко все-таки.

— Слезайте, Даниэль,— сказал лейтенант.

— Не слезу.

— Слезайте, не тронем мы вашего крема.

Я слез, дурак, и в тот же миг восемь рук схватили меня, подняли и бросили, плашмя, мордой об пол. И, по-моему, я еще не успел приложиться щекой о шершавые доски пола, как на руках у меня защелкнулись наручники. Чуть ли не в полете, ей-богу!

Тут же меня обшарили, отобрали крем, подняли и запихнули в рабочую камеру, отделили от остальных зеков. Что именно я произносил при этом, какие слова рычал — я воспроизвести не берусь. Я высказывался «в беспамятстве почти молитвенном», по выражению Пастернака. А если бы я тогда знал замечательную повесть «Москва — Петушки», я бы не сомневался, что ангелы говорят мне: «Фи, Юлий!»

Сине-багровая ссадина на скуле держалась с неделю, не меньше, приводя в уныние лагерных оптимистов.

Ну, так как? Били меня или не били? С одной стороны, с другой стороны... Вернее всего сказать так: «Один раз ногом живот стукнули...»

Нет, я не видел битья. Мучительство — видел. Был у нас такой старший лейтенант Кишка. Все называли его с ударением на последнем слоге, а между тем он был всего-навсего Кйшка, то есть «кошка» в переводе с украинского. Вполне приличная фамилия. Но так уж как стал в России, так и остался Кишкой для начальства, для коллег и уж конечно для зеков. Он был тихоголосый, наш Кишка, никогда не шумел, не выходил из себя. Ни когда накладывал взыскание, ни когда занимался физзарядкой со стариками-инвалидами: «Костылики положите на землю. Делай: раз-два!...» Он не повысил голоса и тогда, когда легонько, не напрягаясь, поворачивал и двигал кисти рук заключенного, на которых были надеты наручники. А наручники — у нас говорили, что они устроены по американскому образцу, спасибо Соединенным Штатам,— наручники при каждом движении автоматически сжимались, браслеты впивались в тело. А Кишка говорил вполголоса, обращаясь на «вы», о том, что нельзя нарушать установленный порядок, что карцерный режим надо выполнять, иначе могут быть неприятности. Он забыл закрыть дверь в дежурку, наш вежливый, наш тихий Кишка, и мы с товарищем видели и слышали эту сцену через коридор, в окошко рабочей камеры...

Драки среди заключенных, тем более избивание, были редкостью в лагере, все-таки политзаключенные, не шпана уголовная, не «гоп-стоп» какой-нибудь. Впрочем, не само избивание, а результат его я однажды видел.

На 11-м, в Явасе, был, само собой, шизо, а при шизо был дневальный из зеков, литовец Палаускас, здоровый такой мужик лет 45—50. Быть

дневальным при шизо — это само по себе позор, но Палаускас к тому же был сволочью. Прозевают, бывало, надзиратели при обыске курево или еду («подогрев», по-лагерному), а Палаускас укажет. И не то чтобы втихаря настучит, а тут же, в наглуую, открыто, да еще и ухмыляется. Терпение лопнуло, и какие-то зеки, отсидевшие свой карцерный срок, пришли к литовцам и сказали: «Вы, ребята, как хотите, а Палаускаса вашего мы отметелим. Он, гад, падло, сука, и мы ему сделаем тёмную». — «Ни в коем случае, — ответили литовцы, — вы сами сказали, что он наш, значит, это наше дело. И пальцем не смейте тронуть». С тем ходюки и ушли, разочарованные.

Я видел Палаускаса через несколько дней после этого разговора. У нас в лагере кого только не было! И славяне, и евреи, и кавказцы, и азиаты, и прибалты, и немцы — от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Разве что негры у нас не сидели. Так вот, Палаускас после беседы с земляками вполне мог выступить от имени черного большинства Родезии. Лицо его было черно-фиолетовое, а на черном проступал узор — охра и сурик, вроде боевой раскраски североамериканских индейцев... Тут ничего удивительного: литовцы больше других прибалтов склонны к декоративно-прикладному искусству.



Если тебя вызывают на вахту — это значит жди неприятностей. Либо в карцер отведут, либо еще какая-нибудь пакость. Исключение может быть только одно: через вахту идешь на свидание. Но об этом всегда известно заранее. Меня вызвали на вахту неожиданно. Я отправился туда без всякого энтузиазма, и, разумеется, мои дурные предчувствия оправдались. Правда, в карцер меня на этот раз не посадили и даже не «лишили ларьком». «Лишить ларьком» или «лишить свиданием» — это начальственные формулы, возникшие в результате склонности к лаконизму, это 50% экономии для выражения «лишить права пользования ларьком» или «...свиданием». Начальству, вконец измученному стремлением к идеалу, приходилось довольно часто прибегать к спасительной скороговорке, и оно, естественно, старалось сберець секунды.

Так вот, меня ожидало нечто необычное. Войдя, я увидел нескольких надзирателей и во главе их — Режима. Мы ведь тоже были склонны к краткости, правда, по другим соображениям: когда приближалась опасность, проще и выгоднее было шепнуть «Режим!», чем произносить: «Заместитель начальника лагеря по режиму». Режим, он же капитан Кулагин, обладал внешностью и повадками эсэсовского офицера из плохих послевоенных фильмов. Я часто думал, почему он и многие другие лагерные офицеры были точными сколками с этих киногероев. Потом догадался: ведь наши обаятельные контрразведчики со студии

им. М. Горького никогда не выступали в роли тюремщиков! А Кулагину, Кишке, Рыбчинскому и прочим непременно нужен был образец — «делать жизнь с кого»; вот им и пришлось брать манеры из сходных ситуаций. Конечно, они вряд ли осознавали это, все происходило само собой, инстинктивно.

Кроме Режима, надзирателей и меня в комнате был еще некто, и я сразу устался на него.

— Это ваш портрет? — спросил офицер.

Да, это был мой портрет, не очень умелый, но очень похожий. Небольшое полотно, примерно 60×40, в коричневых, серых, зеленых тонах. Его написал мой приятель, лагерный художник, самоучка. Он был страстно влюблен в живопись и за многие годы неволи прошел путь от копирования цветных открыток до вполне приличных портретов. И то сказать: в лагере все время были и профессиональные художники, и искусствоведы, и просто знатоки и любители живописи — ему было с кем общаться и у кого набираться ума-разума. Он был официальным лагерным художником, т. е. писал плакаты, лозунги, делал транспаранты. Работа малопочетная, но лагерная «общественность» относилась к этому, снисходительно: все понимали, что у живописца нет другой возможности дорваться до красок, кистей, холста...

А писать красками «вольную» тематику было запрещено, а «лагерную» вообще ничем не разрешалось. Но портреты занимали какое-то промежуточное положение: карандашом можно, красками — нельзя.

И вот перед нами стоял портрет, писанный красками, натянутый на подрамник, портрет, спрятанный в каптерке среди старых вещей и все-таки найденный надзирателями во время очередного обыска. А может быть, кто-то стукнул.

— Это ваш портрет? — спросил офицер.

— Изображен на нем я, — ответил я дипломатично.

— Имущество ваше?

— Нет.

— А чье?

— Это вам лучше знать — у кого отобрали.

Офицер задумался. Мысль, что портрет может быть собственностью не того, кто на нем изображен, доходила до него с трудом.

— Но нарисованы на нем вы?

— Я.

— Ну, значит, это ваш портрет. Дай нож, — сказал он надзирателю. Тот протянул ему складной нож. Капитан раскрыл его и протянул мне. — Вы и уничтожьте его.

— Я не фашист — резать картины, — ответил я. Конечно, я покривил душой: фашисты, насколько я знаю, предпочитали присваивать картины, а не уничтожать. Но мне очень хотелось оскорбить его. Пустые хлопоты: он и бровью не повел. За годы службы он и не то слышал. А теперь я и не

уверен, что сравнение с фашистом вообще могло его оскорбить. То есть формально он, советский офицер, наверняка член партии, должен был возмутиться, но по существу...

— Ладно, режь ты,— он вернул нож надзирателю. Тот, не торопясь, резанул по холсту. Я невольно сделал движение к нему, дернулся, как от боли. В то же мгновение меня схватили с двух сторон.

— Спокойно,— сказал Кулагин.

Я уже стоял спокойно и смотрел, как режут мое лицо. Это было очень странное ощущение. Надзиратель вырезал равнобедренный треугольник — часть носа и рот, но не дорезал до конца, и треугольник повис на волокнах, перевернувшись основанием кверху; хорошо знакомые мне губы поменялись местами.

Он продолжал полосовать — почему-то нижнюю часть портрета: челюсти, шею, воротник, шарф. Иногда он даже останавливался, примериваясь, как будто имел дело не с куском раскрашенного холста, а с живым человеком. Дольше всего оставались глаза, и мы смотрели друг на друга пристально. Наконец, палач провел твердую горизонталь и ослепил меня.

— Подпишите акт об уничтожении,— сказал капитан.

— Ничего я подписывать не буду.

— Обойдемся. Ты подпиши и ты.

Надзиратели подписались.

— Можете идти. Если еще раз будет такое — накажем.

Я ушел.

«Такое» было еще раз. До сих пор я не знаю, как, какими путями, холст, свернутый в трубку, прошел все обыски, все осмотры, как он, миновав руки и ножи надзирателей, выбрался за колючую проволоку. Это сделали мои друзья, и сейчас портрет сумрачно и настойчиво смотрит на меня со стены моего жилища:

«Помни о моем старшем брате, погибшем в 1966 году в мордовских лагерях».



За ночь похолодало. Но утренние заморозки в начале апреля — дело обычное, и мы, ругаясь скорее для порядку, чем всерьез, накинули на плечи ватники. Надевать их как следует, в рукава, застегиваться — не имело смысла: не пройдет и получаса, как потеплеет, а до столовки и так можно добежать. Мы сидели за столом, нехотя ели свой рыбный суп и пересмеивались. Мы придумывали, что может сказать Ян, когда начальник снова вызовет его. Дело в том, что Ян, как только с ним заговаривало начальство, мгновенно забывал все русские слова. Приходилось звать переводчика, и тогда происходил такой разговор:

Нач. (по-русски): Спросите у него, почему он не выполняет норму?

Пер. (по-латышски): Ян, этот хрен спрашивает, почему ты не выполняешь норму.

Ян (по-латышски): Скажи ему: пусть бьется жопой об землю.

Пер.: Он говорит, что ему нездоровится.

Нач.: Мы его накажем.

Пер.: Он грозит тебе, что накажет.

Ян: Скажи: пусть бьется жопой об землю.

Пер.: Он говорит, что питание плохое.

Нач.: Отправим в шизо.

Пер.: Обещает тебе карцер.

Ян: Пусть бьется жопой об землю...

И так до бесконечности. Мы пеняли Яну, что он однообразен; Ян утверждал, что на этого гада хватит и одной латышской фразы. «Он же тебя засечет — расчихает, что ты одни и те же слова говоришь». — «А я говорю то медленней, то быстрее. И вообще он дурак».

Мы вышли на развод. Теплей не стало. Как всегда, кто-то путался в «пятерках», надзиратели сбивались со счета, время тянулось, я надел ватник в рукава и застегнулся.



Если бы я делал фильм о своей жизни в заключении, я бы начал его с одного эпизода. Это случилось месяца через три или четыре после того, как меня привезли в лагерь. После рабочего дня, прямо с вахты меня забрали в шизо, т. е. в штрафной изолятор, а говоря попросту — в карцер. Сунули в камеру, отомкнули койку. На другой день, после оправки и так называемого завтрака, я сидел на тумбе, заменявшей стул, и размышлял, чем бы заняться — точнее, о чем бы думать, потому что заниматься было решительно нечем. Зверски хотелось курить, а все курево отобрали — в шизо «не положено». И вдруг я услышал:

— Четвертая камера! Эй, четвертая камера, мать-перемать, давай на окно! Четвертая! Эй, письменник!

«Письменник» — это, должно быть, я. И впрямь, когда меня вчера привели, над дверью я увидел номер — «4».

Цепляясь за койку, поднятую к стене и запертую на здоровенный амбарный замок, я поднялся к окну:

— В чем дело?

— Ты что ж, трам-там-там, не отзываешься? Ты, что ли, письменник?

— Ну, я.

— Держи коня!

Коня? Он с ума сошел?



— Какого коня?

— Тыфу ты, трам-там-там, откуда тебя прислали, деревню серую, трам-там-там, коня не знает, туда тебя и не туда! Руку, руку высунь в окно!

Я просунул руку сквозь решетку — ячейки были довольно широкие. Мимо что-то мелькнуло. Новый залп мата.

— Дальше высовывай, дальше! Сколько можешь!

Я высунул руку по плечо, и через мое запястье перекинулась нитка с грузиком.

— Тяни! Только легче, не порви, раздолбай!

Я выбрал нитку, к ней была привязана тонкая веревочка, на веревочке — пакет. Я развернул. Господи! Пакет был свернут из тетрадных листков, а в нем — карандаш, заботливо зачиненный с обеих сторон.

— Эй, письменник, трави коня назад. Сейчас махорки пришлем.

— Спасибо, друг!

— А иди ты со своим «спасибо» к такой и разэтакой! Пиши!

Пришла махорка, газетная бумага, сложенная гармошкой, спички и тёрка. Я курил и писал.

Я представляю себе кадры: стена, ряд зарешеченных окон, из одного — молитвенно протянутая ладонь, из другого — рука, ловким движением от локтя швыряющая «коня» — тюремное изобретение, арестантскую выдумку, и вот — ползет на бечевке пакетик — бумага и карандаш, хлеб мой насущный. Значит, «письменник» — это для них всерьез? Сами, без моей просьбы, раньше махорки и хлеба — бумагу и карандаш: пиши!

Этим карандашом на этой бумаге я написал четыре стихотворения. Потом, уже в зоне, я еще писал стихи. Вместе с тюремным циклом они составили книжку, ее опубликовали, перевели на другие языки.

Отработал ли я этот карцерный подарок? Никто с меня ничего не спрашивает. Я так и не узнал, кто, какой сосед по шизо прислал мне тогда мои орудия производства. Я уже много лет на свободе, и он не явится, не скажет: «Что ж ты, так тебя и не так, долги не платишь?» Коллеги деликатно помалкивают. Если речь идет только о лагерных долгах, то я, пожалуй, отработал. Но это ли имел в виду мой карцерный благодетель? Пиши, мол, о лагере, о зеках, о баланде, о том, как нам тяжело и скверно. Да нет, наверное, не так. Он крикнул мне: «Пиши!», как крикнул бы: «Ешь!» или: «Пей!», простодушно полагая, что писателю не писать невозможно — еще помрет, не дай Бог. Он не указывал мне ни темы, ни жанра, и я вправе выбирать их сам.

Наверное, эту книгу вернее всего можно определить как воспоминания. Сейчас очень много пишется и издается воспоминаний, и я невольно оказываюсь в когорте мемуаристов, авторов модного жанра. Но ведь любая мода, в том числе и литературная, — не прихоть, не каприз,

она возникает потому, что пришло ее время, ее ждут: и художники, актеры, модельеры, писатели чувствуют это ожидание и отвечают на него.

А у меня к тому же есть и особая причина избрать этот жанр.

Дело в том, что я, наверное, родился под счастливой звездой: мне очень везет в жизни. У меня были прекрасные родители — добрые, веселые, талантливые. Я был на войне и остался жив. Я с детства хотел стать литератором — и стал им. Заключение, кажется, не испортило мне характер, не изломало, не озлобило. Женщины, которых я любил, любили меня, и о каждой я думаю с нежностью и благодарностью. И особенно удачлив я был в общении. Пестрая моя судьба послала мне столько замечательных людей, что их хватило бы на сотню таких, как я. Это не значит, что все они были моими друзьями или приятелями; но разве и простое знакомство с уникальными людьми, с их удивительными рассказами — не подарок? Да и в собственной моей жизни было много такого, о чем стоит вспомнить, а может, и подумать. Это тоже подарок свыше.

Подарки надо отдаривать. Для этого у меня есть единственная возможность — написать об этих встречах, об этих людях, об этих происшествиях. А если вдруг мне захочется пофантазировать, я сложу пальцы крестом, вот так: X — предупрежу читателя: «Внимание! То, что вы сейчас прочтете, я выдумал».



Лет десять назад я написал цикл стихов о лагере. Там есть детали быта, реалии; нельзя сказать, чтобы я в чем-нибудь соврал, нафантазировал. Но, как во всякой стихотворной публицистике, там нет людей — есть лишь некая масса, объединенная общими страданиями, общими условиями, общим обликом. Это правда, но правда не вся и не главная. Главная правда нынешнего политического лагеря — это удивительное разнообразие собранных там людей, то, что лагерь — это собрание индивидуальностей. Уместнее всего было бы вспомнить витраж, где целая картина складывается из стеклышек, разных по форме и цвету.

Книга Анатолия Марченко «Мои показания» — честная книга. В ней, насколько я могу судить, нет ни одной фактической неточности. Может быть, отношение Марченко к институту лагеря и тюрьмы гуманней, человечней, чем мое: он пишет о положении арестанта вообще, независимо от того, за что этот арестант отбывает заключение. Похоже, что это реликтовое явление той исчезнувшей, стертой XX веком прекрасной русской традиции — жалеть арестанта, «несчастенького». Недаром когда-то люди давали арестантам еду и деньги — равным образом и для облегчения их страданий, и во спасение своей души. Обе эти цели объединились емкой формулой — «Христа ради».

Я не собираюсь спорить с Марченко. Просто мои интересы уже, ограниченной, чем его. Конечно, мне тоже было тяжело смотреть, как страдает вор, убийца или насильник; но он не интересен мне как личность, — ну, так же примерно, как неинтересны мне гельминтология или астроботаника (что не мешает мне, разумеется, с полным уважением относиться к ученым, избравшим эти области). Меня интересуют те люди, причиной страдания которых было сострадание.

Речь не о том, правы они или не правы. Может, да, может, нет. Может, в чем-то правы, в чем-то не правы. Это могло бы стать предметом политического или научного спора — но только не судебной расправы. Таково мое глубочайшее убеждение, и в защиту его я не стану приводить соображения юридического характера. Это делали и делают те, кто более меня чуток к таким явлениям, как государство и право.

В основе так называемого «преступления» людей, о которых я хочу немного рассказать, о которых не перестает болеть сердце, лежит страдание, боль, горе. Это может быть боль о турецких армянах, об украинской культуре, о литовской самостоятельности, о татарском изгнании. Это может быть горе по поводу разрушенной церкви. Это может быть страдание от вынужденной немоты, от запрета на недоумение и несогласие.

Говорят, что несколькими годами раньше режим был посвободней, было полегче со свиданиями, с посылками, с работой. Наверное, так оно и было; но я точно знаю, в чем преимущество моего времени. Если так называемая «дружба народов» вообще возможна, то максимальное приближение к этому состоянию я наблюдал и испытывал с весны 1966-го по осень 1969-го — мое лагерное время. Я говорю только о лагерном времени, начало и конец моей арестантской карьеры пришлось на Лубянку, Лефортово и Владимирскую тюрьму.

Должен сразу оговориться: мои отношения с «иноплеменными» складывались по-особому: легче и душевнее, чем у многих других. Это не значит, что у других россияне не было товарищеских или дружеских связей с украинцами, прибалтами, кавказцами. Просто мои связи возникали проще и быстрее. Во-первых, для большинства я не был «таинственным незнакомцем» — меня достаточно отрекомендовала пресса; во-вторых, я был литератором, который не только по филологическому образованию, но и по работе своей, по переводческой практике был накоротке с культурой очень многих народов нашей «одной шестой».

Первое общение было, разумеется, с кавказцами. Ну кто же, как не кавказцы, раньше других скажет: «Заходи, дорогой, гостем будешь!» Вот меня и позвали, не этими, конечно, словами, а просто мой однобригадник и сосед грузин Антон Накашидзе подошел ко мне и сказал:

— Юлий, наши кавказцы зовут вас посидеть за кофе.

- Грузины?
- Не только грузины. Идемте, сами увидите.
- А это удобно? Ведь я их не знаю.
- Удобно, удобно. Они вас знают. Идем.

...Как будто я снова оказался в Тбилиси, или в Цхинвали, или в Грозном, или в Нальчике, или в Орджоникидзе. Смуглые лица, чеканные профили, подчеркнуто уважительные приветствия (не как-нибудь по-русски — сунул ладонь: привет, мол, присаживайся, — нет, руку тебе пожимают бережно, двумя руками сразу, наклоняя голову). Сначала вопросы о здоровье, о семье; потом, понемножку — о твоём «деле», о следствии, о суде. Вопрос первостепенный: «Как вели себя друзья?» Узнав, что друзья остались друзьями, радуются. Беседа идет чинно, как будто совершается некий церемониал, чуть-чуть, на один градус, на одно деление значительней, чем того требует предмет разговора. Благожелательность есть, а короткости покамест нет. А что, если...

Я аккуратно перевожу разговор на свою доарестную работу, говорю о поездках на Кавказ — но не о курортных красотах, не о вине и шашлыках — нет. Я цитирую Руставели и Саят-Нову, Низами и Хетагурова, поминаю Пиросмани, Сарьяна и часовни, посвященные Частерджи — святому Георгию... О, как все меняется! Они оттаивают, они смеются, радуются, что я их знаю и люблю. Я ведь не лукавлю — я действительно люблю эту головокружительную поэзию!

Сейчас, когда столько близких мне людей оказалось в своей добровольно-принудительной эмиграции, мне легко представить, как они (или я?) могут обрадоваться, встретив где-нибудь в Барселоне какого-нибудь беженца, ну, допустим, из Ирландии, вдруг знающего наизусть стихи Самойлова или Окуджавы...

Так я нашел пароль: «Сезам, откройся!» — и потом вволю, с неизменным успехом пользовался этим.

О двух кавказцах хочется мне сказать. Нет, помню я всех или почти всех: и Али Хошагулькова, молодого ингушского поэта; и братьев Кабалия; и рыжего поэта Хачика Сафаряна, и пожилого осетина, поразившего меня верностью адатам, и хромого чечена Исса, и многих других. Я помню и того грузина, который как будто сошел с иллюстраций к поэмам Важа Пшавелы. Я забыл его имя, хотя эпизод, с ним связанный, я не забуду никогда. Может быть, я еще расскажу о нем — в другой раз.

А сейчас об этих двух.

Антон Накашидзе был танцовщиком в кутаисском ансамбле и во время гастролей в Англии драпанул, воззвав к британскому гостеприимству. Сейчас такие пируэты стали обычной фигурой в советской хореографии, а тогда это было в новинку. Он выступал там с концертными бригадами от Би-би-си, мотался по Европе, и все было бы распрекрасно, если бы не грузинское чадолубие. Дочка осталась в Кутаиси, вот

в чем беда. И Антон дал себя уговорить, и вернулся, и полгода жил в своем городе, и его фотографировали на фоне фонтанов и вечно-зеленого кустарника для советской и зарубежной прессы. А потом его взяли. И припаяли десять лет. И пошли иные фузте в его творческой биографии.

Кстати, смех смехом, а профессия спасла ему жизнь. Он, как и я поначалу, работал в аварийной, то есть грузчицкой бригаде. И как-то во время разгрузки леса он вдруг увидел летящий на него по наклонным слегам огромный многопудовый «балан» — гигантское бревно, увидел в метре-полтора от себя. Он прыгнул назад, не оборачиваясь, спиной, прыгнул в проем между штабелями, рискуя разбить голову или раздробить хребет о торцы бревен, и в полете перевернулся, лицом вперед, и упал, как кошка, на четвереньки. Вот, поди ж, в какую передрыгу пришлось вмешаться кавказской Терпсихоре!

Антон был одним из тех троих, с которыми я сошелся на удивление быстро. Мы вместе ходили на работу, жили в одном углу барака, пили запретный чифир и дозволенный кофе и бесконечно много разговаривали с Антоном — и больше всего об искусстве. То, что театр, сцена, живопись, точнее живописность, были ему сродни — неудивительно: он все-таки был артистом; но как смело и свободно, с ходу, без подготовки, он стал разбираться в русской поэзии — это меня потрясло. Ведь все-таки русский язык, хоть он и говорил по-русски очень чисто и почти без акцента, не был ему родным.

А он взял у меня книгу такого сложнейшего поэта, как Марина Цветаева, и сразу же, с первого чтения, выделил и переписал себе несколько стихотворений — только шедевры.

Были в его характере легкость и податливость — качества, прелестные в общении, но опасные в экстремальных условиях: легко можно растерять критерии, покатиться вниз, слиться с теми, кто махнул на себя рукой...

Всем нам угрожала опасность спиться (благо спиртовой лак был под рукой), опуститься до уровня лагерного доходяги, утратить интерес ко всему, кроме жратвы и смутных мечтаний о «большой зоне». Антон был человек нервный и болезненно чуткий к любому давлению извне. А давление было всегда — мерное, однообразное, направленное на сглаживание, уничтожение индивидуальности. Бог знает, какие силы помешали Антону уступить этому давлению — может быть, его негибемый артистизм?

Так мы тогда и не перевели с ним дивные грузинские стихи — легенду о матери охотника и матери тигра... Десять лет я уже на свободе, а мы так и не встретились, не посидели за бутылкой вина. Ни в Грузии, ни в Москве... И хотя я знаю, что он, как и я, наверняка постарел и изменился; мне почему-то кажется, что здесь, на Кавказе, я увидел бы его не таким, как в Мордовии, — вечно усталым и грустным, а лихим,

задорным, с победительно вздернутым грузинским профилем — как на той молодой фотографии, которую он мне показал как-то в лагере.

Здесь, на Кавказе... Я пишу эти строки в Дагестане, на самом берегу Каспия, осеннего, холодного, и все равно прекрасного. Горы где-то там, далеко за спиной, от них нас отделяют степь, поля, виноградники, а прямо над нами, над узкой приморской полосой — известняковые холмы, похожие на разрушенные крепостные башни. Странная страна Дагестан, непонятная, неожиданная. Я сейчас, через сто лет, шкурой чувствую недоумение, озлобленность, покорность, оторопь русского солдата, бредущего по этим крутым пыльным дорогам, среди этой до остервенения чужой природы, волокущего на себе громоздкий воинский скарб. «Угоняют нас от вас на погибельный Кавказ...» Зачем? «Шамиля воевать...» Зачем? «Бунтуется...» А-а...

Только один раз я сприкоснулся с дагестанской поэзией: переводил стихи Етима Эмина, лезгинского поэта; он оплакал беду, разорение, гибель, проклял поступь империи и скорбно помянул Хаджи-Мурата, не зная о том, что его земляк навеки прославлен русским офицером.

Впервые я попал в Дагестан совсем недавно; может быть, поэтому я так мало говорил о нем в лагере с Нажмутдином Юсуповым, или Николаем, Колей Юсуповым, как его называли там. Это был самый сильный человек, которого я близко знал за всю свою жизнь, гигант, богатырь. Огромный, широкоплечий, ловкий и подвижный, он с одинаковой легкостью поднимал неимоверные тяжести и бегал по баскетбольной площадке. Как-то он вдвоем с одним литовцем разгрузил вагон угля — на эту работу наряжались 16 человек, по одному на люк, — и разгрузили они вагон примерно за то же время, что и полная команда. Когда его перевели на цеховую разгрузку-погрузку, он, по незнанию дела, начал было один ставить на тележку серванты, требовавшие четырех грузчиков... Как-то начальство, по недосмотру ли или решив пошутить, назначило меня ему в напарники — сбрасывать гравий с железнодорожной платформы. «Ты покури, — сказал мне Коля, — я сам управлюсь». — «Что ты, — ответил я обиженно, — как можно? Ты будешь работать, а я сидеть?!» И я, вооружившись совковой лопатой, полез на платформу. Я стоял спиной к нему, набирал полную лопату гравия, тащил ее к краю платформы и сбрасывал вниз. Через 20—30 лопат я выдохся и, остановившись, обернулся. Третью платформы была уже очищена, а Коля, погружая лопату до самого дна, шел, как бульдозер, поперек платформы. Минут через двадцать я отдышался, но все уже было кончено...

Он был всегда сдержан, спокоен, благожелателен, впрочем, я не думаю, что кто-нибудь осмелился раздражить его или оскорбить.

Только познакомившись с Юсуповым, я понял, как фальшивы все наши удивления и восторги по поводу знаменитых кавказцев и азиатов. «Ах, простой горец, неграмотный, необразованный — представьте себе,

сочиняет из-зумительные стихи! Ах, ашуги! Ах, акыны!» Да, он неграмотен: он не умеет читать и писать по-русски. Он читает и пишет по-арабски. Да, у него нет образования — европейского. За его плечами всего лишь великая культура Ближнего и Среднего Востока.

Наши восторги — не что иное, как невежество и высокомерие...

Юсупов не был ашугом, и читать-писать по-русски он, конечно, умел; но главные корни его знаний уходили в глубь культуры ислама — я разумею светскую культуру, хотя не уверен, что ее всегда можно отделить от религии. Сам же он на вопрос: «Коля, ты в Аллаха веришь?» — обычно отвечал любопытствующим: «Я верю в мою маму. А она верит в Аллаха...» О, это не просто отговорка, это очень многозначительная формула для советского мусульманина.

И вот сейчас, здесь, когда я вспоминаю этого красивого, по-настоящему интеллигентного человека, мне хочется позвать: «Эй, люди! Где же ваш и мой земляк, Нажмутдин Юсупов? Счастлив ли он? Благополучен ли? Эй, аварцы!»

...Лето 1966 года. Воскресенье. Под навесом, за столом летней столовой мы сидим чинно и торжественно. Нас человек сорок, не меньше. На столе разложены книги, журналы, газеты. Вокруг мечутся надзиратели. Они понимают, что происходит что-то непредусмотренное, что-то оскорбительно нарушающее идею лагеря. Но придаться не к чему: литература на столе — советских изданий, чифира нет, шума тоже, говорят по очереди о чем-то непонятном. Вспотев от злости и недоумения, они слушают. А есть что послушать!

Мы справляем день рождения Райниса. Доклад: «Жизнь и творчество Яна Райниса». Доклад: «Ян Райнис и европейская литература». Звучат стихи Райниса на латышском языке. На литовском, на эстонском, на русском, украинском, грузинском, армянском, ингушском, финском, немецком, туркменском. Какие-то переводы читаются по книжкам, некоторые стихи переведены специально для этого дня. По рукам ходят оттиски гравюры — портрет Яна Райниса, сделанный здесь, в лагере. Мы расписываемся на обороте, прячем на память эти листки плотной бумаги. (Он сохранился у меня, этот бумажный прямоугольник с профилем поэта и множеством разноязычных подписей на другой стороне.) Менты пьют кипятком. Один вскакивает и — почему-то мне, шепотом: «Вы еще за это ответите!» Меня отчего-то считают «возмутителем спокойствия» (по злорадному определению моего друга Леонида Ренделя). Но на этот раз я, ей-богу, ни при чем. Я — это я-то, писатель-то, письменник! — даже представить себе такое не мог. Ведь дело не только в демонстрации интернациональной солидарности арестантов (не без этого, конечно!), а в том, что собрались разноплеменные любители поэзии, и Ян Райнис — не повод, а причина нашего сборища.

Разумеется, делились не только национальными ценностями. Валерий Ронкин прочел как-то лекцию по истории утопических учений;

Вячеслав Платонов — лекцию по эфиопской этнографии. Но в основном каждый все-таки просвещал других по части своей страны. Я помню рассказы Энна Тарто об эстонском фольклоре, Виктора Калниньша — о латышской литературе, Юрия Шухевича — о национальном движении на Украине.

Да, так вот славно латыши отметили день своего поэта. Вообще, надо сказать, они были самым дружным, самым спаянным и самым горластым землячеством. И то сказать — именно латыши были представлены в основном молодежи. «Стариков» среди них было сравнительно мало, не то что у литовцев и украинцев. Они были как на подбор, рослые, веселые, компанейские ребята, мастера на злой розыгрыш начальства, не дураки выпить, отличные спортсмены. Ах, боже мой, как я залюбовался этими арестантами, когда впервые увидел их на баскетбольной площадке не в лагерной робе, не в тяжелых башмаках и дурацких шапчонках — нет, в трусах и майках, стройных, поджарых, мускулистых! Как прекрасно смотрелись рядом с ними надзиратели — нескладные, мешковатые, тощие, обрюзгшие! Уныние, чуть ли не зависть, было на физиономиях тюремщиков: вот, мол, их посадили, заставили вкалывать, жрут свой позорный паек — и на тебе, играют! Мало их приморили, гадов! Ничего, вы еще дойдете! Что правда, то правда — запалу у молодых хватало на 3—4 года, потом они начинали сдавать, болеть, уставали...

В то же лето подошел ко мне маленького роста человек, худощавый, лет сорока, и начал разговор так, что я чуть не подпрыгнул от несоответствия этих оборотов обстановке. Он сказал:

— Здравствуйте. Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я обращаюсь к вам, не будучи представленным. К великому моему сожалению, у нас нет общих знакомых. Поэтому я осмелился...

— Что вы, что вы, — сказал я, невольно впадая в его тон. — Сделайте одолжение, весьма рад...

— Меня зовут Кестутис Иокубинас. Я, как вы, вероятно, уже догадались по имени, литовец. И я хотел бы пригласить вас выпить со мной кофе, если это, разумеется, не слишком отвлечет вас от ваших занятий.

— Благодарю вас, я совершенно свободен и с удовольствием принимаю ваше приглашение, — ответил я в самой светской из всех доступных мне манер.

Мы сидели на травке, в каком-то укромном закутке, над расстеленным платком. Конфетки, кофе, у каждого своя кружка: это тоже было необычно: кофе и чифир пили обычно из одной посуды, передавая друг другу, вкруговую; дело было не в нехватке посуды, скорее всего у этой «круговой чаши» было ритуальное, обрядовое значение. Но для Кестутиса хороший тон был превыше всяких ритуалов.

Мы беседовали, и он, наконец, изложил мне свою просьбу. Перед



этим он многократно заверил меня, что просьба эта — отнюдь не причина, а, скорее, предлог для знакомства.

— Если вы будете так любезны, я бы попросил вас не счесть за труд и написать своим друзьям в Москву, чтобы они — разумеется, если это не будет им в тягость, — попробовали бы достать, — это, конечно, не обязательно, но, может быть, у них найдется время — достать какую-нибудь литературу на суахили. Конечно, если это хоть сколько-нибудь затруднительно...

Вытаращившись на него, я сообщил ему, что это не будет затруднительно, и проглотил вопрос, висевший у меня на кончике языка. А он, глазом не моргнув и ничем не показывая, что заметил мое замешательство, так же плавно продолжал:

— Дело в том, что из всех африканских наречий — суахили...

Глава тебе, Господи! Значит, суахили — это наречие. Но пялить глаза на него я все-таки не перестал. Вот как! Впору оглянуться вокруг; нет, все как надо — проволока, запретная полоса, вышки, бараки, мы явно не в институте Азии и Африки и не в ВОКСе, а ему, видите ли, позарез нужна литература на суахили.

Литовцы — вообще народ неожиданный. Я стоял за своим станком, когда возле меня появился высокий молодой парень и сказал:

— Выключите станок.

Я выключил.

— Идите за мной.

Так же послушно я пошел за ним. А он шел, прямой, деловитый, изредка строго оглядываясь на меня. «Должно быть, дневальный из штаба, к начальству вызывает, — думал я. — Почему же, однако, мы плутаем здесь, между цехами?» В самом деле, что-то несусветное: кахие-то узкие проходы, повороты, зашли в чужой цех, закоулок, другой, кладовка... Тут он остановился, повернулся ко мне и спросил, улыбаясь во всю физиономию:

— Выпить хотите?

— Разумеется, — ответил я растерянно.

Он налил мне из банки в кружку неплохо очищенного лака. Я выпил, передернулся, закусил хлебом, который он мне заботливо подсунул, и вопросительно посмотрел на него. Он, продолжая улыбаться, сказал:

— Дело в том, что мне очень хотелось вас угостить, и я решил обойтись без предварительных переговоров. Вы бы еще отказываться стали...

— Я, — сказал я с достоинством, — от выпивки никогда не отказываюсь. Но этак вот можно напугать до полусмерти. Я ведь все-таки человек здесь новый.

— Ничего, теперь будете знать: как только захотите выпить — приходите. У меня всегда есть запас...

Он — Ромас Эдриявичус — был раньше студентом МИМО. Наверное, это там учат изящным манерам и обходительности. Про него рассказывали, что в каком-то другом лагере он попал под начало бригадиру («бугру») из уголовников. Тот как-то прикрыл Ромаса матом. Ромас положил инструмент на землю возле себя, сел на бревно и сказал:

— Говорите, я слушаю.

«Бугор» сначала замолчал, обалдевши, а потом захлебнулся руганью.

— Говорите, говорите, друг мой. Скажите все, что у вас на душе. Не стесняйтесь, я слушаю очень внимательно.

«Бугор» нерешительно выругался еще раз, потом попятился, плюнул и ушел, деморализованный.

И если уж вспоминать об анекдотических ситуациях, то как не сказать о Владасе Шакалесе?

Я не ошибусь, если скажу, что у него был самый рваный ватник на 11-м лаготделении в Явасе. Он — что для прибалта редкость — не только был, но и выглядел лентяем. Разболтанностью походки и полным пренебрежением к одежде с ним мог конкурировать только Эдуард Кузнецов. И так же, как в Эдике Кузнецове, во Владасе вибрировала постоянная, неукротимая воля к сопротивлению. Только проявлялась она у него весьма своеобразно.

За все его художества Владаса поволокли на так называемый лагерный суд. Там ему предъявили всякие-разные обвинения. Владас без особого интереса выслушал; опровергать ничего не стал, сделал лишь одно заявление и получил приговор в зубы: «Владимир до конца срока». И его увезли.

Прошло около месяца. И вдруг я, зайдя в столовую, увидел знакомую телогрейку с торчащими отовсюду клочьями ваты!

— Владас, это вы?

— Я.

— Какого черта! Вас же увезли во Владимир, почему вы здесь?

— А меня на пересуд привезли,— Владас радостно оскалится в полном соответствии со своей фамилией.

— Почему?

— А я написал заявление верховному прокурору, что был нарушен процессуальный кодекс.

— Как нарушен?

— А я требовал переводчика. Я ведь литовец, мне нужен переводчик. А мне не дали переводчика. Я написал жалобу, и пришло распоряжение везти обратно и судить заново, с переводчиком, чтобы я все понимал<sup>1</sup>.

— Ну, Владас... Таких нахалов, как вы... За каким дьяволом вам все это понадобилось?

---

<sup>1</sup> Все это Владас изложил мне, как всегда, на безукоризненном русском языке, без тени иноязычия. И речь его была красивой, непринужденной — дай Бог московским юристам!

— Ну, как же: ехал туда, ехал обратно — все-таки развлечение. Здесь вот, в лагере, снова с друзьями повидался. Ну а потом — начальству-то за меня фитиль вставили, тоже приятно.

Почему только лихие проделки, только неравное наше противостояние подсовывает память? Пещерную живопись, которой мы пытались расцветить тюремные и лагерные стены... Шутки шутками, а Владаса Шакалisa ожидала Владимирская тюрьма, с ее чудовищным бытом, голодной нормой, тоской и тем, что хуже одиночества,— принудительным соседством.



Это страшная тема. Приступать к ней трудно, тягостно и опасно — потому что «не по чину»: здесь нужен был психолог, философ, ученый. Ее, эту тему, как правило, обходят, опускают все мемуаристы, вспоминатели, бытописатели. Тема эта — оторванность от половой жизни, принудительное воздержание.

Все — в малом количестве и скверном качестве — предоставляет человеку заключение. Дом: вместо своей квартиры, комнаты, постели, есть все-таки барак, камера, койка; есть хоть плохие, но настоящие составляющие дома — стены, пол, потолок, тепло.

Еда: постная баланда, сырой хлеб, гнилые овощи — все это омерзительно, но это пища с ее изначальным назначением.

Одежда: бушлат, роба, башмаки, белье — они все же прикрывают наготу и как-то греют.

О духовной жизни и говорить нечего: отсутствие театра, свежей литературы, музыки, изобразительного искусства с лихвой возмещается мыслью, которая вдруг обретает остроту, силу, интенсивность. И питательную среду.

А как же с этим? С той областью, к которой человек никогда не привыкает, которая всегда потрясение, цель и стимул? Лишенный ее природой — урод, калека, недочеловек. Лишенный ее людьми — мученик.

...В умывалке цеха, во время перекура, сорокалетний мужик, обычно довольно сдержанный, как с цепи сорвался: со вкусом, со смаком описывает половой акт, напирая в особенности на звуковую сторону. Я, очевидно, поморщился, потому что он, глянув на меня, прервал свой гимн:

— Что, Даниэль, не нравится?

— Не нравится.

— А ты сколько времени с воли?

— Месяцев восемь.

— Ну, у тебя еще домашние пирожки во рту не прожеваны. Посидишь год-другой — не так еще запоешь...

Год-другой! А он сколько лет без женской близости?

А бывает и так.

В столовой (она жё — клуб) буянит парень лет двадцати семи. Он пьян, набрал лаку в рабочей зоне, чудом прошел вахту и теперь гуляет. Его раздражает (или восхищает) все, что попадает на глаза. Попался я.

— Писатель! А я тебя в цеху искал! Выпить с тобой хотел, Писатель!

— Иди в секцию, браток. Менты увидят — в шизо загремишь.

— Ты! Писатель! Как ты можешь со мной говорить?! Что ты понимаешь?! Ты баб, как куколок... а я за всю жизнь живой... не видел!

— Ни разу?

— Ни разу, ни грамма, бля буду! (Слезы.)

— Ну, брось, не реви, скоро выйдешь — все будет.

— Да, все будет! А чего я смогу? Кто до двадцати пяти не пробовал — у того на бабу стоять не будет.

— Брехня,— говорю я убежденно. И вдохновенно вру.— Я сам в первый раз в двадцать шесть начал.

— Забожись!..

Божусь. Он, размазывая слезы, бредет в барак.

Откуда эта цифра — 25? Может, по аналогии с 25-летним сроком. Литовец, обрусевший в лагерях, тянет последний год из 25. К нему приехала жена (года три не приезжала). После работы — на свиданье. Он уже чисто выбрился, надраил башмаки.

— Последний раз на казенной койке...

После свиданья — мрачный, как будто ларька лишили. Молчит. Потом не выдерживает, матерится — с акцентом, но грамотно.

— Ты что, Петрас?

— С бабой ничего не вышло. Разучился.

— Глупости, Петрас! Это — как велосипед: раз научился — никогда не разучишься. Просто приморили тебя. Да и волновался небось.

— Братушка, да как не волноваться? Жена ведь. Женщина.— И — с вопросительной интонацией: — Ей ведь тоже не сладко одной.

— Вернешься — все ладно будет...

Вечером, в курилке, с достоинством отшучивается, отвечая на нескромные подначки, многозначительно ухмыляется...

Гомосексуализм — не спасение. Даже активные педерасты (к которым «общественность» относится снисходительно) презируют пассивных, парии, отброс. Даже откровенным, «идейным», нет места рядом, нет доброго слова, глотка чаю. Одного такого «теоретика» я знал: здоровенный квадратный мужик, с грузчицкой мускулатурой, с бельмом. Кличка — «Маша с серьгами» (он носил в ухе серьгу). В шизо на тесном пяточке — деться некуда — он рядом со всеми. Сидит, бубнит, ни к кому не обращаясь:

— Бабы — что? Ни фигуры, ни формы... Как жидкое мыло,— текет. А у мужика все к делу, все одно к одному...

Скотоподобный Аденауэр (кличка) открыто онанирует над журналом «Работница», открыв его на разделе «Моды»...

Это уже свихнувшиеся, конченные. А остальные, если еще не пришла спасительная старость, страдают — кто молча, кто изживает себя в разговорах.

Боже, какие только легенды не ходят о находчивых смельчаках, умудрившихся в лагере или в тюрьме перехватить минутку близости с женщиной. Как гордо посматривают они вокруг, сами поверив в свою выдуманную доблесть! А на деле — всего лишь жалкий подвиг, о котором с ужасом и восторгом говорит мне 25-летний красавец латыш:

— Вы знаете, Юлий, что Т. сделал? Там по штабелю, сверху счетоводша проходила. Так он спрыгнул со штабеля вниз, в грязь, и пошел за нею, под юбку заглядывал! Трусики, говорит, у нее зеленые...

А на деле — ежедневные, еженощные фантазии на эту проклятую, эту вожденную тему! Перебираешь в памяти своих подруг — они все были прекрасны! Эротическая карусель в голове, мешанина из Брюсова и Ропса, туманные, но ослепительные картины будущего...

# Письмо к Шафаревичу

Русская мысль, № 3038, четверг,  
13 февраля 1975 года

9 января с. г. газета «Русская мысль» опубликовала интервью с И. Р. Шафаревичем. В интервью имеется специальный пассаж, глубоко меня возмущивший, — об эмиграции.

Оказывается, дело обстоит крайне просто: «лучшие представители нашей литературы, критики, музыки» (за одним исключением) уехали из своей страны *«добровольно»* — «просто не выдержали давления». Следовательно, выводит Шафаревич, «у них не оказалось достаточных духовных ценностей, которые могли бы перевесить угрозу испытаний». После такого убийственного доказательства окончательный приговор ясен: «Люди, лишённые этих ценностей, не могут внести никакого вклада в культуру, независимо от того, по какую сторону границы они находятся».

Все это говорится от имени оставшихся в России.

От имени оставшихся говорю и я: Шафаревич единым росчерком пера берется перечеркнуть судьбы и творчество художников, литераторов, философов и музыкантов. Это чудовишно.

Может быть, он не знает, что не всегда культура живет по тем временным законам, по которым живут политические режимы? Что в отдельные периоды национальная культура продолжается за пределами государства? Что отнюдь не каждый художник может творить в условиях, когда он, по определению Шафаревича, должен «переносить угрозу испытания»? Что разлученный со своей страной художник может работать на будущее, в будущем его творчество вернется на родину? На нашей памяти так случилось с Буниным, сейчас у нас издают его произведения, созданные в эмиграции. Вернулись на родину философы

---

**Со времени освобождения и до самого конца жизни Юлию Даниэлю постоянно приходилось отвечать на один и тот же вопрос: «Почему вы не уезжаете из этой страны!!» Ответ — всегда и во всех ситуациях — был один и тот же: «Не хочется».**

**В 1975 году французская русскоязычная газета «Русская мысль» опубликовала статью И. Шафаревича, гневно обличающую «третью волну» эмиграции.**

**Юлий Даниэль не мог не ответить Шафаревичу.**

ские труды Бердяева — его еще не издают, но читают. Вернулась музыка Рахманинова, оставшегося — кто будет с этим спорить? — русским композитором.

Полагать, как это делает Шафаревич, что человек культуры, творящий вне пределов родины, не представляет ценности для культуры родной страны (да и для мировой культуры), — невежество. Это значит забыть громадный исторический опыт культурной эмиграции хотя бы только XX века. Это значит грабить человечество, вычеркивая из культуры творчество Томаса Манна, Ярослава Мрожека, Марка Шагала.

Специфику сложного процесса формирования культуры И. Р. Шафаревич, как математик, может и не знать. Но я не могу допустить мысли, что он ничего не знает о судьбе и творчестве Герцена, Цветаевой, Мицкевича. Умышленно, а не случайно забывает Шафаревич их имена, сокращающие его концепцию.

Кто же они сегодня, «лучшие представители» нашей культуры, лишённые «достаточных духовных ценностей»? В высокомерных намеках легко угадываются люди, в которых он целит. Да и другие, с той же судьбой.

Это Александр Галич, поэт, литератор, создатель современного городского фольклора.

Это Ефим Эткинд, исследователь литературы, хорошо известный в России и в других странах.

Это Виктор Некрасов, рыцарь чести, написавший лучшую книгу о войне, о мужестве русского народа.

Это Владимир Максимов, вечный и всегда искренний искатель правды.

Это Анатолий Якобсон, литературовед и переводчик, для него стихия русского языка и русской поэзии — воздух, которым он дышит. Сами они, да и десятки других талантливых и честных людей не могут защитить себя от Шафаревича: слишком популярен предрассудок, что слово, сказанное ТАМ, ценится меньше, чем слово, сказанное ЗДЕСЬ, в России.

Он считает, что писатель, покидающий свою страну, демонстрирует малодушие. А я так скажу: отрыв от родины для художника — это всегда риск, всегда трагедия и всегда подвиг. Это самая серьёзная проверка его духовного потенциала, и далеко не всякий выдержит испытание отъездом. Разве не надежнее считаться талантливым как раз здесь, где все творческие неудачи можно списать на счет «неудобств»?

Об Андрее Синявском Шафаревич пишет, что он уехал из России, не пожелав терпеть «неудобств». Экий бесстыдный эвфемизм! Будто речь идет об обмене квартиры без клозета на жилье со всеми удобствами.

Самому Шафаревичу эти «неудобства» хорошо известны; они подробно изложены в том же самом его интервью. В полном объеме о них

можно прочесть в произведениях А. И. Солженицына, который оказался человеком железной воли — выжил и стал писателем в тех условиях, от которых сошел с ума Мандельштам. Повернется ли у кого-нибудь язык сказать, что то, что Мандельштам не уехал вовремя, — к лучшему?

Считает ли Шафаревич, что все люди одинаковы, что они — винтики, рассчитанные на определенный срок службы и «давление»? Художникам он ставит в пример верующих, которые это «давление» выдерживали. Но будет ли он презирать духоборов, молокан, старообрядцев, бежавших или пытавшихся бежать от гонений в чужие края, чтобы там спокойно исповедовать свою веру? И тех, кто бежал во время религиозных гонений и войн в Европе? И сегодняшних пятидесятников, пытающихся покинуть Россию? А главное, почему он забывает, что вера художника безусловно требует самоотдачи и отнюдь не безусловно — самопожертвования? Судить о художнике дано времени, которое в отличие от Шафаревича оценит его по его творчеству, а не способности переносить испытания.

Давно и хорошо известно, что тупая тенденциозность несовместима с добросовестностью, — и Шафаревич оказался жертвой своей тенденциозности. В самом деле, как представить Андрея Синявского человеком, лишенным права именоваться русским писателем? Да очень просто: выхватить из текста цитату, обкорнать ее с двух сторон — нехитрая, но надежная операция, хорошо знакомая тем, чьи произведения попадали под перо наемного критика и под тяжелую руку Уголовного кодекса. В объемной, сложной и многозначной статье Синявский, говоря о тех, кто вынужден был уехать из России, восклицает с горечью: «Россия-Мать, Россия-сука, ты ответишь и за это, очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором — дитя!..» Как близко это Н. А. Некрасову и Лескову, поносившим любимую свою Россию; как перекликается с Александром Блоком: «Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка, своего поросенка». И почти дословно совпадает это с проклятием Ричарда Олдингтона: «Англия, нелепая старуха. Чума на тебя, старая сука. Ты отдала нас на съедение червям. И все же я бы снова поглядел на тебя».

Во все времена, во всех странах именно любовь подвигала художников быть беспощадными к своей стране, именно любовь давала право судить о родине, отбросив ханжество, этикет, табу.

Шафаревич же из всей статьи Синявского вот что извлек: «Россия-сука, ты ответишь и за это», подменив жестокий и горестный троп заурядным блатным ругательством. Зачем? Да все затем же: доказать, что человек, уехавший из своей страны, на большее не способен. Подлог? Конечно, подлог, тем более выгодный, что не всякий читатель может сам прочесть статью, проверить цитату. Все это уже было



около десяти лет назад, когда мой друг Андрей Синявский за свое творчество был приговорен к 7 годам «неудобств» строгого режима. Тогда официальная пресса цитировала его именно так...

\* \* \*

Мы, остающиеся, не можем отделить уехавших от себя. Мы их благословляли на крестный путь, мы связаны с ними дружбой, сочувствием, единомыслием. Равнодушно вычеркивать их из списка живых — самоубийство. Мы вскормлены одной культурой, люди, покидающие страну, будут жить за нас ТАМ, мы будем жить за них ЗДЕСЬ.

Проблема эмиграции культуры действительно существует; я-то думаю, что настоящий художник, даже физически разлученный со своей землей, всегда связан с нею неразрывной духовной пуповиной. Разумеется, могут быть и другие точки зрения. Но обсуждать эту проблему следует спокойно, с уважением к людям и фактам, без полицейских окриков.

*Москва, 20 января 1975*

Юлий Даниэль

# Из неоконченной книги

Где-то в середине 30-х годов я впервые познакомился с произведением, которое трактовало личность И. В. Сталина несколько непривычно для меня. Это была частушка. Для печати ее придется чуть-чуть отредактировать. Впрочем, российскому читателю, привыкшему к эвфемизмам, не составит труда восстановить первоизданный текст. Вот как она звучала:

Правильно, правильно:  
Член большой у Сталина,  
Больше, чем у Рыкова  
И Петра Великого!

Когда я говорю «трактовало непривычно» — это относится скорее к способу выражения, нежели к существу трактовки. Тогда я принял эту частушку, пожалуй, как очередное славословие из того набиравшего силу потока восхищения, любви и преданности, который вскоре затопил литературу, прессу, театр, кино, а также специальные области — от альпинизма до языкознания. Она, эта частушка, утверждала некое специфическое превосходство Вождя не только над недавно разоблаченным и свергнутым Председателем Совнаркома, но и над знаменитым в веках преобразователем России. Физическая, так сказать, мощь подтверждала и узаконивала политическое величие и правоту. В общем, по поговорке «У кого член больше — тот и пан». Образ грандиозного фаллоса со всей несомненностью указывал, кто именно имеет право вести страну к светлому будущему. Тогда, по малолетству, я еще не знал, что практическое применение этого наружного признака не всегда доставляет радость объекту применения.

Летом 42-го года, в Сталинградской области, на дороге, я встретил женщину. Оборванная, худая, с всклокоченными черными волосами, она брела, загребая разбитыми башмаками степную пыль. Она не знала, куда, в какой город или деревню лежит дорога, но инстинкт вел ее правильно — на восток. Она заговорила со мною по-еврейски.

— Извините, я не понимаю.

— Ты хочешь сказать, что ты не еврей? — женщина уставилась тяжелым, презрительным и ненавидящим взглядом. — Ты, такой молодой, уже тряс?

— Да нет, я еврей, но я не знаю еврейского языка.

— Почему?

— Я из Москвы,— сказал я. Не объяснять же ей, что отец и мать говорили по-еврейски, когда нужно было что-то скрыть от меня. Я до сих пор помню эти разговоры на идиш в 37—38-м годах.

Женщина, в русской речи которой слышался белорусский выговор, смягчилась: ясно, что я не виноват, что в Москве не может вырасти полноценный еврей. Мы разговорились, и я узнал, что она из-под Минска, что семью потеряла, что младший брат на фронте, что где-то на востоке, чуть ли не в Биробиджане, у нее родичи, что эшелон, в котором ее везли, был разбомблен, что убиты ее знакомые и их дети, а она «зачем-то» осталась жива.

— Ну, что вы,— вежливо сказал я.

И вдруг она закричала:

— Я знаю, зачем я жива! Я жива, чтобы проклинать его! Чтоб он сгорел, убийца! Чтоб он умер в язвах! Чтоб ни детям его, ни внукам, ни правнукам не видать здоровья!

— Да ведь у него, кажется, нет детей,— сказал я.— Он вроде неженатый.

— О ком ты? Кто неженатый?

— Гитлер.

— Гитлер? Я не о Гитлере, я о Сталине! О Сталине! О Сталине! Палач, убийца, бандит! Это он, это из-за него все! Сопляк, ты думаешь, это первая кровь? Тебя еще на свете не было, когда он начал убивать. И сейчас убивает! Ты думаешь, это немцы? Это он их руками убивает, он их нанял, он их позвал, проклятый!

— Простите,— сказал я,— простите, мне пора идти. Меня ждут.

И я пошел прочь от нее, от безумного, конечно же очень больного человека, который от горя сошел с ума и несет что-то несусветное о самом Сталине. Я оглянулся. Она стояла на дороге и кричала в небо длинные еврейские проклятия.

Я вспомнил эту встречу через 14 лет и уже больше не забывал ее...

В 46-м году я и моя подруга остановились перед магазинной витриной, в центре ее стоял портрет Сталина в мундире генералиссимуса.

— Папочка похож на старого моржа,— сказала она.

Он действительно был похож, я этого не мог отрицать, но помню, как меня шокировало это определение. Как можно! О Сталине?

В 53-м он наконец помер. Март. Близилась выпускные экзамены, и я, словесник в 10-х классах, готовя школьников к сочинению, настроил их на тему «Образ И. В. Сталина в советской литературе». Даже эпиграф им подобрал: «Природа-мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни» — Н. А. Некрасов. Шиш, никаких сталинских тем не было. Тут-то я и задумался. Замечательно, что к этому времени я уже знал и о несправедных су-

дах, и о лагерях, и вся сталинская система бесправия, бессмысленности, бессовестности была мне известна — разумеется, в ее райцентровском, примитивном, обнаженном варианте. И все равно со Сталиным весь этот бардак почему-то не связывался. То есть в чем-то связывался, и тем не менее Сталин был как-то отдельно. Только после того, как ожидавшаяся многолетняя скорбь была сомкана до двух-трех недель и лучшего друга Вождя — Берию — прислонили к стенке, я понял, что с гениальным покойником что-то не так. Я стал спрашивать и слушать, стал думать. И поэтому XX съезд был для меня событием не тем, что были оглашены *факты*, а тем, что они были *оглашены*, напечатаны типографским способом, изданы тоненькой брошюрой. Этот хрущевский доклад уже успели прочитать всем дворникам и милиционерам, всем работникам химчисток и «гадючников», и наконец очередь дошла до нас, учителей. Мне поручили читать этот доклад вслух. Я стал читать. Это было очень трудно. Я все-таки принудил себя не оглядываться на дверь в самых пикантных местах, но заставить себя не понижать голос я не сумел. Это было сильнее меня. Мне был 31 год, и лет двадцать я прожил под барабанную дробь казенного восторга, а уж проговаривать вслух какие-то вещи «против» я просто не умел.

Сейчас, когда я пишу эти строки, по телевидению передают документальный фильм «Великая Отечественная». Чуть ли не в каждой серии я вижу знакомый усатый лик Корифея — и явно с плюсовым знаком. Славная когорта литераторов — в основном поэтов — вздыхает о попорнанном его величии. Вот-вот грядет столетие со дня его рождения. Что будет? Опубликуют в «Правде» юбилейную статью с перечнем его заслуг? Перетащат кости обратно в Мавзолей? Грузины снова выйдут на демонстрацию? Ох, грузины! Судьба настойчиво, неукоснительно сводила меня с людьми разных племен, но ни один народ весь, целиком, не отвечал так моему представлению о прекрасном, как грузины. Все: и яростное жизнеутверждение, и поистине античное преклонение перед физической силой и ловкостью, и ритуалы застолья, и готовность немедленно откликнуться на поэзию, на песню, и народное, «мужицкое» начало в любом «светлейшем князе», и аристократизм любого «мужика», и дьявольская красота мужчин, и ангельская красота женщин, и каторжное упорство художников, и божественное легкомыслие их — все это удивительно, неповторимо и, наверное, могло родиться лишь на этой дивной земле! Но почему же это гордое, красивое, храброе племя так упорно цепляется за имя человека, опозорившего свою родину, изнасиловавшего ее, истребившего цвет нации? Ни разу он, возвеличившись, не приехал в Цхинвали, в Гори, в Тбилиси — сказать две-три фразы по-грузински, поклониться — хотя бы для виду! — родным местам. Ни разу не сказал он миру, ловившему каждое его слово: «Я — грузин». Поместье, окруженное вооруженными холуями,—

вот все, что он оставил себе от Кавказа. Да еще фрукты, вино и табак. Он был таким — но ведь земляки-то его не такие! Когда же они снимут эту икону и отплюнутся, отрестятся от проклятого призрака? Было же время понять, что он не грузин, не кавказец.

Не он один — вне национальности. Грустно и смешно мне слышать и читать, как пробуют расставить по национальным полочкам этих господ начальников. И это все равно, чего хотят классификаторы, — разоблачить ли их, возвеличить ли, найти ли общий язык. Что грузинского в Сталине и Берии? Жестокость? Еврейского — в Троцком и Кагановиче? Наглость? Русского — в Молотове и Ворошилове? Тупая прямолинейность? Польского — в Дзержинском? Фанатизм? Армянского — в Микояне? Изворотливость? Но ведь эти свойства не суть национальные черты народа, а всего лишь черты подонков народа, исковерканные, изуродованные до противоположности твердость, самоутверждение, прямотушие, верность, смекалка. Можно продолжать этот список «не помнящих родства» вширь — географически, назад и вперед — во времени. Это одно племя, и одна у них родина — мир политической уголовщины, и один язык — блатной жаргон...

Случалось, я слышал упреки, когда называл себя интернационалистом. Наверное, упрекавшие были правы: термин неправильный, недоброкачественный. Не «между народами» надо быть, а «вместе с народами». Тогда не грозит опасность стать «над» ними и «вне» их.

Но дело, разумеется, не в одних грузинах. В конце концов, если не оправдание, то объяснение их поведению найти можно: из их маленькой страны вышел человек такого грандиозного, гигантского масштаба. А вот другие, не грузины, — что им Сталин? А ведь вспоминают, жалеют, сравнивают. Как же! «При Сталине цены снижали», «При Сталине порядок был», «При Сталине...» Знаком величайшего уважения к Сталину являются, по-моему, антисталинские анекдоты. В них есть что угодно: ненависть, страх, ошеломленность размахом злодейства, — нет лишь одного: презрения, насмешки. Я, по крайней мере, ничего подобного не слышал. Один известный герой анекдота глуп, другой — никчем, третий — одержим политикой до полного одурения — на всех этих рассказчик и слушатель смотрят сверху вниз, а вот на Сталина — в любом анекдоте — снизу вверх да еще отдаляясь, чтобы окинуть взглядом эту пирамиду. Я не хочу сказать, что мифологизация Сталина и эти суеверно-почтительные анекдоты хоть скольконибудь возвышают его облик; нет, никакие легенды не снимают вины с убийц. Она, эта посмертная, подсвеченная дымка, свидетельствует о другом: об идолопоклонничестве. Странно, но почему-то нам нужны боги во плоти. И это происходит не только с наполеонами и гитлерами. Мы склонны канонизировать и тех, кто действительно заслуживает восхищения и любви, например Пушкина или Достоевского; но почему любить и восхищаться нужно, непременно ползая при этом на брюхе? Лю-

бая попытка говорить о них не канонически воспринимается их адептами как кощунство. А по-моему, кощунство-то в том, что религиозные мерки, религиозный экстаз направлены на людей, которым не чуждо ничто человеческое: они и ошибиться могут, и завратиться, и сплеховать. Стучать лбом об пол перед людьми — значит оскорблять величие Моисея, Христа, Будды, Магомета. И если понятно (хоть и непростительно), что путают мир религиозных представлений и искусство, Творца и творцов, то совершенно чудовищно увенчивать нимбом политика, независимо от того, кто он: Чингисхан или Генрих IV Наваррский, Сталин или Авраам Линкольн.

Кто изображал Сталина? В изобразительном искусстве — скульптура, в литературе — поэзия, в театральных угодьях — кино. Это именно те жанры, где можно обойтись без штрихов, без деталей, не дробя возвеличиваемый образ. Разумеется, работали на него и проза, и живопись, и подмостки. Но мне кажется, он не особенно поощрял эти жанры, когда речь шла о нем как о герое. Монументальность — вот главное, чего требовал он и система от художников, анализ был совершенно ни к чему. При анализе могли бы проступить низкий лоб, рябое лицо и коротконогость, так разительно заявляющие о себе в его гениальных трудах.

Неужели легенда о нем так же устоит в умах, как омерзительные восторги по поводу Ивана Грозного, Петра, Наполеона и прочих коронованных людоедов? Через каких-нибудь двадцать — тридцать лет перемрут те, чьи трагедии были связаны с его именем. Перевесят ли свидетельства современников неистребимую тенденцию к мифотворчеству?

Как мне хотелось бы сохранить на веки вечные одну алебастровую нашлепку на стене! Она радует мое сердце каждый раз, когда я перехожу со станции метро «Проспект Маркса» на станцию «Площадь Свердлова». Там прямо над головой плывущих по эскалатору выступал из стен горельеф — массивная башка в профиль, и широкий срез шеи внизу всегда волновал меня смутным видением гильотины. Не то чтобы мне так уж хотелось, чтобы ему самому взаправду отрезали голову, но «декапутация» была бы, право, отличной концовкой для сталинизма как явления. Так вот, после известных разоблачений ее, эту голову, заляпали алебастром (или гипсом?), и это хорошо, что ее не сбили, не сровняли вгладь — пусть торчит, пусть напоминает. Нет, забывать о нем не надо — слишком велик, слишком страшен наш счет к нему...



Впервые я увидел его в 45-м или в 46-м году. Тогда еще на Центральном рынке, возле цирка, торговали не только съестным, а еще и

чем попало — была «барахолка». Мы поехали туда, потому что моей спутнице нужно было купить промтоварные талоны — затевалось не то приобретение, не то сотворение какой-то скудной послевоенной одежды.

Мы ходили среди продающих и покупающих, среди шустрых спекулянтов и облапошенных старых дам, среди всей этой невеселой суеты. Вдруг она схватила меня за руку и шепнула:

— Посмотри!

Но шепот этот был не от боязни, что услышат, — кругом гомонили, хоть уши затыкай, — а от восторга. Я понял это, когда увидел человека, на которого она указывала.

Посреди толпы, на крохотном пустом пятачке, как бы очерченный магическим кругом, стоял удивительный человек. Из-под бесформенной мятой шляпы на обе стороны до плеч свисали прямые, очень черные, почти синие волосы; лицо худое, светло-коричневое, с золотистыми бликами; большой насмешливый рот; огромные, как у лошади, скошенные к вискам глаза. На нем был какой-то балахон, что-то среднее между плащом и пальто, дешевенькие брюки, парусиновые туфли. Левой рукой он опирался на толстую сучковатую палку, даже скорей — дубинку, а в правой... Правую он держал на уровне груди, и с длинной его кисти, вызывающе сияя, свисали янтарные четки. Именно вызывающе, потому что праздничность, нездешность этого ожерелья была очевидна: оно было из другого мира, знать не знающего о проди и промтоварных карточках, о торговле спиралями для электроплиток, о галошах на линючей малиновой подкладке. Весь этот ежедневный быт инстинктивно отшатывался от инородного тела; наверно, поэтому никто не задевал локтями необычного продавца.

Он улыбался, видимо, его забавляло, что от него шарахались, как от чумного. И вообще у него, похоже, было неплохое настроение.

— Какой гогенистый, а?

— Ага, — я кивнул. Веселиться-то ему с точки зрения рынка было не с чего: балахон был надет прямо на бязевую нижнюю рубаху...

Прошло несколько лет. Из Москвы уезжала гостившая у нас Алла Григорьевна, и на прощанье она собрала у тетки друзей. Это был народ всякий-разный, лет по сорок — пятьдесят, почти все они были на «ты» и называли друг друга уменьшительными, а то и прозвищами, все радовались Алле и друг другу. Но разница между преуспевшими и «неудачниками» чувствовалась, особенно когда участливо понижали голос, расспрашивая, «как дела».

Но вот царственно вошел он — тот самый, с Центрального рынка, полинезец. Я узнал его сразу, как только он появился и замешкался на мгновенье в дверном проеме. Замешкался ли? Нет, он задержался нарочно, остановился, давая себя разглядеть, налюбоваться на себя, накричаться, прежде чем он войдет и удостоит сесть рядом. Вряд ли

эта поза была продуманной — нет, он подавал себя не размышляя, как истинный артист. «Коля, Шалим, Николаша», — загудели все и потянулись руками, губами.

— Юлик, познакомьтесь, — сказала Алла, — это мой давний и хороший друг, Николай Григорьевич Шалимов.

— Шалимов, — пророкотал он и очень крепко сжал мне руку своими длинными пальцами.

Несмотря на помпезное появление, держался он скромно и молчком, очень внимательно слушая каждого, глядя на него — не найду другого слова — усердно, повернувшись к говорящему всем телом. Такую напряженную пристальность я встречал только у одного человека, но он, «друг и брат» мой, направляет свой микроскоп незаметно для подопытного, его «естествоиспытательство» хорошо замаскировано любезным тоном, вовремя брошенной репликой, светскостью — он галантный собеседник.

Шалимов был скульптором, кукольником, мастером масок. Кажется, он нигде не учился; но дело, конечно, не в этом — талантливых самоучек на Руси много. А он был все-таки ни на кого не похож — тем, как упорно и иступленно не хотел приспособиться, притерпеться, притереться к художнической среде. Он не шел ни на какие компромиссы, ни на большие, ни на маленькие. Подчас от него, как от протоппа Аввакума, требовалось лишь одно — молчать. Доброжелательные коллеги уговаривали его, одевали, под руки приводили в Союз художников: «Ты только молчи, Бога ради, пусть они говорят, потерпи полчаса, примут тебя, квартиру дадут, мастерскую, пенсию — молчи!» И каждый раз это заканчивалось грандиозным скандалом...

Я не знаю, делал ли он что-нибудь только для заработка? Похоже, что нет, потому что беден он был необычайно. Когда мы приходили к нему, в его шести-семиметровую комнатенку на Поварской, он, распечатывая принесенную нами пачку чая, барственно, по-знатоцки рассуждал о способах заваривания — но держал чай бережно, как драгоценность. (Чтo такое чай в скудной жизни, я понял лишь недавно.)

На этих семи квадратных метрах, в которые были втиснуты стол, постель, шкаф и еще что-то, в этой конуре об одном окошке он — скульптор! — работал.

И работы эти производили такое же необычайное впечатление, как и сам художник. Я не умею сказать об этом профессионально, но, моему, никто не остался бы равнодушен к тем вещам, что впритык были развешаны по стенам, пылились на шкафу, ютились чуть ли не под столом. Кстати, в те два раза, когда его творчество все же прорывалось к зрителю, оно имело шумный успех. А между куклами из кинофильма «Марионетки» и масками из хикметовского спектакля — тридцать лет высокомерия, пожимания плечами чиновников от искусства, тридцать лет равнодушия. Все это, впрочем, было взаимно: и



равнодушие, и высокомерие. И тридцать лет нищеты — она-то была односторонняя, только его.

Между прочим, он был антииудаист. Антииудаизм часто отождествляют с антисемитизмом, с юдофобством — и совершенно напрасно. Я довольно часто встречал именно таких людей — убежденных противников иудаизма как религии, как философии, доброжелательных к евреям вообще и преданно любящих конкретных друзей-евреев; они презирают тех, чья ненависть обращена на человека, на людей. Такие супостаты иудаизма не вызывают у меня ни гнева, ни ненависти — какое мне дело до этих умствований, если я видел прекрасные, увлажненные нежностью глаза Шалимова, когда он говорил об Иосифе Ароновиче Богоразе! Или когда вспоминаю мужество и рыцарственность Леонида Бородина. Шалим и нам с Ларой толковал о пагубности иудаизма; было это, конечно, только тогда, когда он «принял» нас и утвердился, что мы не заподозрим его в антисемитизме.

Постоянное, повседневное общение с ним было, наверное, трудным делом, может быть — подвигом; но одинок он был, кажется, не поэтому. Ведь все время появлялись женщины, готовые служить ему, но он понимал — или чувствовал? — что господин — это тоже раб, и он не давался в господа.

Рядом с ним я чувствовал себя, как возле большого, странного красивого зверя, чьи слух и зрение острее и тоньше моих, чьи мысли наивней и важнее, вечнее, чем мои.

Ему я тоже не успел сказать, что я им восхищаюсь.

# Вас ожидает счастье

Мое учение должно многих умирить.

*К. Э. Циолковский*

Самое удивительное в мечтах и прогнозах утопистов — это то, что эти мечты и прогнозы сбываются. Энтузиасты с горящими глазами сидят в подземельях, тюрьмах, лачугах и создают ослепительные, великолепные картины будущего. Сами они подымают к голоду, кладут голову на плаху, лежат, прикованные к стенам камер, а со страниц, исписанных ими, встанут сверкающие города, двигаются под музыку стройные существа, и над фабриками, источающими благоухание, звучат согласные хоры счастливых тружеников. И ведь сбывается! Конечно, не все — лишь часть обещанного, детали. Но и этого достаточно, чтобы с ужасом поверить в свершение пророчеств. С ужасом потому, что то, что действительно сбывается, происходит без мистических гримас, без магической абракадабры, без появления Князя тьмы с саркастическим изломом бровей, и, не меняя своей материальной сущности и формы, обращается в приметы, в атрибуты черного сегодняшнего дня. Какие насмешливые демоны диктовали простодушным и прекрасодушным утопистам реалии нынешней непроглядности? Сидит в крепости Николай Гаврилович Чернышевский и пишет, умиляясь (а как не умиляться?!), о том, какое широкое, какое общее употребление получит прекрасный, благородный металл — алюминий! Он будет настолько доступен, что все без изъятия будут пользоваться им — подумайте только! — в виде посуды. И вот сбылось по слову утописта: десятки миллионов солдат и десятки миллионов каторжников хлеблют свой суп и выскребывают свою кашу алюминиевыми ложками из алюминиевых мисок... И легкие, удобные одежды облекают их тела. Николай Гаврилович, правда, не обозначил ни название одежды, ни сорт материала. Это сделало время: гимнастерка, галифе, куртка («френчик» — по-лагерному), брюки — все хб-бу...

Лезут, лезут эти мысли в голову; какие-то строчки теснятся, вроде: «Завидую внукам и правнукам нашим...», «...когда народы, распри позабыв...», «Мы еще увидим небо в алмазах...», «лет через сто — двести жизнь будет ослепительно прекрасна». ...А почему, собственно, лезут и теснятся? Давным-давно пройден школьный курс русской литературы, сданы зачеты и экзамены, и где-то уже не так далеко маячит вожделенная пенсия. И вдруг судьба-насмешница кричит в ухо из радиопура: «Человек в космосе!» Ложатся пушечного калибра буквы че-

рез всю газетную полосу, на весь экран телевизора наплывает голова космонавта в шлеме с трубками и проводами, и ликующее человечество извлекает из памяти слегка подзабытое неспециалистами имя — Циолковский.

А не почитать ли нам Циолковского на досуге? А не взглядеться ли повнимательней в эту фигуру, сидящую у ВДНХ под гигантской воткнутой в небо стрелой, сверкающей все тем же ложечным и мисочным блеском? Так ведь небось ученый, сплошные формулы, не поймешь ни черта. Ан нет! Все понятно. Более того — даже знакомо — опять-таки в деталях.

...Фронт земляных работ, глубиной в несколько тысяч верст, перекрытый решетчатым колпаком, неумолимо продвигается в глубь необжитых территорий, вперед, вперед, сверкают лопаты, целина отступает, трудовая армия движется, волоча с собою свою решетку. Что это? Описание строительства Транссибирской магистрали, которую зеки при Сталине прокладывали по вечной мерзлоте? Нет, дорогой читатель, это пересказ проекта Циолковского, придуманного для всеобщего насыщения — то бишь для всеобщего счастья. Я ничего не перервал, я лишь умолчал о том, что Циолковский рекомендовал эти земляные подвиги совершать где-нибудь в Центральной Африке или в Латинской Америке и что решетки предназначены не для предупреждения побегов, а для защиты от зловредных зверей и насекомых. Но какая, собственно, разница? По климату, надо полагать, хрен редьки не слаще, а решетка — ну, что ж, пусть заодно и от зверей защищает, черт с ней!

Для счастья, для счастья! А кто из них, из благодетелей, от Кампанеллы до Федорова радел не о счастье? Только о нем, о вожделенном, о счастье душа болела. И мерка самая малая, микрон, так сказать, — человечество в целом, население планеты Земля; и полигон — что там какая-то Центральная Африка! — Вселенная. Только так и никак иначе. Это счастье непременно будет. А пока не вышли в Космос, надо спланировать жилища для счастливых людей.

...Длинное-длинное помещение, коридор по оси, направо-налево — камеры (именно так: «камеры»), в одних — мужчины, в других — женщины, в третьих — семьи, в четвертых — вдовцы и так далее по половому, семейному и возрастному признаку. Залы — для общих работ и собраний. Минимум мебели, утвари и одежды. Что это? Усовершенствованная тюрьма либерального образца? Нет, это дом-корабль, вечно (пожизненно!) плавающий в мировом пространстве, — так, захлебываясь от восторга, описывает его Циолковский. Так уж все хорошо и разумно; одно только в толк не возьмешь: зачем семейные камеры? Ведь продолжать род человеческий можно будет, обходясь без «унижающих нас половых актов»! А если эта задача уже решена наукой, то на кой черт нам без надобности «унижаться»? Вообще с разнополюми особями

надо быть настороже. И лучше всего развести бы их по разным «камерам» — хотя бы в области «общественной организации человечества». К примеру, выборы в местные и прочие Советы надо производить так: мужчин выбирают мужчины, а женщин — женщины. Это для того, чтобы в царство Разума не проскользнула вредоносная бактерия — Эмоция...

Господи, как страшит Циолковского все естественное, натуральное, природное! Щенок перед ним тургеневский Базаров, изрекающий: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней — работник». Для Циолковского природа — враг, враг во всем, от силы тяжести до деторождения. Работает он в этой мастерской для того, чтобы ее переделать, уничтожить, заменить все суррогатами — они дешевле, эрзацами — они красивой, гомункулами — они надежней.

Страшно, страшно поневоле среди неизвестных равнин Космоса! И не потому страшно, что именно там, согласно Циолковскому, расселятся оживленные по заветам Федорова покойнички; страшно потому, что и сами мы, люди, превратимся к тому времени не то в Uberg, не то в Untermenschen. Мы проведем селекцию («Право производить детей будут иметь только лучшие особи»), мы выведем новую породу сильного, красивого и разумного Homo sapiens'a (напоминаю, я цитирую не Геббельса, не Розенберга, а Циолковского!). Более того, на других планетах мы поступим так же: безусловно, гуманно уничтожим их обитателей, если они в силу их биологического несовершенства не смогут стать такими же счастливыми, как мы. Как именно уничтожим? Этого Циолковский не проясняет; надо полагать, какие-нибудь газовые камеры планетарного масштаба или межзвездные душегубки, работающие на отходах ракетного топлива.

Боже мой, какой фанатической убежденностью в своей правоте надо обладать, чтобы придумать такое! Одной только человеческой души на это не хватит, тут нужны откровения, знаменья, скрижали. И, конечно, они являются, и, разумеется, с неба: облаками по краю небосклона начертано «РАИ». Что это значит? А это значит русское слово «РАЙ», изображенное почему-то латинскими буквами — очевидно, для лучшего прочтения этого термина калужскими гражданами образца 1925 года. А еще они, калужане, могут прочесть его по-английски как «луч» или «свет».

Теперь-то вы наконец поверили, что Циолковский прав во всем?

Ну, хорошо, убедил нас энтузиаст, что наука всеисильна и что мужчине и женщине стыдно совокупляться. Поверили мы и в изящность и комфортабельность авосек, удерживающих фрукты-овощи в состоянии невесомости. И, свершив трудовые подвиги, засадили морковью и репой окрестности Килиманджаро. А дальше-то как? Так и будем кто во что горазд возделывать каждый свой сад, свой, так сказать, «вертоград уединенный»? Сами по себе? Нет, этот номер не пройдет. Счастливый

гражданин без начальства не останется. Разумеется, назначать начальников никто не будет — их будут выбирать: для села, для волости, для уезда и т. д. А во главе? А возглавит все это «самый высший, самый достойный из будущих людей» — «лучший из всех человек»... Стоп! Читатель, мой сверстник, ты помнишь, как не только прозвучали, но и дополнились, обогатились эти определения: «самый мудрый, самый любимый...» Опять, опять она сбылась, мечта утописта. И ведь если бы самый мудрый и любимый не откинул копыта, может, его и назвали бы именно тем, кого мечтал увидеть Циолковский во главе Земли, — «планетным богом».

Я не верю, что известная предсмертная телеграмма Циолковского Сталину — фальсификация, как об этом судачат антисталинисты. Надо ж было несчастному мечтателю увидеть хоть что-то из своих бредней сбывшимся. И вот он увидел «лучшего из всех человека» — и умер «счастливым».

«Мое учение должно многих умирить». Нет, учение не умиляет. Так, может быть, достойны умиления искренность, вера, самозабвенный труд Циолковского? Были бы достойны — при одном условии: если бы они не были направлены на счастье всего человечества. От этих стремлений никогда, нигде, ни у кого не выходило ничего, кроме бед больших и малых.

# Я чист перед собственной совестью

Стихи в журнале «Огонек», рукописи, принятые к публикации. Это сейчас... А тогда, в сентябре 1965 года, по Москве поползли слухи о том, что арестованы писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль, которые под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак печатались за границей. В «Известиях» появилась статья «Перевертыши», из которой мы узнали, что «сочинения этих отщепенцев насквозь проникнуты злобой клеветой на наш общественный строй».

Из показаний на суде Юлия Даниэля: «О том, о чем я пишу, молчит и литература и пресса. А литература имеет право на изображение любого периода и любого вопроса. Я считаю, что в жизни общества не может быть закрытых тем... Я хочу еще сказать, что никакие уголовные статьи, никакие обвинения не помешают нам — Синявскому и мне — чувствовать себя людьми, любящими свою страну и свой народ. Это все. Я готов выслушать приговор».

Суд признал обвиняемых виновными в преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 70 УК РСФСР: «Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти...» — и приговорил к заключению в исправительно-трудовую колонию строгого режима Синявского — на семь, Даниэля — на пять лет.

...С тех пор минуло более двадцати лет. Как сложилась судьба А. Синявского и Ю. Даниэля? Отбыв наказание, А. Синявский уехал из Советского Союза. Сейчас он живет в Париже, читает лекции по русской литературе в Сорбонне. Ю. Даниэль никуда не уезжал.

...Старая московская квартира на Соколе, большое количество книг, многие с дарственными надписями поэтов, которых переводил Ю. Даниэль. Забавный черный котенок, всеобщий любимец, ластится к ногам, требуя внимания. А мы — Юлий Маркович Даниэль, его жена Ирина Павловна Уварова и сын Александр — говорим о пережитом.

Корр.: Ваше имя более 20 лет было под запретом, многие уверены, что вы давно уехали из России. Расскажите, пожалуйста, о себе.

Ю. Д.: Родился в Москве в 1925 году. Отец мой, Марк Даниэль, был писателем. Писал книги о гражданской войне, пьесы для еврейского театра. Но имя его, так уж получилось, практически забыто. Умер

---

**Мы публикуем единственное интервью Ю. М. Даниэля в советской печати. Текст его подготовлен для этой книги по магнитофонной записи.**

он совсем молодым от туберкулеза. Отец очень не хотел, чтобы я пошел по его стопам. Почему? Наверное, предчувствовал, что ничего хорошего из этого не выйдет. И как в воду глядел... А писать я начал рано, первый свой поэтический перевод сделал лет в двенадцать. Потом началась война, в 1942 году ушел на фронт, воевал, был ранен. После демобилизации учился, окончил Московский областной пединститут, работал учителем в школе.

И. У.: У него в школе была забавная кличка «ДЮМ — друг детей»: Даниэль Юлий Маркович, а друг детей — потому, что, если надо было провинившегося выставить за дверь, он говорил невозмутимо спокойным голосом: «Друг мой, выйдите вон из класса!» Это «друг мой» так и осталось до сих пор его любимым обращением.

Корр.: Нравилась вам эта работа и каким, вам кажется, вы были учителем?

Ю. Д.: Да, пожалуй что, нравилась, но учителем я был, мне кажется, не блестящим, а такие уже, знаю, тогда были. С начальством не ладил. Мог встать и сказать, что я думаю о районном отделе народного образования и о тех, кто приходил к нам учить нас, как учить, сам в этом ничего не понимая. Но работа моя тогдашняя — это был и способ зарабатывать на жизнь и быть законопослушным гражданином. Как ко мне относились ученики? Мне кажется, что любили. Я к ним всегда относился с симпатией, и они, по-моему, отвечали мне тем же.

Корр.: Вы были откровенны с ними?

Ю. Д.: Нет, все здесь было гораздо сложнее. Я был наглухо отъединен от своих учеников непроницаемым барьером.

Корр.: Сами его воздвигли?

Ю. Д.: Как вам сказать? Частично он так воздвигся в государстве вообще, человек от человека, учитель от ученика. Частично я уже слышал этот самый начальственный предупреждающий «свисток». Я не видел возможности говорить своим ученикам все, что думал тогда о происходящем. Об этом писал свои рассказы, хотя знал, что напечатать их не удастся. А писать мне хотелось всегда, и к тому, о чем писал, я относился серьезно. В рассказах моих, конечно, немало автобиографического — мои друзья, моя жизнь.

Корр.: Юлий Маркович, в вашей повести «Говорит Москва» есть среди прочих один эпизод, поразивший меня, где рассказывается о резне между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе. Это что — ваше пророческое предвиденье?

Ю. Д.: К сожалению, беспокойно там было уже давно, и резня, и вражда, просто от нас это скрывалось. А вообще я всегда очень хорошо относился к армянам. Мне они кажутся людьми тонкими, артистичными, достаточно узнать мне, что человек армянин, и я начинаю ему симпатизировать.

Корр.: Каким вам сегодня вспоминается тот суд над вами?

Ю. Д.: Как ни странно, но запомнилось, что в зале было много доброжелателей, я ощущал теплую волну симпатии. Помню отчаянное лицо Евтушенко, другие лица, все они выражали сочувствие. Я понял тогда, что есть люди, которые считают все происходящее с нами большим несчастьем. Это очень помогло выдержать все.

Корр.: Можете рассказать, как ваши произведения попали за границу?

Ю. Д.: Да очень просто попали. Знакомая Андрея Синявского, француженка, помогла переправить рукописи за рубеж. Это была задумка Андрея, его конструкция. Естественно, я сам изъявил желание, сам этого захотел, сам попросил его о том, чтобы он устроил передачу написанного за рубеж.

Корр.: А вам нравятся книги Синявского?

Ю. Д.: Есть любимые вещи, есть менее. Среди любимых «Прогулки с Пушкиным», «Голос из хора», «Гоголь». Еще, пожалуй, повесть «Суд идет». Это написано еще до лагеря, за нее и за ряд других ему и вкатили семь лет строгого режима.

Корр.: Вы понимали, чем вам грозила публикация за границей, и все-таки вы пошли на это. Почему?

Ю. Д.: Никаких политических целей у нас, конечно, не было. Мы были писателями. Хотели, чтобы имела право на существование литература особого свойства — свободная, без запретных тем и проблем. Почему отправили за границу? Да потому, что в тот момент здесь напечатать это было невозможно. А то, что случилось потом, оказалось, я бы сказал, даже интереснее, чем я ожидал. На суде, слава Богу, не потерялось чувство юмора, это большое счастье. Было много курьезного, как мне сейчас вспоминается. Общественным обвинителем была З. Кедрина, и слушать ее обвинения было очень скучно. О моем рассказе «Руки», например, она говорила: «Вы посмотрите, с какой не свойственной ему выразительностью и яркостью Даниэль изобразил сцену расстрела!» Ну как вам нравится такое убедительное доказательство антисоветской сущности произведения? И вообще суд был скучный. Я сам удивляюсь, почему мне так казалось. Под судом — я, судят меня, что-то обязательно припаяют, и, судя по всему, что-то нехорошее. А у меня такое равнодушие. Говорили много и с пафосом про продажу Родины, и за большие деньги. Неприятно, конечно, было, что игнорировалось все, что я говорил в свое оправдание. Меня очень старательно убеждали в том, что мои рассказы превращены врагами нашей страны в орудие идеологической борьбы. Серьезное обвинение, хорошо еще, что это был не 1937 год.

Корр.: В ту пору, вспоминая, было много разговоров такого примерно содержания: «И зачем им все это понадобилось — и себе навредили, и власти теперь займут более жесткую позицию по отношению к творческой интеллигенции».



И. У.: Но подсудимые защищали не только себя, а и честь профессии. Они сохраняли за писателями право бить тревогу по поводу пороков и болезней общества, право не быть равнодушным. И то, в чем их тогда обвиняли, сегодня стало нормой гражданской позиции и литераторов, и просто честных людей, чувствующих ответственность за все, что происходит в стране.

А кроме того, после процесса практика публикаций за рубежом распространилась довольно широко, но никого из советских писателей, печатавшихся в 70-е годы за границей, уже не решались привлекать к уголовной ответственности. Правда, других неприятностей у них хватало...

А. Д.: Когда арестовали отца, мне было 14 лет, в школе еще учился. То, что случилось, не было для меня неожиданностью, я знал, что отец печатается за границей. Неожиданностью было другое: после его ареста в наш дом приходили знакомые и незнакомые люди, десятки людей, и предлагали свою помощь. Были, конечно, и исключения, но не о них речь. Как писал отец в одном из своих лагерных стихотворений: «Счет находок — на десятки, счет потерь — на единицы». И всю свою жизнь я постоянно сталкиваюсь с удивительно доброжелательным отношением ко мне и моей матери Ларисе Иосифовне Богораз. Я понимаю, что оно не заслужено мною, а происходит оттого просто, что я сын Даниэля, осужденного литератора, чья судьба вызывает горячее сочувствие. Благодаря этому мне практически не пришлось столкнуться с трудностями, которые неизбежно встали бы в прежние годы на пути сына репрессированного. Мы были первым таким поколением детей «врагов народа», к кому отношение было уже иное.

Корр.: Юлий Маркович, где вам пришлось отбывать наказание?

Ю. Д.: Лагерь находился в Мордовии, он назывался Дубровлаг. Конечно, по сравнению со сталинским страшным временем режим в лагере был более либеральный, обижаться было бы просто неприлично. Самое трудное было свыкнуться с мыслью, что ты на целых пять лет лишен свободы.

Но если серьезно, я совершенно уверен в том, что каждому было бы полезно месяц, два, год посидеть в таком лагере.

Корр.: Почему вы так говорите?

Ю. Д.: Потому что очень многие пребывают сейчас в каком-то захлебe от всего того, что там происходило. А захлеб этот совсем не нужен...

Корр.: А что вам приходилось там делать?

Ю. Д.: Сначала работал грузчиком, разгружал бревна, и на нас еще хватало леса. Правда, я недолго там проработал.

И. У.: У него воспалилась раненная на фронте рука, и начал выходить осколок, а когда он обратился за помощью к лагерному врачу, тот сказал: «Это вы сами загнали себе щепку под кожу, можете рабо-

тать...» Ну, все здесь, на воле, большой шум подняли, и скоро его перевели на более легкую работу. Рукавицы шил, авоськи плел, много профессий сменил.

К о р р.: Я знаю, Юлий Маркович, ваши лагерные стихи, читала их. Вы писали их и тоже точно знали, что не удастся напечатать?

Ю. Д.: Ничего я точно тогда не знал. Ничего. Просто писалось, и все. Прятал, конечно. Пройдет очередной обыск, и все бумажки — под метелку. Сколько раз так было. Но пишущие люди не могут не писать. Андрей Синявский три книги в лагере написал — о Пушкине, о Гоголе и книгу «Голос из хора». Латышский поэт Кнут Скуениекс создал целый сборник стихов, кое-что из него я там перевел на русский язык.

К о р р.: Кстати, в первом номере журнала «Дружба народов» за этот год я прочла: «Поэт К. Скуениекс предоставил издательству «Лиесма» сборник стихов «Семена под снегом», написанный еще в 60-е годы в Мордовии, во время продолжительной творческой командировки». Довольно любопытная информация к размышлению...

Ю. Д.: Моя «творческая командировка» продолжалась пять лет. От звонка до звонка. Правда, сейчас в это трудно поверить, но жили поразительной в таких условиях духовной жизнью. В лагере ведь в то время среди заключенных было много высокообразованных интеллигентных людей многих национальностей, вот уж где была подлинная дружба народов. Собирались вместе, читали стихи, устраивали лекции, провели даже вечер памяти Райниса. В лагере было всякое, конечно, не только стихи и лекции. Но лично мне очень помогло не сломаться, остаться человеком общение с людьми верующими, религиозными. Я много разговаривал с ними, думал о них. Это были люди, для которых вера была спасением, они были более защищены. Сам я, к сожалению, к вере не пришел, о чем горюю до сих пор. В религии есть масса нужных людям вещей, оценить которые я смог, только находясь в заключении. Например, мысль о том, что человек должен сохранить духовность в любых обстоятельствах. Об этом старался помнить постоянно, забыть очень легко...

К о р р.: А переписка была разрешена?

И. У.: Да, мы все постоянно получали от него письма, и он получил их, наверное, миллион. Правда, с тех пор Юлий не написал больше ни одного письма, говорит, что отписался там на всю жизнь.

Письма его на волю были очень оптимистичны, жаловаться не любил. Но каждую ночь с тех пор ему постоянно снится лагерь. Сюжеты различные, а место действия одно. Последний год он отбывал наказание во Владимирской тюрьме, и это был, конечно, самый тяжелый год. Так что «творческую командировку» и поэт К. Скуениекс, и писатель Ю. Даниэль отработали полностью. И богатый жизненный материал, и болезни его — все оттуда.

Корр.: Как вы жили по возвращении из заключения? Смогли ли печататься?

Ю. Д.: Мое возвращение, правда, несколько затянулось. Еще год я жил в Калуге, работал на заводе. Потом разрешили вернуться в Москву. В издательстве «Художественная литература» мне была предоставлена возможность заниматься переводческой работой, только печатался я не под своей фамилией, а за подписью Ю. Петров.

Корр.: Я знаю, что готовится к печати ваша повесть «Искупление» — одна из четырех, за которую вас судили, лагерные стихи и переводы. Могли ли вы себе представить такое? И не хочется ли вам сегодня в ваших рассказах что-либо изменить, подправить?

Ю. Д.: Да, поменял бы там кое-что, гигиену бы навел, почистил, чтоб подряд не шли два определения, но в основном все бы оставил. Конечно, буду рад, если доживу до этого, ведь писал я вовсе не для того, чтобы там напечатали, а чтобы здесь прочли.

А. Д.: Здесь не прочли и его книгу для детей «Бегство», изданную Детгизом. Не повезло книжке. Когда отца арестовали, весь отпечатанный тираж пустили под нож, тоже репрессировали. Один сигнальный экземпляр чудом уцелел...

Корр.: Юлий Маркович, если не сочтете мой вопрос бестактным, скажите, почему после наказания вы не уехали из России, как Андрей Синявский?

Ю. Д.: Просто я хотел жить на родине, не представлял себе, что смогу делать в эмиграции. Ведь я поэт-переводчик, очень люблю эту работу и отношусь к ней, как к делу своей жизни. А почему уехал Андрей? Каждый волен сам сделать свой выбор, он выбрал такую судьбу.

Корр.: Я, наверное, делаю вам больно своими расспросами, заставляя вспоминать все это?

Ю. Д.: Да нет, друг мой. Я, пожалуй, так и скажу вам, что об этом мне не хочется говорить, если будет что-то неприятно вспоминать. Спрашивайте!

Корр.: В январском номере журнала «Звезда» некто Е. Серебровская напечатала свои «воспоминания» об А. Ахматовой, о ее последних днях, и о том, что «в те дни шло следствие по делу двух антисоветчиков, издававших свою грязь за границей и постепенно подкапливающих на выписанных им счетах в швейцарском банке доллары за предательство Родины. За границу спустя известное время они попали...» А дальше — больше. Эта мемуаристка обвиняет жену одного из этих «людишек, ныне их за границей именуют диссидентами», в том, что она своими мольбами защитить мужа так разволновала Анну Андреевну, что та умерла... Намек вполне прозрачен: в то время ваш процесс был единственным. Но ни защищаться, ни опровергать невозмож-

но — ваших имен Серебровская не называет<sup>1</sup>. Мне, Юлий Маркович, читать это было и больно, и страшно, и стыдно за Серебровскую. А каково же вам?

Ю. Д.: Меня совершенно не интересует мнение этой дамы. Я чист перед собственной совестью. Я сделал тогда то, что считал необходимым. Это самое важное, по-моему, для человека — быть в полной мере собой.

Корр.: А как вам кажется, теперешняя оттепель надолго или возврат к старому возможен?

Ю. Д.: Думаю, что нет, невозможен.

Беседу вела Елена Платонова  
*май 1988 года*

Р. С. Это и первое и последнее интервью Юлия Даниэля. К сожалению, когда мы с ним встретились, он был уже тяжело и безнадежно болен. Я видела, каких трудов стоил ему наш разговор, хотя он всеми силами старался не показать этого. Очень много курил...

Боясь утомить его, я о многом тогда не спросила, решила оставить до следующего раза. Следующего раза уже не было... Через неделю Юлий Маркович с тяжелейшим приступом попал в больницу, потом очень мужественно пытался справиться со своим недугом. Но говорить он больше не смог уже никогда. И здесь судьба его не пощадила...

А голос его, живой, бархатистый, мягкий, остался записанным на пленке, и память о нем осталась... И рассказы его, и стихи пришли к нам. Жаль только, что он так и не узнал об этом...

*Е. Платонова*

---

<sup>1</sup> Все «факты», упоминаемые Серебровской, в приложении к Ю. Даниэлю и А. Синявскому являются чистой воды вымыслом, а потому — клеветой. (Ред.)

# Последние страницы неоконченной книги

Я не хотел бы умереть внезапно. Это не значит, что я предпочел бы длительное и болезненное умирание. Нет, я предпочел бы знать о близкой смерти эдак недели за две, за три, чтобы успеть попрощаться с жизнью и с людьми, успеть примириться с уходом.

Я думаю, что именно внезапность смерти, неподготовленность к ней были причиной растерянности, страха, морального срыва у многих погибших внезапной насильственной смертью. Избави Боже, чтобы я осуждал их за это,— ведь это естественно. И вина не на них, а на их убийцах: палачи отнимали у своих жертв не только жизнь, но и достойное завершение ее. И не надо, не надо приукрашивать поведение человека, застигнутого врасплох. Мне омерзительно читать прозу и стихи о том, как гордо умирал Федерико Гарсиа Лорка. Ведь его убили, не дав ему осмыслить — для себя — смерть, не дав ему примерить ее к себе — смерть, о которой он столько писал. Рассказ о том, как он изящно шествовал к месту казни, срывая по дороге цветы и фрукты, как-то реабилитирует убийц, снижает степень их подлости.

Мне приятней было бы жить сейчас, если бы я знал, что уйду из жизни постепенно, спокойно, благообразно. Что ж, может, так оно и будет. Мне ведь всю жизнь везло, почему бы не повезти и с финалом? (см. Т. Готье)

А еще мне не хотелось бы, чтобы меня кремировали. Веселей думать о том, что будешь похоронен, что будет у тебя могила и камень и что, может статься, кто-то придет «кудри наклонять и плакать». Или присядет покурить, как я когда-то присел на могильную плиту на кладбище Донского монастыря. Я курил, поглядывая вокруг, и вдруг прочел надпись на плите, на которой сидел: «П. Я. Чаадаев». Может быть, ему, если он видел, было приятно, что я вскочил и стал смахивать папиросный пепел со старого камня?

Я не верующий и не атеист. Я просто ничего не знаю и поэтому допускаю любые варианты. Но с детства у меня вызывала недоумение формула тургеневского Базарова: «Умру — ничего не будет, лопух вырастет». Как же так — «ничего не будет»? Лопух-то вырастет! Отличный, большой лопух, который сорвет простоволосая женщина и покроет им голову от солнца.

Как странно, что я, дожив до своего возраста, только один раз

видел медленную смерть. Смерть на фронте — не в счет. Она была мгновенна, и она не была таинством. Это был быт войны. Медленную смерть я видел в куйбышевском госпитале, в нашей палате умирал мальчик-солдат, лет девятнадцати, из Узбекистана. У него была ампутирована нога, вся, целиком, вынута из таза. Он был очень слаб, и у него началось воспаление легких. Недели за полторы до смерти он научился говорить по-русски, и врачи разговаривали с ним через переводчика — приглашали его земляка из другой палаты. Нет, это не было спокойной смертью, хотя он не кричал и не стонал. Задолго до конца он уже ушел в свой мусульманский рай и вкушал блаженство с гуриями, к которым в своей земной жизни так и не успел прикоснуться.

Много лет спустя, в лагере, я видел такие лица, отрешенные, сосредоточенные, со слабой улыбкой, у тех, кто был «под кайфом», накурившись анаши или наевшись коденна.

Смерть. Почему она женского пола? Даже когда по языку смерть мужского рода — как, например, по-немецки «Der Tod», — изображают ее всегда женщиной, старухой в развевающихся одеждах. А почему не стариком? Почему гибель, конец ассоциируется всегда с женским началом? Даже в непристойном российском выражении, обозначающем смерть, катастрофу, фигурируют именно женские половые органы. Казалось бы, женская сущность, животворящая, детородная, не должна была давать языковой стихии повод для этого. Ан нет. Смерть — женщина. Но, может быть, и в Европе было время, когда Смерть была не скелетом со страшной косой и даже не равнодушной Паркой с ножницами, а Матерью, Старшей Сестрой, Женой? И в отождествлении ее с Женщиной были вера, надежда и любовь? И не «земля есть и в землю отыдеши», а ощущение добрых рук, колыбели, ласки?

Смерть. Я думаю о ней все больше и больше. И не то чтобы я чуял ее близость. Нет, этого я не чувствую и не знаю, какой мне отпущен срок. Просто я с годами стал понимать, что смерть есть часть жизни, и роптать на нее можно не в большей мере, чем на жизнь: плохая жизнь заслуживает нареканий и плохая смерть — тоже; хорошая жизнь вызывает благодарность, и хорошая смерть...

«Хорошая смерть»?

# Искупление Юлия Даниэля

О, Боже, не дай мне озлобиться!  
*Юлий Даниэль.* Стихи из неволи.

## I

«Говорит Москва, говорит Москва. Передаем Указ Верховного Совета... В связи с растущим благосостоянием... навстречу пожеланиям трудящихся... объявить воскресенье 10 августа Днем открытых убийств».

Что за наваждение?

Шарада эта — не для читателя. Читатель должен бы понять.

---

**Весь творческий путь писателя Юлия Даниэля состоит из непрерывной цепи парадоксов, абсурдных, смешных и страшных одновременно. Возьмем несколько примеров наудачу.**

Общественный обвинитель Васильев на суде обличал писателя Даниэля от имени солдат, шедших кровавыми дорогами Великой Отечественной войны, — то есть от имени самого Даниэля.

Опубликовав свои повести за границей под псевдонимом (что, собственно, и было главным пунктом обвинения), Даниэль позже был «приговорен» к псевдониму, — только уже к другому и у себя на Родине.

Примеры можно множить и множить. Однако самое нестыдное, что гротескную цепь не прервали ни смерть Юлия Даниэля, ни возвращение его имени широкому советскому читателю. Вот один из парадоксов: в 1989 году Ю. Даниэль становится лауреатом премии им. А. Гайдара (!).

А вот и другой: широкая известность Даниэля — героя лолитического процесса фактически свела на нет оценку его произведений как факта литературы. Мужественный и чистый поступок писателя заслонил собой главное дело его жизни: мы читаем прозу и поэзию Юлия Даниэля как публицистику. Единственная статья с полнотой анализе Даниэля-художника, принадлежащая перу Бориса Шрагина, известного философа, теоретика и историка культуры, вынужденного эмигрировать в 1974 году, опубликована несколько лет назад в Париже. Быть может, она в какой-то мере восполнит этот пробел.

И здесь не обошлось без горького абсурда. Пока готовилась эта книга, не стало ни автора предисловия Давида Самойлова, ни Бориса Шрагина. Светлая им ламя.

Она — для тех, кто в повести, для ее героя.

Энергичный, подтянутый, продвигающийся по службе Игорь поторопился: «Товарищи, это провокация... Это «Голос Америки», они на нашей волне передают».

Ничего, он прикусит язык.

Понадеялись на печать: непременно должны разъяснить. И, на самом деле, появилась статья в «Известиях» — редакционная, безличная. Но и там об «открытых убийствах» говорилось все больше обиняками, между строк. Догадывайтесь, мол, сами. А в тексте — все тот же набор. «Растущее благосостояние — семимильными шагами — подлинный демократизм — только в нашей стране — все помыслы — впервые в истории — буржуазная пресса».

Пишется одно, другое подразумевается. У каждого должна быть своя голова на плечах. И пусть неудачник плачет.

Замечательно в повести Юлия Даниэля, однако, то, что, прочтя наизусть затверженные словосочетания, публика как-то сразу вздохнула с облегчением. «Вероятно,— замечает автор,— самый стиль статьи — привычно-торжественный, буднично-высокопарный,— внес успокоение. Ничего особенного: День артиллерии, День советской печати, День открытых убийств... Все вошло в привычную колею».

Набор неизменных штампов заполняет вакуум, оставшийся на месте ликвидированного мышления. Он действует на умы как транквилизатор. Приняв обязательную ежедневную дозу, жители погружаются в привычную апатию. Их вроде бы вовсе не заботит, что творится в действительности. Думать и лень, и страшно, и вроде бы бессмысленно. В мире, увиденном и показанном автором повести «Говорит Москва», эгоизм и индивидуализм остаются всего лишь популярным самогипнозом. Люди знают, хотя и не позволяют себе об этом задумываться, что гуляют между ними враждебные вихри. Они — постоянно настороже, отдавая себе отчет в каждом слове, в каждом шаге, в каждом взгляде. Они вынуждены друг друга бояться. Вашу «хату с краю», если не поостережусь, обратят в пожарище вежливые близкие, обитатели таких же хат. И с песней пойдут шагать по жизни.

Находим мы, впрочем, в повести Юлия Даниэля и еще один подход к надвигающимся «открытым убийствам». «Понимаешь, Толя,— говорит Володя Маргулис,— я думаю, здесь что-то насчет евреев замышляют». Перед нами — иной вариант «хаты с краю». Пусть что угодно творят, лишь бы нас не трогали. Будь Маргулис не литературным персонажем, а реальным лицом,— он бы сейчас, вероятно, оказался где-нибудь в Израиле или в Соединенных Штатах. И гордился бы тем, что не испытывает ни капельки ностальгии: «Пусть они там провалятся».

Правда, на всякий случай стал носить Володя в кармане пиджака офицерский ТТ, сбереженный еще с войны,— исключительно в целях самообороны: «Они меня задешево не возьмут».



«Кто — «они»?» — задается внезапным вопросом герой повести. В устоявшемся советском словоупотреблении «они» — это те, кто на Старой площади или в Кремле. Для Маргулиса тоже сомнений нет: «они — это правительство», а корень зла «лежит в самой сути учения о социализме».

Но ведь не от «правительства» и не от «учения» намеревался отстреливаться Володя Маргулис!

## II

Повесть «Говорит Москва» была написана в 1961 году. Настрой московского интеллигентного общества того же периода точно передан и в другой повести Юлия Даниэля — в «Искуплении». Все вдруг стали петь блатные песни, рассказывает автор. Могу засвидетельствовать как современник: я и сам в те месяцы, несмотря на отсутствие голоса, подпевал в хоре под водочку с закуской:

Таганка, зачем сгубила ты меня?..

Запретная тема про сталинский террор сделалась вдруг разрешенной, и граждане осваивали ее, как могли. При всей завороченности темой сохранялась — едва ли не намеренно — какая-то поверхностность. Тенью Гамлета вставал неотступный вопрос: «Кто виноват?» В нем необходимо было разобраться не только ради возмездия, но прежде всего во имя будущего. Страшное прошлое не должно было повториться, а это, в конечном счете, зависело от всех нас вместе и от каждого в отдельности. Но большинство успокоилось на тезисе: виновато «правительство», а также «сама суть учения о социализме». Судящие не заседали в правительстве и успели растратить былые иллюзии на счет «первого в мире социалистического государства». Так что приговор был легок и ни к чему не обязывал. Главное было то, что виноваты — не мы.

Потом, когда появился самиздат, и еще позднее, когда вслед за новой эмиграцией была обеспечена возможность судить безнаказанно, изворотливый рассудок принялся подсказывать все новых козлов отпущения — «русские», «евреи», «Запад», «Восток», «центровая образованщина», «историческое прошлое», либо дореволюционное, либо уже советское, в зависимости от того, что из этого набора надежнее обеспечивает данному индивиду этическое алиби, позволяя занять кафедру судьи вместо скамьи подсудимого.

Такой обман (или самообман) духовного зрения называют «отчуждением»: люди творят свою историю сами, в ней нет ничего, кроме их собственных намерений и действий; но кажется им все наоборот: будто их руками, их изобретательностью, их инициативой движут некие «они». И тогда представляется, что достаточно развязать свой праведный гнев,

расправиться с «ними» — все станет на свои места, восторжествует справедливость. Но, если заглянуть в корень, таким способом может лишь продолжаться нескончаемый ряд «открытых убийств».

Страшна спящая совесть; совесть потревоженная, быть может, еще страшнее.

В мире, каким он был увиден и показан в немногих произведениях Юлия Даниэля, этот нескончаемый, чреватый все новыми «открытыми убийствами» сон наяву развеивается. Тяжба о «вине» и «ответственности» решается иначе. Юлий Даниэль в этом смысле — и по сей день — единственный из наших современных отечественных писателей. Он говорит в «Искуплении»: «Зловещие тени уползали из комнаты, через переднюю, на лестничную площадку. И оставались там». Увы, они остаются там и по сей день — как спрятанный в шкафу труп.

История задом наперед не делается, разве что пишется. Людям данного поколения не дано знать в точности, какие именно последствия выйдут из их решений. Напрасно гадать, как повели бы себя былые комиссары, знай они заранее, что в конце жизненного пути их ждет пуля в затылок. Знание, которого им не было дано, досталось нам даром. Поэтому и нет смысла «трепаться о революции». Сколько бы ни клеймить и ни избобличать прошлое — нас самих это с места не сдвинет. Получится лишь искомое самооправдание: нам, мол, хребет переломили.

Трудно начать предпосылкой: «Каждый должен решать за себя». Трудно потому, что люди, как правило, предпочитают казнить других.

«Открытые убийства»... Это — неизменное содержание советских будней, движущий механизм советской истории. Всегда с раската на расправу толпы выбрасывается кто-нибудь незащищенный.

Композиционно центральный в повести «Говорит Москва» — эпизод со старомодным старичком, Геннадием Васильевичем Арбатовым. Геннадий Васильевич кормится тем, что работает официантом в ресторане, но духовно живет сочинением стихов. Тут тоже, кстати сказать, безошибочная примета времени, самого начала 60-х годов. Интеллигенты встречались как после стихийной катастрофы. Они работали — и совсем молодые, и постарше — где пришлось, но зато с трудом добытый досуг отдавали самым высоким материям. Прошло больше десятилетия, пока эта нестройная, разночинная толпа влилась в новую элиту. Юлий Даниэль-прозаик, как никто другой, умел подмечать подобные небанальные детали.

К человеку, считает Геннадий Васильевич, надлежит относиться уважительно. Но это вам не монолог Сатина про то, что «человек — это звучит гордо». В повести «Говорит Москва», предвидя разрешенные убийства, люди становятся предупредительно вежливы друг к другу. Они заносливо заглядывают в глаза каждого встречного. За выдержанностью этикета, который, опять-таки замечу, именно в те годы принялись настойчиво культивировать, притаилось отчуждение.

Люди — всего лишь элементарные частицы. В их метаниях по бытию непрерывны моменты, когда на них насканивают или они на кого-нибудь насканивают. Цепь роковых обстоятельств может начаться какой-нибудь мелочью, какой-нибудь неосторожностью, каким-нибудь не к месту сказанным словом. Впрочем, подчас столь же опасно смолчать, как и высказаться.

Помалкивать, не думать, не производить лишних телодвижений — таков рецепт выживания.

Когда наступил злополучный день «открытых убийств», большинство решило отсидеться дома, забаррикадировав двери, загодя запасшись едой. «Нет, нет,— думает Анатолий Карцев,— если они и будут драться, то только каждый за себя». «Живые сраму не имут. Лучше живая собака».

Лучше живая собака... Учтя эту негативную социальность, начинаешь понимать тоску Геннадия Васильевича Арбатова по естеству, по природной жизни. «Скоро звери единственным звеном, единственной точкой соприкосновения между людьми будут. Звери, молодые люди,— это не просто животные, это — носители, хранилища духовного начала. Зверь может и убить, если голоден, но не просто так, под настроение, беспричинно».

Так оно и будет. В последующие годы своеобразный этот руссоизм станет модой. Куда угодно — на дачу, в деревню, к народным корням, — которые тут же и сочиняют, — во времена былинные, к снадобьям и заговорам знахарей — лишь бы подальше от ближних, от самих себя.

Напомню: большинство в повести «Говорит Москва» не участвует в убийствах активно. Граждане выбирают позицию безучастия. «А что же можно сделать?» — вполне резонно думают они и умывают руки. «Лбом стену не прошибешь».

Но попробуйте усомниться во всей этой житейской премудрости — вас тотчас же дружно прикончат.

### III

В царстве «открытых убийств» находятся, впрочем, и такие, кто будто дождался своего звездного часа.

Пряатель Анатолия — Чупров — зарабатывал себе на жизнь плакатами: «жрать надо было». Приготовил он эскиз и ко Дню открытых убийств. Экспрессивно написал, свежо, в своей лучшей манере. Но комиссия работу Чупрова не одобрила и в массовое производство не запустила. «Когда, наконец, у нас поймут,— возмущался художник,— что теперь середина XX века, что искусство должно двигаться на новых... на новых... м-м-м... скоростях, что ли».

Непричастность искусства к злободневности представлялась к началу 60-х годов едва ли не бунтом против оков социалистического реализма,

выходом в свободу. «Движение искусства на новых скоростях», — как, допустим, у Андрея Вознесенского, — рождало восторги истосковавшей публики. Критики исподволь протаскивали в печать крамольные идеи, что главное в искусстве — форма, а объем, сюжет — это всего лишь повод для свободной игры художнической фантазии.

И то же самое — с любовью.

Атмосфера прозы Юлия Даниэля — чувственна. В его повестях отразились первые уверенные шаги нашей сексуальной революции. Его герои любят женщин и сходятся с ними, мало заботясь об условностях брака. Юлий Даниэль пишет об этом без стеснения, но и без смакования. Мы не найдем у него того подросткового онанизма, который испортил впоследствии значительную часть нашей уже эмигрантской словесности. Эмигрантские писатели пустились в непотребности и непристойности, как только силой обстоятельств оказались избавлены от удил цензуры. Но для Юлия Даниэля цензуры не существовало — ни внешней, ни внутренней. Он начал со свободы и не знал навязчивых соблазнов запретного. У него — безошибочный такт.

Но не может быть ни любви, ни искусства в царстве «открытых убийств».

Давно прокручена в советской литературе тема («Любовь Яровая», «Сорок первый»): конфликт между любовью и общественным долгом, причем победу неизменно одерживает героическое начало. У Юлия Даниэля тот же сюжет высвечивается во всей своей прозаической жестокости. Неверная жена решает избавиться от постылого мужа. А тут, весьма кстати, — Указ Верховного Совета. На фоне «открытых убийств» все образы, все отношения отбрасывают гротескные тени. Тут не страсти и тем более не долг в основе, а некий душевный изъян, черствость, расщепленность, расчетливость. Такой Зоей можно любоваться как статуэткой, с ней ничего не стоит переспать, но связываться — ни в коем случае.

Финал повести «Говорит Москва» композиционно сомкнут с ее завязкой.

В начале безумное времяпрепровождение компании давнишних приятелей, собравшихся в воскресный день на подмосковной даче, оказалось испорчено и прервано объявлением по радио зловещего Указа. И вот в финале, уже после того, как День открытых убийств остался позади, почти в том же составе они празднуют годовщину Октябрьской революции. Ничего помпезного, разумеется, не было, как не бывает на подобных вечеринках уже с незапамятных времен. Собрались, чтобы вдосталь выпить и закусить, перебивая друг друга, пофлиртовать, если доведется. Все мило, доброжелательно, раскрыты настежь. Темой застолья становится, естественно, тот день. У каждого есть что порассказать — собственные похождения, слухи, анекдоты. Праздник как праздник, веселье как веселье.

Этот нетрезвый галдеж поражает больше, чем молчанье.

\* \* \*

«Тысячи оживленных и, видимо, довольных людей спуют у подножия стройных небоскребов Нового Арбата, высоко поднявшихся в небе Москвы. Но за этим фасадом скрывается, что недоступно человеческому глазу, скрывается море человеческого несчастья, трудностей, озлобления, жестокости, глубочайшей усталости и безразличия, которые накапливались десятилетия и подтачивают устои общества».

Так писал Андрей Сахаров в 1975 году, такой увидел и показал нашу жизнь Юлий Даниэль лет на пятнадцать ранее.

И тот и другой не нашли достаточного числа конгениальных читателей.

Со временем их становится меньше.

#### IV

Власть усмотрела в повести «Говорит Москва» клевету на саму себя. Публика — та самая, которая и до сих пор развлекается «анекдотическими рассказами» и «репликами в адрес правительства», — склонна была воспринимать то же самое как правду, но ни в коем случае не о себе, а о режиме. И на том, и на другом полюсе возобладала презумпция безответственности общества и составляющих это общество индивидов. И в том, и в другом случае восприятие прозы Даниэля оказалось не в фокусе.

За долгие годы выработалась привычка полагать непреходимую грань между миром действительности и миром художественной фантазии. В искусство бегут, как в скит. Но назавтра как ни в чем не бывало возвращаются к будням и, следовательно, — к «открытым убийствам».

У Юлия Даниэля были иные намерения, иной взгляд на мир — и, что может быть еще важнее, — на самого себя. Именно поэтому его усилию не суждено было принести скорых плодов. Те немногие, кому довелось прочесть повесть, когда «дело Сняевского и Даниэля» оставалось еще текущей новостью, заведомо радовались возможности посмаковать запретную «антисоветчину». С готовностью отдавалось должное писателю за его дерзостную прямоту, но никто не собирался идти по его стопам, усвоить не только его видение, но и его действие. Без этого последнего, однако, невозможно было даже просто понять, просто прочесть написанное черным по белому.

Анатолий Карцев не меньше других накопил горечи и ненависти. Но вот важная деталь: герой Даниэля, как и он сам, был на войне. Он помнит, «как это делается»: «На бегу, от живота, всером. Очередь, очередь, очередь». Именно потому, что Анатолий Карцев помнит и умеет, он этого больше не хочет.

Этот отрывок цитировался в обвинительном заключении. Он приво-

дился в газетах. Он был официально расценен как призыв к антиправительственному террору. Ну, в этом нет ничего удивительного. «Толстомордые» привыкли врать и выдергивать цитаты из контекста, обеспечив себе предварительно неведение публики. Это — их способ убивать. Но удивительно то, что подобным же образом как призыв к террору — хотя на сей раз сочувственно — было прочтено приведенное место и нашей публикой. Во всяком случае, выражение «веером, от живота» — это, пожалуй, единственное, что из всей повести вошло в разговорный язык и повторялось не без смака.

А между тем как раз приведенный отрывок завершается выводом Анатолия Карцева: «Я больше не хочу убивать. Не хочу!»

И это всего лишь логично, что Юлий Даниэль как писатель остался непопулярен.

## V

Сдвиг в читательском восприятии — надо это признать — был отчасти подсказан самим сюжетом повести «Говорит Москва». Ведь весь он строился на Указе Верховного Совета, объявившем «открытые убийства». Так что предоставлялся повод и без того предрасположенной к этому публике свалить всю вину на начальство, дав волю праведной жажде возмездия.

Сама метафора «открытых убийств» — пусть очень емкая, как я пытался это показать, — была чревата авторской неудачей. Логика образа требовала развития. Но если тут и допустим был «реализм», то «фантастический» — ближе к той эстетической платформе, которая сформулирована Андреем Синявским. Талант Юлия Даниэля — существенно иной. Он добросердечен, жизнелюбив и раскрыт окружающему. Он не только знает среду, которую изобразил, но любит ее. Он себя ей не противопоставляет. Он не столько судит, сколько видит и размышляет. Он — скорее бытописатель, чем сатирик.

Вероятно, потому, восприняв гротескную метафору как литературную задачу, Юлий Даниэль не мог до конца остаться в ее рамках, вочеловечить ее условность. Фантазия не целиком растворилась в прозе — кое-что выпало в осадок.

Усвоив видение писателя, можно было заметить, что даже заголовок — «Говорит Москва» — подразумевал нечто гораздо более емкое, чем советское радиовещание. Москва у Даниэля, конечно, гремит не только своими репродукторами, но и взвизгивающими тормозами машин, и шумом веселых вечеринок, и бранью, и стихами, и бормотанием влюбленных. «И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность».

«Это — говорит Москва» — авторскому слуху.

«Неизвестность» — неведомые дали будущего, предстоящей истории, куда мы все плывем — либо по собственному выбору, либо просто поддаваясь течению. Дома — это пароходы, хоть и кажется, будто они намертво пришвартованы к своим фундаментам. Они — движутся.

В городском московском гуле Юлию Даниэлю слышалось «неосознанное согласие», которое его творческим усилием должно было стать осознанным. В заведомой писательской доверчивости была сила писателя, хоть и обернулась она слабостью. У Юлия Даниэля каким-то чудом не возобладала круговая озлобленность на все и вся, за которой таится нечистая совесть. У него — вероятно, единственного из наших отечественных литераторов послесталинской поры — оказался каким-то чудом сбережен положительный баланс мировосприятия.

Но, увы, именно все это, вместе взятое, сулило Юлию Даниэлю литературное одиночество. Его голос не прозвучал в полную силу, поскольку духовная атмосфера становилась все более разряженной. Было все труднее не только говорить, но и дышать. Писатель оказался не понят — я бы сказал, экзистенциально.

И этот мой тезис подтверждается тем, что в тонкой книжке в полтора-два страницы, где было собрано все свободно написанное автором до его ареста, читательское внимание сосредоточилось на повести «Говорит Москва», а не на «Искуплении» — произведении гораздо более точном, ровном и зрелом.

## VI

«Вы предатель, Виктор... Я не стану убивать вас. Но вы исчезнете. Вы не должны ни с кем общаться, вы не имеете права ни с кем дружить, вы не должны спать с порядочными женщинами, вы не смеете жениться — слышите?.. Я вас предупреждаю открыто, Виктор: я позабочусь о том, чтобы все знали, кто вы такой».

Произносится это как приговор — без права на апелляцию.

«Но, Господи Боже мой, я же не доносил на него! Я никогда ни на кого не доносил!» — думает Виктор Вольский, герой «Искупления».

От этой завязки действие покатило — как вагонетка по рельсам под уклон.

Сперва — еще до упомянутого разговора — как грозное предзнаменование — останавливающий взгляд человека, встреченного в толпе, при выходе из кино: «Да, я тебя узнал, но ты ко мне не подходи». А после того как Феликс Чернов произнес свой вердикт — молчание в комнате, куда внезапно, без стука зашел Виктор. И объяснение с приятелем, Мишкой Лурье:

«— Я верю тебе, Виктор,— сказал он медленно,— верю...

— Но... Ты ведь хотел сказать «но»?»

Он молчал».

Виктора Вольского казнят молчанием.

Никто не задает вопросов, не позволяет себе сомневаться. Как и в повести «Говорит Москва», действие разворачивается в кругу друзей и близких приятелей. Тут как будто привыкли доверять друг другу и ценить это доверие. Но, как обнаруживается,— до первого испытания. Если немного копнуть, то тут же обнаружится застарелый норматив: «пусть неудачник плачет».

Снова подвергается проверке на прочность любовь, связь с женщиной. Здесь, в «Искуплении»,— это уже не сомнительный адюльтер. Как раз в те дни, когда разворачивается завязанная Феликсом Черновым трагедия абсурда, Виктор Вольский решает жениться. Он любит, действительно любит. И в самые трудные дни своей жизни, когда Виктор Вольский «шел сквозь строй», а люди, с которыми он раньше разговаривал, пил, ходил в кино, дружил и ссорился, «стояли с палками наготове», ему всего на свете важнее было встретиться с ней, получить хоть от нее подтверждение, что она не перестала ему верить. Она и не перестала. Но...

«— Я не верю тому, что о тебе говорят... Я не верю, но я больше не могу. Эти три дня я разговаривала, я отбивалась. У меня не было ни минуты свободной, потому что все время ко мне приходили, звонили домой, на работу... Витя, Витька, я боролась, как могла.

Она заплакала.

— Витя, я слабая, я плохая. Я не могу. Ведь это навсегда, ведь это на всю жизнь».

Вот и все. Удивительно, как много нашлось инициативных поборников возмездия, не пожалевших времени, чтобы не без удовольствия выбить из-под ног своей жертвы последнюю опору.

Впервые прочтя «Искупление» — а было это вскоре после ареста Юлия Даниэля,— я зарекся распространять про кого бы то ни было слухи, будто он стукач, не зная об этом наверняка. Но ведь эта бессовестная привычка то и дело давала о себе знать и после. До сих пор приходится слышать, а то и читать в нашей «неподцензурной печати» подобные вздорные наветы то про одного, то про другого. Это ли не показатель, что проза Юлия Даниэля до сих пор не прочтена, а если прочтена, то не понята?

## VII

Юлий Даниэль — писатель-экзистенциалист. В его произведениях задаются «пограничные ситуации», а затем героям предоставляется возможность свободного выбора. Ничто не давит на их волю. Авторским замыслом они лишаются возможности переложить ответственность на что-либо или кого-либо. В этом, между прочим, глубоко философский аспект замысла «открытых убийств»: тут не место привычным оправда-



ниям: «если бы я не убил, то меня самого бы прикончили»; не хочешь, не убивай; но если уж поднял руку на ближнего, если уж поучаствовал в побивании его камнями, то, во всяком случае, возьми ответственность на себя.

Охотнее всего человек отворачивается от самого себя, чтобы со вкусом посудить о ближнем. И не так уж легко ему в этом воспрепятствовать. Поэтому и поторопилось читательское восприятие зацепиться в повести «Говорит Москва» за Указ Верховного Совета. Но в «Искуплении» подобное удобство было исключено самим авторским замыслом. Государство с его идеологией и аппаратом насилия осталось за пределами повествования. Среди действующих персонажей мы не встречаем не то «истинно верующих», но и верующих ханжески. Очередное из бесчисленных «открытых убийств» совершается не во имя сталинизма, а в борьбе с ним. Но именно поэтому становится ясно, сколь долг еще путь избавления от обычаев самосуда.

Люди в повести «Искупление» знают и повторяют с готовностью: «лучше оправдать виновного, чем наказать невиновного». Оказывается, однако, что знание это остается пустой школьной прописью, пока недостает мужества теорию обратить в практику. Чтобы спасти Виктора Вольского, достаточно не отступить от него, протянуть ему руку. Но тогда постигшее его общественное осуждение, как зараза, перекинется и на вас. От такой нагрузки, как мы видели, ломается даже любовь.

Нет, автор не злорадствует, не раздражается ехидными филиппиками о «хомя советикусах». Он не ищет самоутешения в чувстве превосходства над окружающими. Ему больно. Он ужасается увиденному и понятному. Лирическая тема оказывается в «Искуплении» еще ошутимее, чем в повести «Говорит Москва». В повествование вплетается собственная, авторская тема. К тому, что в нем раскрывается, невозможно сохранять хладнокровие анатома. Фальшиво тут прозвучала бы даже ирония.

Неужто — обреченность? Неужто ничего не поделаешь? Неужто от нуля, от осуждения сталинизма снова начнет закручиваться та же спираль — пусть в обратном направлении?

Как привести роковую коллизию к очищающему финалу?

Добро и Зло, собственными персонами, — вдруг воображает автор — сидят за шахматной доской. Добро было в белых одеждах, а Зло, как и положено, — в черных. «Добро играло напористо, темпераментно, с азартом; Зло медленно обдумывало шаги. Их силы были примерно равны, но Добру не хватало выдержки: оно торопилось, хваталось за разные фигуры и часто просило дать ход назад». Добро проигрывало одну партию за другой. «Злу, — так завершается это авторское лирическое отступление, — было незачем спешить».

Вполне допускаю, что этот тон представится скептически настроенному читателю излишне приподнятым, ходульным. Мы ведь все немножко циники. У нас — не романтический век. Что — Добро, что — Зло?

Пойди разберись. Каждый раз тут возможны разные мнения, истолкования и подходы. Ведь после Ницше, после Эйнштейна и Фрейда мы все существуем «по ту сторону добра и зла».

Писатель своей скромной книжкой нарушал устоявшиеся этические приличия. И он был оставлен за бортом отечественной словесности.

## VIII

«Вот я пишу все это и думаю: а зачем мне, собственно, потребовалось делать все эти записи? Опубликовать их у нас не удастся, даже показать прочесть некому. Переписать за границу?»...

Так начинается вторая глава повести Юлия Даниэля «Говорит Москва». Рассказ там, как и в «Искуплении», ведется от лица главного героя — давно устоявшаяся литературная условность. Однако у Даниэля она то и дело не выдерживает, ломается. Сквозь голос героя прорывается всамделишный, авторский. Это не сочиненный автором литсотрудник какого-то промышленного издательства, некто по имени Анатолий, а сам Даниэль задается вопросом, зачем он пишет «все это».

Перед нами — и повествование, и как бы авторская исповедь.

Самоотождествление автора с героем у Даниэля не только эстетическое, но и этическое. Так уж устроено его художественное видение, что отстраниться, занять сторону наблюдателя и судьи для него невозможно. Автор избегает соблазна занять невзначай неподобающую должность Бога, снисходительно созерцающего грешников.

В «Искуплении» поражает, изматывает, мучает бездействие героя. Его оклеветали, без всяких на то оснований обвинив в доноситечестве. Ближние поступают с ним зло, несправедливо. Но он не бежит по знакомым, не опровергает, не настаивает на своей невинности. Он — всего лишь записывает: «Я никому не сделал зла. Даже женщины, с которыми я расставался, никогда ни в чем меня не винули, хотя и горевали». Но Виктор Вольский не позволяет себе удержаться на этом примирении хотя бы с самим собой. «Господи, грешен! Винават в несодеянном, винават в несовершенном, в равнодушии, в трусости винават. В том же, в чем и вы! Только я один буду за всех расплачиваться». (Это «в том же, что и вы» тоже прорывает художественную условность: ведь «вы» — это читатели, то есть мы с вами.)

Эта тема нарастает и постепенно становится главной, заглушая все остальные. Наступает кульминация. Одинокий, всеми оставленный, осужденный уже не столько другими, сколько самим собой и уж вовсе не властью, Виктор Вольский каким-то образом попадает на концерт в консерваторию. Опять-таки важно, что в консерваторию. Это не просто народ, а интеллигенция, интеллектуалы. От себя бегут. Некоторые добежали аж до Нового Света, в себе неся свою тюрьму.

Финал — почти пророческий: Виктора Вольского поместили в сумас-

шедший дом на принудительное лечение. Но ведь так же стали поступать вскорости и с теми, кто уже не в художественном смысле, а взаправду выбрал вести себя ему подобно.

Позволю себе привести цитату из «Обвинительного заключения» по судебному делу писателей Андрея Сняжавского и Юлия Даниэля: «В 1963 году Даниэль написал рассказ «Искушение», в котором изобразил советское общество, находящееся в морально-политическом разложении. В рассказе проводится идея, что в культе личности виноват весь советский народ, что «тюрьмы внутри нас», что «правительство не в силах нас освободить», что «мы сами себя сажаем».

На сей раз действительно близко к тексту. Закавыченные следователями слова и на самом деле ключевые в «Искушении». Они, кстати, опровергают именно то, в чем в первую очередь стремились обвинить писателя: «правительство не в силах нас освободить» — стало быть, и вина не только на нем. Но гораздо примечательнее, что в данном случае обвинение попыталось апеллировать к общественности. Оно указало, что своим «Искушением» писатель «оклеветал» не только правительство, не только режим, но и «весь советский народ».

Это ли не повод для самосуда и «открытого убийства»? Кто же не отверг бы с негодованием тезис автора, что «мы сами себя сажали»? На кого же тогда обрушивать наш застарелый, почерствевший от времени праведный гнев?

Этот заунывный рефрен о «клевете на народ» неизменно заводят те, кому чужда, для кого непереносима идея личной, собственной ответственности за то, что творится вокруг, за то, в чем мы все — соучастники.

В английском языке нет слова «народ».

«Народ» — это необходимая тоталитаризму база. «Люди» — значит, каждый ответствен перед собой и за себя. Это — тоже единство, но — в многообразии. Тут не за кого спрятаться, и если уж позволить себе говорить и поступать от имени «людей», то, само собою, надлежит сперва проверить, каково их мнение. В «людях», в отличие от «народа», нет ничего сакрального. «Люди» бывают разные, а потому, нелицеприятно судя других, невольно думаешь, что точно так же могут судить и тебя. Ведь именно о «людях», а не об извечно добродетельном «народе», как мы видели, судил и поэт-официант Геннадий Васильевич Арбатов. Горечь жизненного опыта продиктовала Арбатову его мизантропию. Но ни сам Юлий Даниэль, ни его главные герои — нисколько не мизантропы.

Юлий Даниэль — не философ. Он почувствовал и запечатлел открывшийся ему конфликт добра и зла благодаря своей художнической (но также и нравственной) интуиции. У него мы не найдем «народа» — ни в похвалу, ни в осуждение. За безликой толпой он смог рассмотреть «людей» — «я», «ты», «он», «мы». (Помните: «они» — это те, от кого нам меревался отстреливаться Володя Маргулис.)

У Юлия Даниэля мы не найдем слов «права человека». Они впервые

прозвучали публично, когда он с Синявским уже отбывали свой срок, и именно по поводу его судебного дела.

Остановимся. Помолчим. Подумаем.

Читая «Искупление», мы присутствуем при рождении этой идеи.

## IX

Даниэль и Синявский оказались первыми за десятилетия обвиняемыми в политическом процессе, который был гласным хотя бы отчасти и в котором обвиняемые твердо заявили о своей невинности.

Расправа над двумя писателями была воспринята как разительный симптом наступавших брежневских заморозков. Но она получила огласку и вызвала такой взрыв протестов и на Западе, и даже у нас, что власти предпочли в дальнейшем сажать за литературу с большим разбором. Вслед за процессом Синявского и Даниэля начал интенсивно развиваться не только самиздат, но и тамиздат, которого прежде не существовало. По проложенной ими тропе пошли Солженицын, Максимов и многие другие. Для них отпала нужда скрываться за псевдонимами.

С дела Синявского и Даниэля началось и наше движение за права человека. Близился час проверки: сможем ли мы повести себя, как подобает свободным людям.

Выйдя из тюрьмы, Юлий Даниэль больше не развивал открытые им темы. Он перестал публиковаться и, по всей видимости, писать. Возникает вопрос: почему? О том, что его сломали, не может быть и речи. Скорее верно другое: писатель завершил свою тему. Он вырвался из цепкого круга «открытых убийств»; он осуществил свое «искупление».

Юлий Даниэль попал в историю и там, вне сомнений, останется. Однако, приходится пока что признать, не столько как писатель, сколько как жертва.

Останется ли эта жертва напрасной для русской литературы?

Я пишу о Даниэле-писателе как современник о современнике. Я — должен.

## П Р И М Е Ч А Н И Я

### НАБРОСКИ К ПОРТРЕТУ ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ

Незадолго до смерти Д. Самойлов написал этот текст для предисловия к эстонскому изданию прозы Ю. Даниэля.

### НЕОКОНЧЕННАЯ КНИГА ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ

Отрывки из мемуарно-эссеистической прозы Ю. Даниэля опубликованы в альманахе «Чистые пруды» (М., 1989), в журналах «Родник» (Рига, 1989, № 6), «Синтаксис» (Париж, 1989, № 24, 25), газете «Книжное обозрение» (1989, 21 апреля) и др.

### БЕГСТВО

Сокращенный вариант повести опубликован в журнале «Пионер» (1989, № 6—8).

### НИКОЛАЙ АРЖАК. ГОВОРIT МОСКВА

Первая публикация: Вашингтон: Изд-во им. Чехова, 1963.

Публикация в СССР: сб. «Цена метафоры» (М., 1989).

### РУКИ

Первая публикация: Вашингтон: Изд-во им. Чехова, 1963.

Публикация в СССР: еженедельник «Семья», 1989, № 19; сб. «Цена метафоры» (М., 1989).

### ЧЕЛОВЕК ИЗ МИНАПа

Первая публикация: Вашингтон: Изд-во им. Чехова, 1963.

Публикация в СССР: сб. «Цена метафоры» (М., 1989).

### ИСКУПЛЕНИЕ

Первая публикация: Вашингтон: Изд-во им. Чехова, 1964.

Публикация в СССР: журнал «Юность» (1988, № 11); сб. «Цена метафоры» (М., 1989).

### ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СУДА и ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ

Цитируется по: Белая книга о деле Синявского и Даниэля / Сост. А. Гинзбург, Frankfurt a / M.: Посев, 1967.

Записи судебных заседаний вели Л. И. Богораз-Брухман и М. В. Розанова, допущенные в зал в качестве жен обвиняемых. В обработке записей принял активное участие ныне покойный писатель Б. Вахтин.

### В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ

Сб. «Чистые пруды» (М., 1989).

*К. СКУЕНИЕКС. НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ* /Перевод Ю. Даниэля  
Журнал «Дружба народов» (1988, № 10).

#### СТИХИ ИЗ НЕВОЛИ

Первая публикация: Амстердам, 1971. Серия «Библиотека самиздата», № 3.

Стихи этого цикла были опубликованы в журналах «Огонек» (1988, № 29; 1989, № 39), «Новый мир» (1988, № 7), «Дружба народов» (1988, № 9), «Даугава» (Рига, 1989, № 6); газете «Книжное обозрение» (1989, 21 апреля) и других изданиях.

#### ПИСЬМО ДРУГУ

Газета «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1969, 26 июня.

#### ПИСЬМО К ШАФАРЕВИЧУ

Le Mond (1975, 30 января, Paris — на фр. яз.); газета «Русская мысль» (Париж, 1975, 13 февраля); газета «Дом кино» (Москва, 1990, январь).

#### «Я ЧИСТ ПЕРЕД СОБСТВЕННОЙ СОВЕСТЬЮ»

Газета «Московские новости» (1988, № 37).

#### Б. ШРАГИН. ИСКУПЛЕНИЕ ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ

Печатается с сокращениями.

Полный вариант статьи опубликован: журнал «Синтаксис» (Париж, 1986, № 16).

## СОДЕРЖАНИЕ

Наброски к портрету Юлия Даниэля . . . . .	4
--	---

### Часть I. ВЫБОР

Из неоконченной книги . . . . .	9
Бегство . . . . .	28

### Часть II. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ УБИЙСТВ

<b>Николай Аржак.</b> Говорит Москва . . . . .	71
Искушение . . . . .	100
Руки . . . . .	138
Человек из МИНАПа . . . . .	142
В районном центре . . . . .	157
Первый день суда . . . . .	172
Слово подсудимого . . . . .	190

### Часть III. «ДА НЕ ПОСМЕЕШЬ ДУМАТЬ О СВОЕМ...»

<b>Кнут Скуеникс.</b> Не оглядывайся . . . . .	199
Стихи из неволи . . . . .	205
А в это время... <i>Поэма</i> . . . . .	241
Письмо другу . . . . .	250

### Часть IV. «НЕ КОНЧЕНА ВОЙНА»

Из неоконченной книги . . . . .	257
Письмо к Шафаревичу . . . . .	277
Из неоконченной книги . . . . .	281
Вас ожидает счастье . . . . .	289
Я чист перед собственной совестью . . . . .	293
Последние страницы неоконченной книги . . . . .	300
<b>Борис Шрагин.</b> Искупление Юлия Даниэля . . . . .	302
Примечания . . . . .	316

**Юлий Маркович Даниэль**

**Говорит Москва**

Проза. Поэзия. Переводы

Заведующая редакцией *Н. Буденная*

Редактор *М. Холмогоров*

Художник *Г. Капустин*

Художественный редактор *М. Кудрявцева*

Технические редакторы *Л. Беседина, Н. Калиничева*

Корректоры *З. Комарова, А. Гомозова*



**ИБ № 4766**

Сдано в набор 05.10.90. Подписано к печати 05.04.91.  
Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная № 2. Гарнитура  
«Литературная». Печать офсетная Усл. печ л. 19,53.  
Усл. кр.-отт. 20,69. Уч.-изд. л. 21,37 Тираж 30 000 экз.  
Заказ 1257 Цена 3 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство  
«Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр,  
Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».  
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

3 р. 50 к.

5

ПРОМЫСЛЫ АНТИСМЕТРИИ  
идеологические дилеранты

НЕ НАВИСТЬ

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ

ДЕНЬ СВЯТОЙ  
БОГОМ  
ИГОЛОВ.

ЛЮТАЯ

ОДНОГРАДИЯ

ПРОМЫСЛЫ АНТИСМЕТРИИ

ИДЕОЛОГИ  
ПАРЬЯ

Московский рабочий 1991